

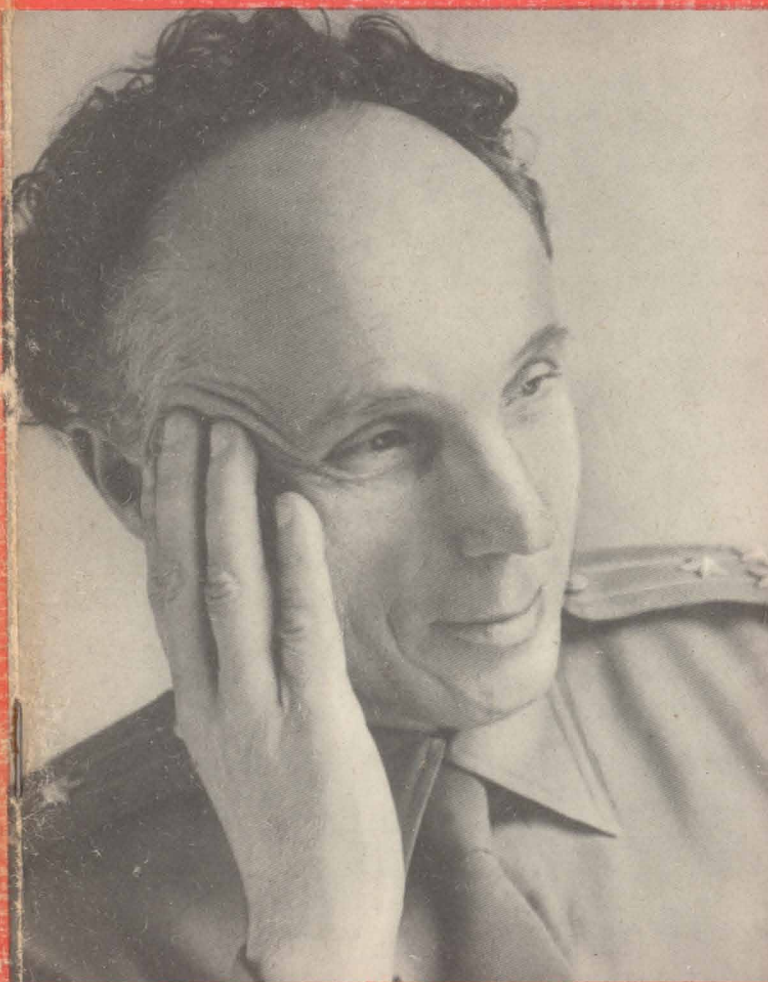
53 к.

14

70782

# РОМАН И ГАЗЕТА

№18(616) · 1968



НИКОЛАЙ  
КАМБУЛОВ

## РАЗВОДЯЩИЙ ЕЩЕ НЕ ПРИШЕЛ

Обычно творчество писателя долгие годы питает та среда, в которой он рос и формировался как художник.

Николай Иванович Камбулов прошел большую школу армейской жизни. Его впечатления о людях в погонах созрели и оформились через личные переживания, личное соприкосновение с большим и сложным человеческим материалом.

Великую Отечественную войну Н. Камбулов встретил на границе, будучи политруком заставы. Дважды высаживался он с морским десантом на скалистые берега Керченского полуострова, сражался в Аджимушкайских катакомбах, участвовал в штурме знаменитой Сапун-горы, освобождал Севастополь, брал Кенигсберг. В боях он был дважды ранен и тяжело контужен.

Николай Камбулов — писатель с пытливым взглядом на жизнь, умеющий находить и образно раскрывать подлинно жизненные конфликты, показывать советских людей многообразно, с присущими им беспокойством и поисками нового.

Журналистская деятельность офицера Камбулова началась еще в годы войны в дивизионной газете. И в мирное время Николай Камбулов — в гуще армейской жизни, по-прежнему на переднем крае. Он — специальный корреспондент центральных газет и журналов: ведет репортажи с борта новейших воздушных кораблей, выезжает в самые отдаленные военные гарнизоны, на учения и на полигоны. Обогащенный увиденным и пережитым, журналист вскоре после войны берется за писательское перо. Героические подвиги советских людей в боях за Родину становятся главной темой книг Николая Камбулова. В пятидесятых годах одна за другой выходят его повести: „Объект особой важности“, „О самом главном“, „Свет в катакомбах“. Они посвящены боевым и мирным будням Советской Армии.

Опубликованные в начале шестидесятых годов крымские повести „Аджимушкайская тетрадь“ и „Тринадцать осколков“ стали этапными в творчестве писателя. В них дана яркая картина массового героизма советских людей в битве за Крым. В первой книге созданы незабываемые образы наших бойцов начального периода Великой Отечественной войны. Несмотря на сложность и драматизм обстановки на Керченском полуострове в мае 1942 года, герои Николая Камбулова сражаются с глубокой верой в торжество своего святого дела. Читая „Аджимушкайскую тетрадь“, чувствуешь, веришь, что вот-вот наступит перелом в событиях. И это „вот-вот“ художественно раскрывается в повести „Тринадцать осколков“. В батальных сценах перехода нашей армии от обороны к наступлению, затем штурма Сапун-горы, освобождения Севастополя и в других эпизодах читатель уже видит перспективу неизбежного краха гитлеровской военной машины. Эта перспектива угадывается и в героических подвигах бойцов и командиров, и в их мыслях, и во всем психологическом настрое книги.

Хорошо зная душу солдата, писатель умеет подметить и запечатлеть главные черты характера советского человека на войне — преданность Коммунистической партии и Советской Родине, героизм и самопожертвование во имя светлого будущего. Это, конечно, вовсе не значит, что в произведениях Николая Камбулова, в том числе и в предлагаемом читателю романе „Разводящий еще не пришел“, показываются только положительные образы. Такая книга давала бы одностороннее изображение подлинной жизни с ее многочисленными сложностями.

С большой теплотой и любовью рисует Николай Камбулов своих героев. Но, обнажая сложные человеческие отношения, автор не предвзвешивает мнения читателя, а дает ему пищу для размышлений. Поэтому жизнь в книгах Николая Камбулова воспринимается нами в ее постоянном развитии и совершенствовании.

Эти черты творчества писателя мы видим и в романе „Разводящий еще не пришел“. Давно отгремела Великая Отечественная война, разгромлена гитлеровская Германия, принесшая советскому народу столько бед и страданий. Над нашей страной будто бы чистое, ясное небо, будто бы военному человеку можно немного поспокойнее жить. Но чуткое ухо солдата улавливает отдаленный тревожный гром орудий, через расстояния видятся бои во Вьетнаме, с Рейна тянет милитаристским угаром. Вот почему сердце военного человека выстукивает: для армии разводящий еще не пришел, еще нет на земле прочного всеобщего мира, и люди в погонах, которым Родина доверила святое из святых — охрану своей безопасности, обязаны делать все, чтобы не повторился тысяча девятьсот сорок первый год.

„Разводящий еще не пришел“ — роман о тех, кто сегодня служит в Советской Армии, о революционном скачке в техническом оснащении наших Вооруженных Сил, о ратном и трудовом подвиге советского человека во имя подлинного мира и счастья на земле. Эта книга заслуженно удостоена в 1968 году премии и Диплома Министерства Обороны Союза ССР за лучшее художественное произведение о современной жизни Советской Армии и Военно-Морского Флота.

СЕМЕН БОРЗУНОВ

# РОМАН- ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1927 г.

№18 (616)  
1968ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА

## НИКОЛАЙ КАМБУЛОВ РАЗВОДЯЩИЙ ЕЩЕ НЕ ПРИШЕЛ

РОМАН

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Горы остались позади. Дорога, обогнув озеро, вывела на широкую равнину. Насколько хватал глаз, кругом простиралась созревшая хлеба. Волнуясь от ветра, они напоминали море, по которому там и сям, точно утлые суденышки, виднелись комбайны. Среди необозримого простора они, казалось, не двигались, поэтому генерал-майору Захарову удавалось несколько минут держать в поле зрения черную точку, покачивающуюся на гребнях высокой, в человеческий рост, пшеницы.

Захаров был новым человеком в здешних местах, и он невольно сравнивал Заполярье, где провел несколько лет, с предгорьем Центрального хребта. Куда-то, похоже в бесконечность, тянулись темно-зеленые строчки ленточного бора. Небесной синью пластались на земле озера. Многочисленные отроги, поросшие высокими деревьями, курились плотной полуденной дым-

кой, отчего, казалось, дрожали, будто озябшие на сильном холоде. Все, что он видел и чувствовал, — и незнакомый пейзаж, и нагретый ветер, бьющий тугим потоком в открытое окошко, и жаркое солнце, висевшее над лесом, и полевые вагончики, подле которых дымили походные кухни, — уводило мысли Захарова от служебных дел. Но ненадолго. Впереди, рядом с водителем, сидел командующий войсками округа генерал армии Добров. Он не то дремал, не то о чем-то сосредоточенно думал. Захаров не знал, почему командующий после разбора тактических учений пригласил его в свой черный шестиместный ЗИЛ.

Захаров припомнил заседание Военного совета округа, на котором обсуждали итоги зимних учений. С докладом выступил пожилой, с бритой головой, весьма осторожный в суждениях начальник штаба генерал-лейтенант Штыков. Он говорил медленно, бесстрастно, как-то уж слишком сухо, словно не верил в то, о чем докладывал. Это подмывало Захарова выступить, но он сдерживал себя (новый человек в

округе — хорошо ли сразу на трибуну!). И все же, когда началось обсуждение доклада, попросил слова, поднялся, огляделся и произнес обобщенную для такого совещания фразу:

— Товарищ командующий, товарищи члены Военного совета! — Сделал продолжительную паузу. За это время Захаров успел услышать, как кто-то из сидящих в первом или третьем ряду прошептал: «Новый командующий артиллерией». Захаров откашлялся и продолжал: — Учения войск позволяют нам сделать важные выводы. И прежде всего о боевых порядках, о подвижности войск в современном бою. Говорят (Захаров хотел прямо сказать: генерал Штыков говорит, но он плохо знал начальника штаба и не назвал его фамилии), да, нам говорят: учения прошли хорошо, они проведены в строгом соответствии с требованиями положений устава и указаний командования. И на этом ставят точку. Правда, докладчик попытался показать то новое, что внесли эти учения в оперативное искусство и тактику. Однако меня лично эта попытка не удовлетворила.

Штыков покосился на Доброва и, улыбаясь, начал что-то чертить на листке бумаги. А Захаров продолжал:

— Вопросы оперативного искусства, вопросы тактики при новой боевой технике, атомном и термоядерном оружии выдвигаются на первый план. Кто их должен разрабатывать? В академиях на кафедрах? Положим. Но это будет одностороннее усилие. Без нашей помощи, без помощи практиков нельзя достичь наиболее верного решения вопроса. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, и я хочу поделиться ими...

В последующих выступлениях кто-то подержал Захарова, но он видел, что его речь как-то затерялась среди выступлений других. Потом начали обсуждать мероприятия по сокращению войск, и тут уж было не до новых боевых порядков... Когда закончился Военный совет, Добров подошел к Захарову и провел его в свой кабинет.

Они были вдвоем. Генерал армии спросил:

— Долго готовились к сегодняшнему выступлению?

— Два года, — ответил Захаров, настораживаясь.

— Так... Я это почувствовал, как только вы начали приводить свои обоснования. — И вдруг, словно о чем-то вспомнив, предложил: — Пишите статью. Э-э, не богй горшки обжигают, пишете. Кто-то мне рассказывал: в Заполярье вы начали вводить какие-то новшества и за это вам крепко попало, правда? Может, и здесь случится так. Но вы не отступайте. Военный талант — дитя борьбы мнений. Работайте, сейчас это очень важно. Получится — похвалим, не выйдет — что ж, как газетчики говорят, не

каждая строка идет на полосу, иная и в корзину... Правильно вы подметили: прежние понятия о расстоянии уходят в прошлое. Новая техника сделала нас более подвижными, более оперативными. Вот и работайте. Напишите — отсылайте в Москву. Там разберутся.

Добров неожиданно повернулся к Захарову.

— Жара!.. Может, искупаемся? — предложил генерал армии и велел шоферу свернуть на проселочную дорогу, ведущую к озеру.

Добров разделся быстро, первым вошел в воду. Он окунулся раза три, фыркая и кряхтя от удовольствия. Захаров заметил на его левом боку большой шрам. Генерал, перехватив взгляд Захарова, потрогал рубец.

— В сорок втором, под Ростовом... пришлось ребро удалять. Ничего, оказывается, и без ребра можно жить. — Он с шумом нырнул, долго держался под водой, а когда появился на поверхности, по-мальчишески, с азартом воскликнул: — Во, брат, как мы можем!

После купания Добров попросил шофера разостлать под деревом брезент.

— Полежим минут десять, — сказал генерал армии, прикуривая от зажигалки.

Некоторое время они лежали молча. Захаров, глядя на шуршавший камыш, продолжал догадки, почему же командующий прихватил его с собой. Добров крутил в руках папиросу, чуть сощурился темными глазами.

— А ты хитер, Николай Иванович, — швырнув в озеро окурок, сказал генерал армии. — Думаешь, я не заметил, в каком боевом порядке наступал первый эшелон? Заметил. И артиллерия твоя была слишком рассредоточена. Это что же, результаты нашего разговора? Помнишь, в моем кабинете?

— Помню, товарищ командующий.

— Значит, и работу пишете?

— Кое-что делаю.

— Это хорошо, Николай Иванович, трудись. Если потребуется помощь, окажем. Кто знает, какой она будет... эта война, если империалисты ее развяжут. Но совершенно ясно — она не будет похожа на все прошлые войны. Поэтому надо думать, искать наиболее точный ответ на любой вопрос. А таких вопросов уйма.

Добров умолк. Захаров подумалось, что командующий, пригласив его в свою машину, имел какое-то другое намерение, а то, о чем он сейчас спрашивает, просто к случаю пришлось, хотя ему и приятно было сознавать, что генерал армии не забыл о его выступлениях на Военном совете.

Добров снова заговорил:

— Есть наметки реорганизовать артиллерийский полк в ракетную часть. — Он вскинул взгляд на Захарова, пытаясь определить, как это подействовало на него. — Дело серьезное, часть людей придется уволить в запас. Однако

надо сделать все, чтобы уберечь личный состав от демобилизационного настроения. Новая техника должна поступить в умелые руки...

Накануне учений Захаров два дня провел в арtpолку, он побывал во всех батареях. Его сопровождал командир полка полковник Водолазов. На все замечания, которые делал Захаров, полковник отвечал просьбой быстрее решить вопрос с назначением заместителя по политической части, давая этим понять, что отсутствие такого человека в полку отрицательно сказалось на воспитательной работе. В сущности это было не так. Секретарь партийного бюро майор Бородин, временно исполняющий обязанности замполита, ушедшего две недели назад в Москву на курсы политработников, оказался энергичным человеком и несколько не ослабил политическое воспитание личного состава части. В этом Захаров убедился, побеседовав с офицерами, сержантами и солдатами. Водолазов многого не знал, что делалось в полку (за последнее время он часто болел), и почему-то к советам и предложениям Бородина относился довольно холодно, особенно когда это касалось какого-либо новшества. Ответ у Водолазова был один: «Ни к чему горячиться, умнее других не станем». Вспомнив все это, Захаров невольно подумал, что реорганизация потребует исключительной слаженности в работе командира полка и его заместителя по политической части. Ему хотелось, чтобы реорганизация прошла быстрее, и он спросил у Доброва:

— Как скоро это произойдет?

— Сам не знаю, Николай Иванович. Придет время, мы вам сообщим и сроки и штаты. Надо уяснить одно: солдаты всегда должны быть готовыми к отпору врагу. Вот и прошу вас: держите полк в боевой готовности до последнего момента. Вы поняли меня? — Добров поднялся, надел тужурку и, словно беседа шла о чем-то незначительном, заулыбался. — Рыбалкой не увлекаетесь, Николай Иванович? — спросил он и сам же ответил: — Знаю, свободного времени маловато. Верно, но как-то надо и отдыхать. Твой полковник Гросулов умеет находить время. Известный охотник. У меня не получается... Как-то прибыл в округ министр обороны, поехали в горы на косуль, времечко свободное подвернулось. И что вы думаете? Вернулся я с пустыми руками. Маршал пошутил: «Доброву в этом округе делать нечего — кругом столько зверья, дичи, а он даже охотничье ружье не имеет». Потом я два ружья купил, и стоят они в кладовке сиротинками. А зря, верное слово, зря, охота — лучший отдых.

Они выехали на дорогу. По ней уже шла колонна машин с войсками. Пришлось объезжать. Когда выскочили на шоссе, Захаров заметил черную «Волгу», стоящую на обочине подле дорожного указателя. Это была его машина. Он

попросил командующего остановиться. Добров, открыв дверцу, подал руку.

— С жильем как у вас, Николай Иванович?

— Строимся...

— Семью надо вызвать. Без жены поди скучновато? Знаю, невесело. Желаю успеха.

Тяжелый ЗИЛ, фыркнув, помчался по дороге и вскоре скрылся на повороте, оставив на виду лишь облако желтой пыли.

## II

Генерал Захаров приходил в эту маленькую, увешанную схемами комнату два раза в неделю — в среду и пятницу и всегда в одно и то же время — после обеда. Вначале он выкуривал папиросу, обычно прохаживаясь от стола к двери, обитой черным дерматином, и обратно, к столу, на котором стопкой возвышались книги, лежала записная книжка в коричневом переплете. Курил Захаров не спеша и так же не спеша вышагивал по полу. Он знал, что в это время никто не мог потревожить течение его то сбивчивых, то ровных и ясных мыслей.

В штабе артиллерии уже знали, где в это время находится Захаров, и старались не беспокоить его. О том, что делал генерал, закрывшись в одиночестве, ходили различные догадки: «Пишет научный труд», «Разрабатывает по заданию командующего войсками округа учебную операцию», «Читает художественную литературу», «Просто отдыхает: семью он еще не привез, одному дома скучно...» Окружной кадровик подполковник Бирюков, считавшийся в штабе самым проницательным и осведомленным человеком, без оговорок утверждал: «Изучает личные дела офицеров — нас тоже будут резать». «Резать» — по-бирюковски означало сокращать штаты.

Начальник политотдела полковник Иван Сидорович Субботин точно знал, чем занят командующий артиллерией, и наедине с ним иногда высказывал свои соображения, стараясь быть чем-то полезным в мучительных поисках и раздумьях Захарова. Порой они спорили. Это случалось тогда, когда Субботин приезжал в Нагорное, где размещался штаб артиллерии, и будто ненароком ронял фразу: «Мне кажется, что атомное оружие не будет применено в войне, останется вечным неприкосновенным запасом». При этом полковник ссылался на человеческий разум, гуманность и силу всенародного протеста. «Я тоже верю в эти вещи, — говорил Захаров. — Но вера лишь желание, прекрасная мечта. Желать — еще не значит иметь. Ты, Иван Сидорович, меня не расслабляй. Не нам, военным, спорить по этому вопросу, наше дело ружья чистить и сабли точить да голову иметь на плечах, чтобы четче соображать,

в какое время мы живем и какая ответственность лежит на наших плечах. А спорят пусть дипломаты, это их хлеб. Если потребуется, своих дипломатов мы поддержим...»

Разговор принимал слишком общий характер, и Субботин попросил дать прочитать то, что уже написано. «Пока ничего у меня нет, одно желание и душевные муки», — уклонился генерал.

В комнате, как всегда, стояла тишина. Схемы и таблицы расчетов, вычерченные и составленные самим Захаровым, наводили на раздумье. Учения, проведенные в горах, дали ему кое-какие данные для практических выводов. Но он чувствовал, что этих данных еще недостаточно, чтобы окончательно засесть за работу. Однако желание было велико. Он, аккуратно загасив папиросу, еще находясь мысленно где-то на учебном поле, еще с кем-то споря и кому-то доказывая, обмакнул перо в чернильницу, и по чистой страничке побежали ровные строгие строчки.

Кто-то тихонько постучал в дверь. Захаров посмотрел на часы: «Э-э, брат, засиделся». Он поднялся и, тяжело ступая, вышел в коридор, лицом к лицу столкнулся с начальником штаба артиллерии полковником Гросуловым.

— Ко мне?

— К вам, Николай Иванович.

Захаров закрыл дверь — щелкнул английский замок.

— Пойдемте в кабинет...

Пока генерал открывал форточку, Гросулов, словно впервые видя командующего, окинул взглядом его крепко сбитую фигуру и позабывал той легкости, которая чувствовалась в движениях Захарова.

— Слушаю, Петр Михайлович, — садясь за стол, сказал генерал.

— Полковник Водолазов подал рапорт об уходе в запас.

— Водолазов? Когда?

— Я только что был в артполку, он вручил мне рапорт на ваше имя, товарищ генерал. Пожалуйста.

Захаров прочитал: «Я долго думал, прежде чем обратиться к вам, товарищ генерал, со своей просьбой. Не подумайте, что меня кто-то обидел, кто-то ущемил мои права и я потому решил уйти в запас. Нет, я просто пришел к твердому выводу: моей службе в армии настал естественный, закономерный конец. Мне пятьдесят лет, я трижды ранен. Во мне уже нет той резвости, того огня, которые нужны военному человеку, чтобы он мог достойно выполнять свои обязанности, а наполовину служить я не могу, просто не умею».

— Не умею, — произнес генерал и потянулся за папиросами, но не закурил, вышел из-за стола. «Не умею!» — мысленно повторил Заха-

ров. — Похоже на правду. Сказано довольно сильно: «Наполовину служить не могу».

Человек сам признается, и тут ничего удивительного нет. Но в глубине души у Захарова возникли и сомнения: идет большое сокращение Вооруженных Сил, не это ли толкнуло полковника написать рапорт, не спешит ли он?..

Теряясь в догадках и предположениях, он спросил у Гросулова:

— Водолазова вы знаете лучше меня, каково ваше мнение?

— Мое? — произнес полковник и, прежде чем ответить, попросил разрешения сесть. Гросулов был заядлый курильщик, он сунул руку в карман, нащупал там трубку и уже хотел было пустить ее в дело, как вдруг вспомнил, что Захаров не очень-то поощряет курение в служебных помещениях.

Но генерал уже понял намерение полковника и снисходительно сказал:

— Курите. Вижу, волнуется...

— Мое мнение, — вставляя руку в карман, произнес Гросулов. — Признаться, товарищ генерал, за последние годы я как-то разучился высказывать свое мнение, все больше к обществу прислушиваюсь. Теперь все как-то по-другому идет...

— Лучше или хуже? — Захаров открыл ящик в столе, вытащил папку с надписью «Срочные дела» и положил в нее рапорт Водолазова.

— Года три-четыре назад я бы вам, товарищ генерал, посоветовал следующее: вызвать полковника Водолазова вот на этот ковер, — Гросулов указал трубкой на зеленую дорожку, — и сказать ему: забирай свое сочинение и марш в полк. Кто подает рапорт? — вдруг загорячился полковник. — Командир! Ведь он в войсках, как говорится, винтовка, а остальное — ремень и антапки...

— Что, что остальное? — перебил Захаров.

Эту фразу он слышал не впервые от Петра Михайловича, она даже стала своеобразным анекдотом, ходившим в войсках. Знал Захаров и о том, что кое-кто из младших офицеров, солдат и сержантов, завидя Гросулова, шутили: «Винтовка на горизонте! Антапки, нос по ветру!»

В серых глазах генерала Гросулов заметил какой-то холодок и, как бы извиняясь, промолвил:

— Это не мои слова. Разве вы не знаете, кто так говорил? Прежний командующий.

— И знать не хочу! — Захаров положил в стол папку, спросил: — Какое же ваше мнение?

— Просьбу Водолазова надо удовлетворить. Он болен и в прямом и в переносном смысле. Фронт, раны — устал человек. У него есть хороший заместитель, этот потянет. — Гросулов сжал в руке трубку и потряс ею над голо-

вой: — Потянет! Подполковник Крабов Лев Васильевич, он в артиллерии бог и царь. Вот мое мнение, товарищ генерал.

— Значит, вы, Петр Михайлович, уже подготовили и кандидатуру на место Водолазова. Это интересно. — Захаров позвонил начальнику отдела кадров подполковнику Бирюкову: — Зайдите на минутку.

Водолазова он знал недостаточно, за эти пять месяцев просто не успел изучить так, как обязан знать командир своего подчиненного. И вот теперь нужно выслушивать других вместо того, чтобы руководствоваться личным убеждением. Захаров не любил тех людей, которые не имеют своего мнения, а сейчас сам оказался в таком положении. Ему было неловко, он старался, чтобы Гросулов не заметил эту неловкость.

Бирюков вошел, как всегда, с папкой в руках, одетый в новенькое обмундирование, аккуратно причесанный. От него пахло крепкими духами, веяло неподдельной бодростью, и весь вид Бирюкова как бы говорил, что этот человек полон оптимизма и что на все жизненные неурядицы он смотрит довольно просто: есть они — ну и что? Нет — хорошо.

— Полковник Водолазов сколько служит в армии? — спросил Захаров, про себя отмечая: «Эк ты, братец, хорош с виду. Приятно смотреть на тебя».

Бирюков раскрыл папку, но тут же закрыл ее и без запинки, негромким голосом доложил:

— Полковник Водолазов, Михаил Сергеевич, девятьсот десятого года рождения, служит в Вооруженных Силах ровно двадцать пять лет. Что касается, товарищ генерал, основных китов, — у него полный порядок.

— Каких китов? — бросил Захаров, настаиваясь.

— Анкета, послужной список, аттестация, — ответил Бирюков, продолжая стоять не то чтобы навтыжку, а как-то уж очень привычно, профессионально, без тени истуканства. И это подметил Захаров.

— Какое у него образование?

— Сельскохозяйственный техникум, Тамбовское военное училище, ну и, конечно, командирская учеба — день в день все двадцать пять лет, исключая, конечно, войну...

— Вы вместе служили?

— Нет, товарищ генерал. Водолазов — человек дисциплины, поэтому и говорю: он ни одного занятия не мог пропустить.

У Гросулова на щеке задергался шрам.

— Человек дисциплинированный, это верно. Однако же в полку нет порядка. Остыл он, товарищ генерал, к службе остыл, — повторил полковник, пряча трубку в карман.

Бирюков возразил:

— Этого я не знаю, говорю по линии кадров...

— Ладно, посмотрим, — поднялся Захаров, давая понять, что разговор окончен. Гросулов заторопился. Надел фуражку, кашлянул в кулак. — Да, да, можете идти. И вы, Бирюков, тоже...

«Остыл... Три кита». Генерал слегка прищурил правый глаз. Он достал рапорт и еще раз перечитал его, потом позвонил Субботину:

— Иван Сидорович, ты можешь зайти ко мне? Сейчас. — Начальник политотдела проводил какое-то совещание. — Хорошо, через час я сам приду, никуда не уходи. — И, положив трубку, повторил: — «Наполовину служить не могу, просто не умею». Посмотрим, посмотрим.

### III

Старшина Рыбалко ел быстро и шумно, наклонив голову к тарелке. Устя смотрела на широкую спину мужа, в душе осуждала его: «И когда ты утомился, когда остынешь?» Вчера они возвратились из отпуска, ездили в Харьков, к сыну. Павлушка работает на заводе токарем, учится в вечернем институте, живет у бабушки. Растет без родителей. Просила оставить при сыне... Неужто не надоела ему эта служба?! Взбунтовался, на три дня раньше срока прилетел в Нагорное. Был бы в офицерском звании, а то ведь — старшина. Прилип к артиллерии, словно другой работы в мире нет.

Пообедав, Рыбалко начал быстро одеваться.

Устя работала в полковой библиотеке. Она накинула на голову платок и взяла сумочку.

— Вместе пойдем.

Накрапывал дождик. Рыбалко снял с себя плащ-накидку, передал жене. В ней Устя выглядела смешно: из-под башлыка торчал один нос. Почувствовав на себе взгляд мужа, улыбнулась, но тут же сбросила башлык, нахмурилась, в глазах появилась грусть.

— И долго еще мы будем вот так шагать? — Конечно, она имела в виду не эту сырую дорогу, ведущую к военному городку. Рыбалко взял жену под руку, прижался к ней плечом, но ничего не сказал.

Дождь усиливался, но Рыбалко не замечал хрустальных нитей, с глухим шумом падающих на землю. Он думал над вопросом жены... Сын уже второй год живет в Харькове, они отвезли его сразу, как только он окончил в Нагорном десятилетку, теперь видятся с ним лишь во время отпуска. Жена все чаще и чаще настаивает: «Демобилизуйся, столько лет отслужил, офицеры уходят из армии, а тебе со старшинскими погонами давно пора».

Устя расстегнула плащ-накидку, молча прикрыла полней широкие плечи мужа. От нее исходило тепло, пахло знакомыми духами.

— Нет, Устиша, для меня он еще не пришел! Поняла? — резковато произнес Рыбалко.

Она поскользнулась, сумочка выпала из рук. Старшина на лету подхватил ее и сунул себе под мышку.

— Кто не пришел-то?

— Мой разводный.

— А когда он придет?

— Не знаю.

— Выдумщик...

На территории городка они разошлись: Устя направилась в клуб, где помещалась полковая библиотека, Рыбалко заспешил в казарму.

В канцелярии командира батареи старшина застал только писаря Одинцова — рослого солдата с рыжеватыми, короткой стрижки волосами. Он заполнял листы нарядов. Увидев старшину, вскочил, с удивлением воскликнул:

— Товарищ старшина? Уже вернулись из отпуска?... Все у нас тут в порядке, личный состав батареи в поле.

Рыбалко подал Одинцову руку, потом сел на табурет, почувствовал необычайное облегчение.

— Вот я и дома, — сказал он. Отпуска Рыбалко не любил, почему-то уставал во время них больше, чем на службе, а на этот раз особенно: теща, семидесятилетняя старуха, подерживая Устю, непрерывно твердила: «У тебя, зятек, золотые руки, иди ты на завод, хватит тебе там, в войске, палить из пушек. Пусть молодые палят, а ты свою норму отстрелял». Подобные атаки со стороны жены и тещи предпринимались почти каждый день, особенно по вечерам, когда семья была в сборе...

— Теперь я дома, — повторил Рыбалко, рассматривая листы нарядов. Он обратил внимание на графу, в которой значилась фамилия рядового Волошина. Почему-то этот солдат за его отсутствие слишком часто назначался в наряд. Писарь, перехватив взгляд старшины, пояснил:

— Сам он просится, чтобы послали в наряд или на хозяйственные работы. Сержанта Петрищева замучил: твердит — куда угодно назначайте, на кухню или уборщиком, скучаю по работе. Первый такой доброволец объявился.

Рыбалко представил Волошина. Полный, с веснушчатой одутловатой лицом, с подслеповатыми глазами, с большими крестьянскими руками, он еще тогда, при первом знакомстве с новобранцами, вызвал у него настороженность: на вопросы отвечал коротко и довольно своеобразно. Рыбалко спрашивал: «Общественную работу в колхозе выполняли?» Волошин отрицательно качал головой: «Беспартийный я».

«У вас четырехклассное образование. Средств, что ли, не было, чтобы продолжать учебу?» Солдат вздыхал: «Грамотеев и без меня хватает». Когда же разговор пошел о трудностях воинской службы, о том, что солдату приходится иногда и полы мыть, и дрова колотить, и картофель чистить, Волошин произнес: «Миру труд — себе утеха». Что это означало, Рыбалко тогда так и не смог понять. За долгую службу Рыбалко еще не встречался с таким первогодком, которого не сумел бы быстро распознать, составить о нем определенное мнение.

— Это непорядок, — проговорил Рыбалко, передавая Одинцову листы нарядов.

Писарь принял это как упрек. Он хотел было что-то сказать, но Рыбалко спросил:

— Где сейчас Волошин?

Одинцов выскочил из-за стола, распахнул окно:

— Во-он, под навесом, рамочки для ленинской комнаты мастерит.

— Значит, плотник он? — Рыбалко хотелось посмотреть на Волошина, но что-то его удерживало.

Дверь канцелярии была полуоткрыта, и старшина видел ряды коек, чем-то напоминавших утлые плоскодонки, нагруженные аккуратно уложенными тюками. Отыскал взглядом кровать Волошина. Она стояла в самом углу.

Ничего в казарме не изменилось, как и двадцать пять дней назад, та же тишина, те же тумбочки, тот же чисто вымытый пол... И все же Рыбалко показалось — что-то тут не так, как было раньше. Он ходил вдоль кроватей, заглядывал в тумбочки, поправлял лежащие на подушках полотенца, хотя этого не нужно было делать, так как полотенца лежали, аккуратно сложенные в треугольники, как он сам этого требовал от солдат и сержантов. Вслед за Рыбалко неотступно шел дежурный по казарме ефрейтор Околицын, наводчик первого орудия.

— Чья койка? — спросил Рыбалко и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Почему тут спит Цыганок? Его кровать стояла там, — ткнул он рукой в противоположную сторону.

Околицыну было непонятно, как мог старшина узнать об этом, ведь кровати все одинаковые.

— Цыганок подружился с Волошиным, командир батареи разрешил спать рядом...

— Так, тоже новость. — Рыбалко отвернул подушку, под ней лежала толстенная книга «Приключенческие повести». — Этому Цыганку пора знать, где хранить литературу. Уберите.

В каптерке Рыбалко сел за свой маленький однотумбовый столик, покрытый серым сукном, начал перелистывать подшитые служебные бумаги и сразу заметил, что оставшийся за него сержант Петрищев допустил ряд неточностей

при оформлении различных ведомостей. Он не рассердился на сержанта, а лишь подумал: «В жизни каждое дело требует своих рук». На стеллажах лежали личные вещи солдат и сержантов — разноцветные чемоданы, туристские сумки, баулы. Рыбалко мог безошибочно определить, кому из солдат принадлежит тот или иной чемодан или баул. Вон самый крайний сундучок голубого цвета — в нем хранятся волошинские вещи: сапоги, домашнего пошива серый поношенный костюм, фуражка неопределенного фасона, пара белья и сорочка со старомодным стоячим воротником. Один раз в месяц солдаты проветривают личные вещи, перебирают и осматривают их, вспоминая жизнь на гражданке и весело подтрунивая друг над другом...

Рыбалко ожидал командира батареи капитана Савчука, чтобы доложить ему о своем возвращении из отпуска. Посмотрел на часы: до конца занятий было еще много времени, и он, выйдя из каптерки, начал осматривать деревья, посаженные возле казармы в прошлом году. Отсюда до навеса, где работал Волошин, рукой подать. «Первый такой доброволец объявился», — мысленно повторил он слова писаря. — Это хорошо, добрым станет солдатом», — заключил Рыбалко.

Волошин был так увлечен работой, что не заметил подошедшего старшину.

— Здравствуйте, Павел Васильевич!

Солдат обернулся: его еще никто не называл по имени и отчеству, и он не знал, что ответить старшине батареи.

— Не узнаете?

— Узнаю, — промолвил Волошин.

Он живо вспомнил и те короткие беседы, которые ему очень не понравились, потому что этот старшина много задавал вопросов, как будто до чего-то докапывался. Волошин взял стамеску и начал зачищать заусенцы. Рыбалко весь передернулся, усы зашевелились, карие глаза прищурились: этот солдат ведет себя, как будто не изучал Строевого устава и не знает, что старшим по званию положено отдавать честь.

— Работаете?

— Ага...

— Рамочки для ленинской комнаты делаете?

— Рамочки... Плотник я...

— Знаю. Но вы прежде всего солдат! — повысил голос Рыбалко.

Солдат, видимо, понял свою оплошность, схватил лежащую на верстаке пилотку, вздернул руку к голове.

— Здравия желаю, товарищ старшина, — глуховатым голосом произнес солдат, глядя куда-то мимо Рыбалко.

— Доложите, чем занимаетесь.

— Я? Плотничаю. Сержант Петрищев велел сделать рамку для стенгазеты. — На лице Волошина выступили красные пятна. Он стоял перед Рыбалко, тяжелый и тихий. И все это — красные пятна на лице, полуопущенные светлые ресницы, неподвижно висящие руки, неуклюже надетая на коротко остриженную голову пилотка, запыленные сапоги и топорщившаяся над ремнем гимнастерка — как-то в один миг охладило Рыбалко, вместо горячности вызвало в нем жалость. «Что ж я так... строго... Ведь он еще совсем не обкатан жизнью военной... Эх ты, в лесу, что ли, рос?» — с горечью подумал Рыбалко и, сев на верстак, предложил Волошину папироску.

— Не курим мы, — отказался солдат и протянулся за фуганком, но не взял инструмент, а лишь переложил его с места на место.

— Снарядным нравится служить? — спросил Рыбалко. Волошин молчал. «Робок ты, братец, робок, — думал старшина. — Ничего, обкатаем, потом дома не узнают, орлом прилетишь в свое родное гнездышко». Он понимал, сколько придется затратить сил и умения, чтобы вот из этого парня получился настоящий солдат: он любил бойких людей, могущих при случае постоять за себя и способных найти верный выход при любых обстоятельствах. А что Волошин сам просится в наряд, Рыбалко не верил. «Вернее всего, — рассуждал он, — просто податлив, а другие пользуются этим. И Петрищев же хорошо, не смог разобраться».

— Кто вам поручил эту работу?

— Сержант... Похлопочите, чтобы в взвод определили. — Волошин чуть вскинул голову, посмотрел на Рыбалко просящими глазами.

— Разве не нравится в огневом взводе? Солдат промолчал.

— В наряды ходить лучше?

— По мне это... Выстрелов боюсь я... Похлопочите...

— Привыкнете, товарищ Волошин, я вам помогу, будете хорошим артиллеристом.

И только под вечер старшина заглянул в библиотеку. Устя собиралась домой. Рыбалко попросил жену найти интересную книгу, такую, которая «схватила бы за душу первогодка, да так, чтобы солдат враз понял, какой род войск главнейший».

— Нет такой книги, — отмахнулась Устя.

— А ты найди... Такая книга должна быть...

— Знаешь, Максим, ты ведь не замполит, а старшина батареи, и не командуй мной. Нет у меня такой книги.

— Есть, Устиша. — Рыбалко смотрел на нее таким добрым взглядом, что жена невольно смягчилась.

— Разве поискать, что ли...

— Поищи... Эх, какой же он робкий, этот Волошин!.. А я на него еще нашумел...

— Ты на всех шумишь, — заметила Устя, подавая книгу. — Вот эта подойдет?

— Как раз! — прочитав название книги, воскликнул Рыбалко. — Я побежал. Приду не скоро, ужинай одна.

#### IV

— Это к нам, Митя...

— Пушай едут, места хватит.

— Опять, наверно, офицер от Водолазова.

— А может быть, и сам генерал. Генералы тоже мотаются по Расее, нонче есть жильё, а завтра нету. Ты поди, Дарья, на свою ферму, я сам приму...

Ко двору подъехала крытая брезентом легковая машина. Из нее сначала вышел солдат-водитель, затем высокий большеголовый офицер с медицинскими погонами на тужурке. Он окинул взглядом обширный двор, добротный, городского типа дом с верандой, фруктовый сад (ветки деревьев гнулись под тяжестью плодов), хозяйственные постройки — небольшой закуток под шиферной крышей и сарай, подле которого заметил собачью конуру.

— Это у нас вроде постоянного двора, — словоохотливо пояснил солдат, подойдя к калитке. — В полку квартир не хватает, многие офицеры поначалу живут у Дмитрича. Сазонов, этот самый Дмитрич, человек хозяйственный и приветливый.

С крыльца сошел мужчина лет под шестьдесят, в ситцевой сорочке и солдатских брюках. На ногах у него были порыжевшие кирзовые сапоги.

— Принимай, Дмитрич, жильца, полковник Водолазов просил устроить, — обратился к нему шофер, как к старому знакомому.

Дмитрич открыл калитку и без лишних слов предложил:

— Прошу, заходите и располагайтесь... Багаж какой у вас есть? — спросил он, разглядывая капитана медицинской службы. «Глаза-то какие свирепые», — отметил Дмитрич и принялся сгружать многочисленные тюки и чемоданы.

...За окном высились горы. Освещенные нежно-розовым закатом, они напомнили врачу родной Кавказ, Нальчик, где прошло его детство и юность. Позабыв о том, что надо распаковать книги, он все смотрел и смотрел на молчаливые громадины, которые всегда волновали его своим видом. Бой часов, неожиданно зазвучавший над головой, прервал мысли о родном крае. Часы висели под самым потолком — круглые, увенчанные летной эмблемой. Они издавали мягкий, мелодичный звон. Довольно

просторная комната имела два окна, между которыми стоял письменный стол с чернильным прибором, у глухого простенка — железная кровать, покрытая верблюжьим одеялом. В углу — вешалка, тоже, как и часы, украшенная пропеллером.

— Да ведь это гостиница! — воскликнул Дроздов. Он разделся, повесил шинель, опустился в кресло. — Ничего, жить можно.

За дверью послышались шаги.

— Можно к вам? — Дмитрич робко перешагнул порог. Его маленькие глазки остановились на багаже.

— Это книги, — сказал врач.

— А здесь?

— Книги.

— А тут?

— Книги, папаша...

— Первый раз вижу, чтобы военный таскал столько книг. Кто же вы будете, если не секрет?

— Врач, Дроздов Владимир Иванович.

— Ага! — о чем-то подумав, обрадовался Дмитрич.

— Вы начальник гостиницы? — спросил Дроздов.

— Что вы, это мой дом. Я колхозник, ночной сторож.

— Хорошо живете. Мебель, часы...

— А-а, — протянул Дмитрич, — квартировал у меня летчик с семьей, Герой Советского Союза, товарищ Морозов. Здесь неподалеку имеется аэродром. Несчастье случилось с летчиком. Разбился в горах. Жена с ребятами уехала. Вещички — они напоминают о любимом муже. А это — лишняя боль, лишняя... Вот, я и полагаю, бросила она их... У меня же они денег не просят и питания для них опять же не требуется... Так вот и стоят... Устраивайтесь, не буду мешать, о цене за комнату потом поговорим. — Он вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

«Ночной сторож, а глаза совсем свежие. Спит на дежурстве!» — решил Дроздов и начал распаковывать вещи.

Квартирантов, главным образом военных, перебивало у Дмитрича не один десяток. Были и гражданские с новостройки. Жил с неделю иностранец — не то англичанин, не то американец, какой-то важный турист. Все ходил по комнате, курил трубку, ругал русские морозы. Деньжищ у него была уйма, возьмет пачку, и на, Дмитрич, ступай за виски. Не считал деньгито. Дмитрич привык к жильцам. Но вот этот, новенький, почему-то не понравился. «Взгляд, как у следователя, аж оторопь берет, — рассуждал Сазонов, выйдя из дому. — Ничего, как бы он ни смотрел, а денежку платить будет».

Со двора хорошо был виден город, с одноэтажными и двухэтажными домиками, разбро-

санными вдоль железной дороги. С севера почти вплотную примыкали военные казармы, обнесенные кирпичной стеной, с востока — заводская строительная площадка с бараками и башенными кранами, похожими издали на стадо жирафов, а дальше вокруг простиралась лес и горы. Гремя цепью, поднялся Сыч. Собака встала на задние лапы, а передними уперлась в грудь Дмитричу, скуля и ласкаясь.

— Ну чего тебе, жрать захотел? Пошел вон! — Хозяин пнул ее ногой и направился к дощатому закутку, откуда слышалось гоготание гусей. Дмитрич начал считать птицу.

— Пятьдесят. Вроде бы и неплохо. А можно иметь больше. Можно.

Потянуло в овчарню, потом в коровник, заглянул в свинарник. Здесь он почесал бока двум жирным боровам. Дмитричу приятно было рассуждать о своем хозяйстве, подсчитывать, прикидывать.

— Пятьдесят гусей — раз, — погибал Дмитрич палец, — десять барашков — два, корова — три... Вот тебе и колхозная жизнь! Веки вечные жить бы при ней... — Савушка! — окликнул он приемного сына, показавшегося во дворе. «Эх, парень, и за что тебя судьба пришибла? Вот так из-за угла шибанула, и живи теперь не в своей тарелке. А может быть, это и лучше — смиренный, податливый», — рассудил Дмитрич, глядя на приемыша. — Савушка, присядь-ка, — показал Дмитрич на опрокинутый ящик-кормушку. — А как у нас, Савушка, с этим минимумом трудпалочек? Это ведь очень серьезная вещь.

Савелий извлек из кармана замусоленную тетрадь, послунавил палец и, полистав обтрепанные листки, сказал:

— В порядке, батя. Вот это мои палочки. Их уже тридцать пять штук. А вот эти ваши. Мамаше надо подтянуться. Могут из колхоза выпихнуть.

Дмитрич посмотрел на Савушку: «Гусенок ты, гусенок! Выпихнуть... Кто же это может сделать, коли соблюдается минимум?»

— А кто у нас новый квартирант? — поинтересовался Савушка.

— Врач. Книжек у него уйма!

— Может, он полечит меня? — прошептал Савушка и задумался.

Он не помнит отца и мать. Слышал от других — они погибли на фронте в первый год войны, когда ему было три года. Его взял к себе Дмитрич. В шестнадцать лет обнаружилась какая-то болезнь: он вечно не высыпался, сколько бы ни спал, хоть двадцать четыре часа подряд. Врачи говорят — пройдет, но вот который год его туманит и клонит ко сну, и он всегда будто полуживой, хотя болей никаких...

— Насчет этого сообразим, Савушка, опосля, — сказал Дмитрич, толкая в плечо уже прикорнувшего приемыша. — Почисть овчарню, а я схожу к полковнику. Слышал, занедужил Водолазов, яблочк снесу.

#### V

Михаилу Сергеевичу Водолазову нездоровилось: по ночам ныли раны, а когда они не ныли, — такого он не помнит. И все же раньше так паршиво себя не чувствовал. Расклеился с того момента, как вручил полковнику Гросулову рапорт об уходе в запас. Пришлось сходить в санитарную часть полка. Хорошо, что накануне отозвали старшего врача в Нагорное, тот отправил бы в госпиталь: он знал одно средство против болезни — госпитализацию, за что Водолазов недолюбливал старшего медика, называл перестраховщиком.

Дроздов послушал полковника, посоветовал денек-другой отлежаться дома: «Это у вас, товарищ командир, от переутомления. Пройдет». — «И то правда, — обрадовался Водолазов. — Пройдет!»

Будто бы особых болей и нет, а на душе скверно. Полковник встал с постели, вышел на улицу. Дом, в котором он жил, стоял на возвышенности, у обрыва реки. Речушка мелководная — по колено воробью, но быстрая, горная. Вода билась о камни, шумела и пенилась. Водолазов вслушивался в ее неугомонный рокот, и становилось как-то покойнее. Но стоило только перевести взгляд на постройки военного городка, раскинувшегося подле села на взгорье, перехватывало дыхание, и тревога вновь овладевала им. «Черт знает что!» — шептал Водолазов и спешил во двор, садился на скамеечку, мрачный и скучный.

Завтра в полку будут подводить итоги социалистического соревнования, и Бородин обязательно вспомнит о предложении лейтенанта Шахова, а Крабов, как всегда, начнет бурно возражать: «Это же противоречит «Курсу стрельб». Чепуха, а не идея! И без того хватает неприятностей». И конечно, упрекнет Узлова за его поведение: «Сколько мы цацкаемся с этим лейтенантом, а воз и ныне там!» Наговорят друг другу колкостей, а домой пойдут вместе, вместе пообедают.

Алеша скатился с крыльца, подбежал к Водолазову и отвлек от нерадостных мыслей. Михаил Сергеевич усадил внука на колени, достал из кармана тюбик с таблетками, но, подумав о чем-то, швырнул лекарство за ограду.

— Что это, деда? Что ты бросил?

— Пустяк, безделушка...

Алеше все нравилось в дедушке: и мягкие, слегка поседевшие волосы, и всегда чисто

выбритое теплое лицо, и сильные, широкие плечи, на которых он не раз сидел.

— Ну, что же ты притих? Иди встречай маму...

Алеша соскочил на землю, приложил руку к белой панамке и отчеканил:

— Слушаюсь, товарищ полковник! — И шмыгнул в открытую калитку.

Водолазов хотел было идти в дом («Почитать газеты, — может, отвлекусь от этой хвори»), но тут во двор вошел Дмитрич. Он держал в руках пухлую кожаную сумку.

— Прошу разрешения. — Сазонов чуть наклонил голову и продолжал: — Слышал, слышал. И здорово прихватила хворь-то?

Водолазова всего передернуло: «Этого еще не доставало — все село знает. Ну и ну». Он подвинулся немного, уступая место на скамейке Дмитричу.

— Не беспокойтесь, товарищ полковник. Мы люди занятые, сидеть нам нет времени. Вот яблок принес. Продукт отменный, особенно тогда, когда недуг у человека.

— Спасибо, Дмитрич. Из своего сада?

— Угадали, товарищ полковник, со своего. Фрукт в Сибири — редкая штука. Труда большого и умения просит он. Но мы, — Сазонов вытянул вперед тяжелые, с толстыми пальцами руки, — не привыкли лодыря гонять. Ночью на посту у фермы стоишь, днем на своем участке колдуешь — изогнешься так, что спина криком кричит. — Сторож помолчал, окидывая дворик любознательным взглядом. — Десяток али два возьмете?

— Давай уж три десятка.

Водолазов начал отсчитывать яблоки, раскладывая их на скамейке. Дмитрич советовал, какие взять:

— Это только по внешности хорошо, а изнутри не тае, вот возьмите это: платьице бледненькое, а там за кожей — один сахар, язык проглотишь.

Водолазов полез в карман за деньгами. Дмитрич, чуть скосив глаза на полковника, застыл в ожидании.

— Благодарствую, товарищ полковник. Фрукт для больного человека — лучшее лекарство. Желаю вам скорейшего здоровья. — Он собрался уходить, но вдруг присел на скамейку. — Наш председатель, Околицын Матвей Сидорович, совершенно измотался. Собирается к вам за подмогой. Машин не хватает для вывозки зерна... Нонче все спешат...

Когда Дмитрич ушел, Водолазов направился в дом. На столе лежали газеты. Полковник взял одну из них, начал читать заголовки: «Маневры войск НАТО», «Западный Берлин — фронтовой город», «Американские военные инструкторы в Лаосе». Швырнул газету на диван, позвонил в полк, вызвал майора Бородину:

— Степан Павлович, это я, Водолазов. Как там дела?

— Нормально, — услышал знакомый голос в трубке.

— Знаешь, Степан, три дня назад я подал рапорт, решил уволиться в запас... Теперь вот мучаюсь, ведь я ни с кем не посоветовался. Подожди меня в штабе, сейчас приду. — Он резко опустил трубку и поспешно начал одеваться. За воротами почувствовал боль в груди, но не остановился, хотя идти было трудно. «Вот почему скверно на душе: я ни с кем не посоветовался, уйду, как дезертир», — шептал Водолазов и все шел и шел...

Майор Бородин в ожидании командира полка перелистывал подшитые в красную папку протоколы заседаний партийного бюро. У двери, взявшись за ручку, стоял подполковник Крабов. Они договорились вместе поужинать, как это делали часто после того, как в прошлом году умерла у Бородина жена.

Бородин захлопнул папку, под его тяжестью заскрипел стул, на скуластом лице майора отразилась озабоченность.

— Мне кажется, что Шахов прав, нам следует поддержать лейтенанта, Лев Васильевич.

— Что, снова будем спорить? — Подполковник сощурил большие темные глаза.

Ему не хотелось возвращаться к праздному, по его убеждению, разговору. За последнее время в армии появилось столько начинаний, вносится столько предложений, что если каждому из них придавать значение, то все уставы и наставления надо выбросить за борт. Как этого не поймет Степан! У Крабова промелькнула недобрая мысль: «Старается, пока замполит на учебе, показать себя на этой должности: смотрите, какой я настойчивый и умный, хоть сегодня утверждай замполитом полка... Куда метит!» Но тут же, почувствовав, что это уж слишком — так думать о Бородине, человеке, которого он знает не один год как честного солдата и друга семьи, выбросил из головы эту мысль. Дома жена ждет к ужину и, наверное, теперь стоит у калитки, чтобы встретить его и вместе войти в квартиру. Крабов почесал затылок, вздохнул:

— Пойдем, Степан, хватит на сегодня. Нас ждет Лена, ужин приготовила.

— Я подожду командира, он обещал прийти. Звонил недавно.

— Выздоровел?

— Не знаю.

— Сдает старик... Чувствую, другого командира полка пришлют, из своих никого не назначат. А ты как думаешь, Степан?

— Никак я не думаю. Он на месте, что же тут думать?

— Нет, не назначат. — Крабов помолчал, наблюдая, как Бородин что-то записывает в

блокнот, и тем же тихим, вкрадчивым голосом продолжал: — Ну а если бы Водолазов ушел, могли назначить кого-то из наших?

«Знает, что ли, он о рапорте?» — подумал Бородин и, положив в сейф блокнот, с улыбкой бросил:

— А чем не командир полка заместитель по строевой части подполковник Крабов? А? — Нет, Степа, меня не назначат.

— Почему? Ты вроде бы не рыжий и командирским баском обладаешь, — засмеялся Бородин. — Потянешь, Лева.

Крабов на миг задумался. Что-то приятное, волнующее шевельнулось в груди: «Нет, Степан по-настоящему добрый человек. И Лена так о нем отзывается». Он толкнул дверь плечом, напомнил об ужине:

— Не задерживайся. Холодная медвежати-на, маринованные грибки... и козушка найдется. Ждать Бородину пришлось недолго.

— Вот и я. — Полковник вытер платком лицо, поискал взглядом, куда бы сесть. — У тебя, Степан Павлович, валидолу нет? — спросил он, растирая ладонью грудь.

— Валидолу? Что это такое? — Бородин стоял перед Водолазовым, большой и немного застенчивый.

«Да-а, — спохватился полковник, — откуда же такому знать это лекарство?» Он оцупал свои карманы и, найдя таблетку, завернутую в целлофан, положил ее в рот, но тут же почему-то выплюнул в урну, стоящую в углу.

— Теперь поговорим о моем рапорте. — Он сел у стола. — Знаю, обязан был посоветоваться с тобой как секретарем партийного бюро, а сейчас еще и замполитом. Однако же мне этого не хотелось делать. И вот почему. Я — командир полка. Мой шаг могут истолковать неправильно, особенно молодые офицеры, тот же, к примеру, лейтенант Узлов. А ему еще служить да служить. Понимаешь?

— Понимаю, товарищ полковник, и очень ругаю себя.

— За что?

— Какой же я, к чертям, партийный секретарь, когда не знаю, о чем думают коммунисты.

— Погоди, погоди, — насторожился Водолазов. — Значит, ты полагаешь, что я бегу из армии? Так, что ли?

Бородин промолчал. Очень уж не хотелось сейчас, глядя на болезненное лицо полковника, говорить на эту щекотливую тему: Бородину именно так и думалось — спешит Михаил Сергеевич уволиться из армии.

— Ну говори, говори, что ж молчишь? — торопил Водолазов. Боль в груди прошла, и он чувствовал себя лучше, чем по дороге в штаб, у полковника даже повеселел взгляд и исчезла та бледность на щеках, которая бросилась в

глаза Бородину, когда Водолазов искал в карманах таблетку. — Нет, секретарь, — продолжал командир полка, — я не бегу из армии. Я просто соизмерил свои силы и понял — нелегко мне было прийти к такому выводу, понял, что я не имею права больше задерживаться на своем посту. Ведь служба в армии — это не должность, это — творчество, нелегкий труд. — Он вдруг умолк, досадуя на себя за то, что так вот, уж слишком громкими словами, объяснился с секретарем. Бородин он знал давно, еще когда тот был капитаном и командовал батареей. Водолазов поднялся и тихо промолвил: — Вот теперь мне легче, исповедался, а то ходил эти дни и не знал, откуда у меня такая тяжесть на душе. Оказывается, я утаил свое решение... Ну, что ты скажешь, Степан Павлович? Правильно я поступил или... нет?

Водолазов сам точно не мог ответить на этот вопрос. Да, конечно, хворь мешает ему продолжать службу — раньше, даже полгода назад, он мог, не зная усталости, работать сутками, теперь нет той прыти, нет той энергии. Но это ли главная причина, побудившая его написать рапорт об увольнении из армии? Прямо сказать он не мог, не мог и боялся, даже себе не осмеливался сказать: а ты подумай, Водолазов, хорошенько подумай, настолько ли уж ты болен? Боли в груди — не новость, да и не так они серьезны, чтобы на дистанции покидать маршрут. Нет ли другой причины? «Соизмерил свои силы и понял...» Какие силы и что именно ты понял? Не думаешь ли ты: «Все это лишние и ненужные хлопоты, коли сокращают армию»? Не эта ли болезнь беспокоит, тревожит твою душу?

Не мог Водолазов даже наедине с самим собой прямо ответить на эти вопросы.

— Что я могу сказать, товарищ полковник? — наконец промолвил Бородин. — Не ожидал от вас... Подумайте, может, поспешили?

— Поздно, Степан Павлович, поздно, рапорт у генерала. Брать назад — это уж слишком, не в моем характере. Одним словом, мосты взорваны... Доложи мне, как прошли собрания личного состава. Или сегодня итоги не обсуждали? — Он посмотрел на часы. — Времечко-то уже позднее. Пойдем, Степан, по дороге расскажешь.

## VI

Длинной пулеметной очередью застрочил будильник. Бородин схватил подушку и накрыл часы. Стараясь в темноте не задеть за что-нибудь, он ощупью нашел обмундирование, начал одеваться, все так же опасаясь, как бы не разбудить спящего сына и не потревожить хозяйку дома. За окном в пучке электрического

света виднелись деревья. Ветер раскачивал ставню. Она скрипела на петлях. «Ты бы починил ее, может, придется нам не один год квартировать здесь», — вспомнил Бородин просьбу Кати и прижался лбом к холодному стеклу.

Жена умерла весной. Перед смертью будто чувствовала, что не выйдет из больницы. Она как-то неожиданно для него сказала: «Если умру, с женьбой повремени, пусть Павлик забудет меня, тогда ему легче привыкнуть к другой матери». Горько было слышать эти слова! Бородин любил Катю, и, если бы она попросила вообще не жениться, он так бы и поступил.

Месяца два назад Бородин выступал с докладом в клубе строителей. С трибуны он заметил в первом ряду маленькую женщину. Она так пристально смотрела на Бородина, что он смутился. Потом они встретились в фойе, разговорились. Она работала прорабом. Наташа Гурова — так звали эту женщину — чем-то напоминала Катю. И может быть, это сходство вызвало у Бородина желание вновь встретиться с ней. Обычно они виделись в городе, ходили в кинотеатр. Она не разрешала провожать ее домой, и он все чаще задавал себе вопрос: «Что за тайна?» И все же недавно он побывал на квартире у Наташи. Она жила в бараке, занимала комнату довольно просторную, с расставленной со вкусом дешевой мебелью. «Тайной» оказался мальчишка лет шести, белокурый крепыш, очень подвижный и общительный. Наташа думала, что сын как-то отпугнет от нее Степана.

...Он вышел из дому. Едва начинало светать. Думая о Наташе, Бородин пожалел, что у него сейчас мало свободного времени и он не может съездить на стройку в Нагорное, повидать ее. Да, времени у него маловато. Водолазов хотя крепится, старается, но заметно гаснет в работе: то ли болезнь, то ли этот рапорт подействовал на полковника. Теперь по всем вопросам люди идут чаще не к Водолазову, а к нему. Не хватает опыта, секретарствует он всего несколько месяцев.

Первые шаги всегда бывают нелегкими в любом деле, тем более они трудны в партийной работе. Легче было ему, старшему офицеру батареи, осваивать должность заместителя командира дивизиона по политчасти. На курсы послали, поучился и как будто бы неплохо справлялся с новыми обязанностями. В приказах отмечали. Подошло время отчетов и выборов партийных органов в армии. В полк приехал начальник политотдела дивизии полковник Субботин, старый, еще с довоенным стажем артиллерист. Несколько дней провел в батареях, все приглядывался, изучал партийную работу. А кончилось тем, что Субботин выдвинул его кандидатуру в состав нового партийного бюро и с речью выступил: «Бородин хороший артил-

лерист и опыт партийно-политической работы имеет». При голосовании Бородин получил наибольшее количество голосов. В перерыве он слышал, как Субботин говорил Водолазову: «Михаил Сергеевич, значит, решили: хороший будет секретарь». Бородин и не подумал, что это о нем шла речь. Но на первом же заседании нового состава бюро его единогласно избрали секретарем: радость и тревога завладели им. Потом, когда возвращался с недельных сборов секретарей парторганизаций, радость улетучилась, осталась одна тревога: заместитель командира полка по политической части подполковник Ребров убыл в Москву на долгосрочные курсы. И сразу Бородину показалось, что его новая выборная должность по своей трудности не идет ни в какое сравнение с прежней его службой.

В окнах казарм светились огни, но плац, на котором всегда проходила утренняя физическая зарядка, еще был пуст. У входа в казарму, чуть сутулясь, стоял Рыбалко. Бородин свернул к старшине, намереваясь расспросить, как он провел отпуск.

— Доброе утро, Максим. — Он всегда его называл Максимом, многие так зовут.

— Какое там доброе! — отмахнулся Рыбалко и попросил Бородина зайти в каптерку. Открыв дверь, старшина двинул ногой попавшийся на пути пустой ящик, в сердцах заговорил: — Товарищ майор, что же это делается? — Рыбалко хлопнул себя по бедру (там у него был шрам — след осколочного ранения). — Разве я могу это забыть? А мать, отца, брата и сестренку, расстрелянных в Харькове? Никогда! Пусть меня демобилизуют, пусть сокращают. Но ведь солдатскую душу нельзя уволить в отставку.

— О чем вы? — опешил Бородин: он никогда не видел таким раздраженным старшину. — Что произошло?

— Товарищ секретарь, будто и не знаете. Полк наш ликвидируют! Такую боевую часть расформировать!..

— Кто вам сказал про полк? — Бородин даже потом прошибло. «Ну и секретарь, ну и партийный руководитель, — ругнул он себя мысленно, — такие разговоры, такие настроения, а ты ничего-то не знаешь!»

— Вчера сам слышал: подполковник Крабов говорил командиру полка: «Ничего, Михаил Сергеевич, вслед за вами и мы пойдем на гражданку». А тот ему отвечает: «Устал я, Лев Васильевич». Он устал! А я не устал со своими ранами! — вскрикнул Рыбалко. — Зачем я тут в этом артиллерийском полку нахожусь? Думаете, другой работы не нашел бы... Фью-фью! — присвистнул старшина. — Руки целы, и в голове мозги не усохли... Но фашист ведь все время тянется к оружию, как кошка к салу.

— Об опасности фашизма думаешь не один ты, весь народ, вся наша партия. Понял?

— Понял, отчего же не понять? — примирительно отозвался Рыбалко. — Но раны мои не понимают. Ноют по ночам, спать не дают, даже в хорошую погоду беспокоят.

— Лечить надо.

— Мою хворобу трудно излечить... Не обижайся на меня, товарищ майор. Я все понимаю, а осколки, — показал он на рану, — не понимают. — Рыбалко достал из шкафа чертеж, развернул его и уже совершенно другим голосом заговорил: — Задумали мы с лейтенантом Шаховым каточки под станины изобрести, чтобы легче и быстрее разводить их. Вот посмотрите.

— Это другое дело! Для нас, военных, главное — служба, учеба. А всякие слухи — это ржавчина, — разглядывая чертеж, сказал Бородин. — Нужная вещь. Сможем ли мы сами изготовить их?

— Одобряете?

— Конечно. Буду поддерживать всячески. А ржавые мысли выбрось из головы.

— Выбрось... — вздохнул Рыбалко. — Головой понимаю, а сердцем не могу смириться... Не могу, товарищ майор!

— Ты что, против мира? — скороговоркой выпалил Бородин.

— Я за мир, но за такой, чтобы ни один капиталист не мог мне вторую ляжку покалечить.

— И я за такой, и партия за такой. Но добиться этого не легко, очень трудно. Чем мы сильнее будем, тем скорее наступит такой мир. Понял, «милитарист»? — улыбнулся Бородин. Они вышли из казармы.

— И чего это тебя, Максим Алексеевич, так кличут? — спросил Бородин, вслушиваясь в команды сержантов: физзарядка была в полном разгаре. — «Милитарист»...

— Желторотые пенцы, разве им прикажешь? — отозвался Рыбалко, отыскивая среди солдат Цыганка. — Войны они не видели, вот и кличут так. Ничего, подтянем до нужной нормы, обстругаем, не таких ставили на рельсы. Смотрите, как он, этот Цыганок, выполняет команды, будто контуженный... Всюду вольтит... Разрешите, товарищ майор, вмешаться? — И, не дожидаясь ответа, Рыбалко подбежал к сержанту Петрицеву, крикнул: — Отставить!.. Слушай мою команду!

...Под вечер, когда окончились занятия, Бородин зашел к Водолазову. Полковник подписывал служебные бумаги, в числе которых был рапорт капитана Савчука с просьбой предоставить ефрейтору Александру Околицыну десятидневный отпуск за отличные показатели в учебе.

— Удовлетворим просьбу командира бата-

рей? — спросил командир полка, показывая Бородину рапорт Савчука. — Ефрейтор первым получил права водителя тягача. Это замечательно, когда наводчик может управлять машиной. — У полковника было хорошее настроение. Вспомнил, как в прошлом году он спорил с замполитом, предложившим организовать в полку вечерние курсы водителей, улыбнулся. Ведь в душе верил: дело советует Ребров. Но оглядывался: а как в других частях, не сядем ли в лужу?

Подписав рапорт, полковник вдруг посуровел: Бородин напомнил Водолазову о недавнем партийном собрании, на котором лейтенант Шахов высказал довольно оригинальное предложение по совершенствованию методики огня по закрытым целям. Ценность этого предложения была очевидна. Но подполковник Крабов с непонятной жесткостью раскритиковал выступление лейтенанта, назвал предложение Шахова подкомом под существующие уставные положения, модной благоглупостью. Сам Водолазов на собрании отмолчался, а после не хотел и слушать, когда заходила речь об этом в полку...

— Ну что вы так на меня смотрите? — Полковник сунул в стол папку с документами. — Разговаривал я с лейтенантом Шаховым. Смелые мысли. Однако же мы должны видеть, что ствольной артиллерии приходит логический конец, ракетная техника вытесняет...

— Полк-то существует, действует, — возразил Бородин.

— Да, конечно, действует...

— В чем тогда дело?

— Дело в перспективе, Степан Павлович. Разве вы этого не понимаете?... Спорить не будем. Вот пришлю нового командира и... нажимайте на него. — В голосе Водолазова прозвучала нотка не то раздражения, не то усталости.

Бородин рассказал о том, что в подразделениях ходят слухи, будто бы ликвидируют полк. Водолазов оживился, вскочил, для чего-то плотно прикрыл дверь.

— Это моя вина, я дал повод... Да-да, чувствую, что это так. Но надо все сделать, чтобы уберечь людей от демобилизационного настроения, чтобы не пала дисциплина. — Он начал перечислять мероприятия, которые следует провести в ближайшие дни. Теперь перед Бородиным стоял другой Водолазов: то, что он советовал, предлагал, мог сказать человек, глубоко заинтересованный в деле и хорошо знающий жизнь полка, третий армейской службой, и майор невольно залюбовался полковником. — Все это надо сделать в течение ближайших двух-трех дней, — тоном распоряжения заключил Водолазов.

Он начал звонить командирам дивизионов, требуя от них усилить воспитательную работу



с личным составом, решительно пресекать всякие слухи, разлаживающие дисциплину и порядок. Потом вызвал начальника штаба полковника Сизова, приказав ему в двухдневный срок подготовить совещание сержантского состава в штабе полка.

— С докладом я выступлю сам. Надо, чтобы младшие командиры прочно стояли на своих местах. От них зависит многое. — Он тут же назвал фамилии сержантов, которым следует выступить на совещании и поделиться опытом воспитательной работы.

Начальник штаба ушел. Бородин вспомнил, что Водолазов вызывал к себе генерал Захаров, и спросил:

— Не вернул рапорт командир дивизии?

— Нет...

— Глядя на вас сейчас, я подумал: вернул, товарищ полковник.

Водолазов догадался, почему так спросил секретарь.

— Рапорт — это одно дело, Степан Павлович, а служба — другое: пока я солдат, мои обязанности остаются за мной. — Подумав, он продолжал: — Сегодня приходила председатель женсовета Крабова. Говорит, женщины решили своими силами оборудовать солдатскую чайную в клубе. Понимаешь, чайную! А ресторан, спрашиваю, не хотите открыть? Музыка, водочка, колхозные девчата. «Шумел камыш...» до утра? Елена Ивановна, говорю, я же командир полка, а не председатель треста столовых и ресторанов, что же вы меня обижаете? Она в ответ: «В других частях, товарищ полковник, имеются солдатские чайные», — и газеты показывает: вот, мол, посмотрите... Не стал читать, отправил Елену Ивановну к тебе. Приходила?

— Нет.

— Значит, я ее убедил... Чайная! Ну и времечко же настало — не поймешь, чем командир полка должен заниматься: то ли огневой подготовкой, то ли чайными. — Водолазов оделся, проверил, закрыт ли сейф. — Пойдем, секретарь, субботний день, можно и на час раньше...

Уже на улице полковник спросил:

— Ты-то как смотришь на эту чайную?

— Положительно.

Водолазов остановился, чуть наклонил голову, потом вскинул взгляд на Бородина:

— Ага, так-так... Зайду к Дроздову, великолепный врач... Советует чаще ходить по кручам, не медик, а золото.

Майор остался один. Утром Елена забрала к себе Павлика, пригласив Бородина на обед. Но ему не хотелось идти к Крабовым. Опять Лев будет доносить расспросами, отправил ли Захаров рапорт в округ... К штабу подъехала машина. На ней офицеры отправлялись в Нагорное. «А может быть, к Наташе?» — подумал

Бородин и поспешил к машине. В кузове уже сидели Узлов и Шахов. Лейтенанты успели переодеться, и сейчас в выходном обмундировании, с начищенными пуговицами они выглядели еще моложе. Сразу же за воротами Узлов запел. Песню подхватили остальные. Песня была про Орленка, и Бородин невольно вспомнил о сыне. Он постучал по кабине. Машина остановилась как раз против дома Крабовых. Бородин легко выпрыгнул из кузова. «К Наташе можно и потом, в следующую субботу», — успокоил он себя.

## VII

Матвей Сидорович Околицын, протирая сонные глаза, сунулся под умывальник, окатил холодной водой голову. Было раннее утро, восточный край неба алел огненной дымкой, отчего казалось, что за старой греблей какие-то озорники палят солому. Матвей Сидорович, скосив бровь, напряг слух, словно пытался уловить шум пожара. Но кругом — тихо.

— Показалось. — Он бросил полотенце на скамейку. Но в этот миг за разрушенным валом взметнулся столб огня. — Наваждение... Александр! — крикнул Матвей Сидорович сыну, спавшему в летнице. — Привык на службе спать до подъема... Нет, брат, у нас эдак без хлеба останешься.

Матвей Сидорович торопился в поле, прикидывая до обеденного перерыва попасть к полковнику Водолазову, попросить у шефов две-три машины для перевозки зерна на элеватор, ожидала уйма и других дел... Взгляд Матвея Сидоровича остановился на запыленном «газике», стоявшем во дворе. «Самому сесть за руль? — подумал он. — Служба солдатская нелегкая, пусть отдохнет». Шел пятый день, как ефрейтор Околицын находился в краткосрочном отпуске. Он не сидел сложа руки: обучал колхозных ребят шоферскому делу, возил отца по полям и фермам, в пути показывал, как надо водить машину: «Присматривайся, батя, это дело нетрудное». Матвей Сидорович пробовал управлять «газиком», вроде бы получается. Но сейчас председатель колхоза спешил и опасался по неопытности где-нибудь застрять. — Александр! — Толкнул с разбегу дверь и остановился на пороге, чуть согнувшись, чтобы не стукнуться головой о притолоку. Кровать была убрана. Не похоже, чтобы сын спал эту ночь в летнице.

«Понятно, — догадался Матвей Сидорович. — У Борзовой... И что хорошего ты в ней нашел?» Он недолюбливал колхозную фельдшерницу Лиду. Щупленькая, с большими на редкость глазами, она не давала председателю покоя, звенела, как электрический звонок: «В детском саду надо построить тент, провести

на медпункт телефон, купить ребятам баян, установить в клубе телевизор...»

Борзова — секретарь комсомольской организации, и Матвею Сидоровичу приходится нередко прислушиваться к ее голосу, а вообще-то он старался не показываться Лиде на глаза. Знал Околицын, что за медичкой шибко приударяют и ребята из артополка, и колхозные хлопцы, теперь еще и сына приманила.

Матвей Сидорович в сердцах захлопнул дверь и с той же раздражительностью пнул ногой бросившегося к нему с лаской кобеля, сел в кабину, робко нажал стартер. «Газик» молчал. Околицын потрогал кнопку подачи газа — результат прежний.

Скрипнула калитка: во двор вошел Александр.

— Опять куда-то торопишься? — заметил сын.

— Нет, ожидаю, когда дневальный по батарее сигнал подъема подаст. — Он натянул поглубже фуражку, закурил. — Коли взялся возить меня, будь всегда при машине, а лучше — отдыхай, набирайся сил...

— Недоволен водителем? — прикуривая отцовской папироски, пошутил Александр.

— У нас, брат, только поспевай, сам знаешь: опоздал на минуту — зерно ушло из рук. Или уже все забыл, служба в армии?

Александр в упор посмотрел в скуластое лицо отца: мелкие щетинки обложили щеки, подбородок, топорщились на верхней губе.

— Побрился бы, председатель. Ведь нехорошо в таком виде появляться перед народом.

— Ладно! Заводи. Побреемся в более подходящее время...

— Ну-ну, жди такое время. — Ефрейтор включил зажигание. И не успел Матвей Сидорович моргнуть, как «газик» легко покотился к выезду. На дороге, укатанной до глянца, сын спросил: — Куда прикажете?

— К старой гребле. Кто-то там жег солону.

— Показалось тебе, батя.

— Может, и показалось. Тогда давай на комбайны.

— А что там? Или неполадки?

— Да нет, комбайнеры — опытный народ. Вчера скосили сто пятьдесят пять гектаров, приходи полюбоваться!

— А зачем же ты к ним спешишь? Сходи к полковнику Водолазову, он тебя научит, как планировать свой рабочий день.

— Собираюсь и к нему. Восемь лет в контакте живем, помогаем друг другу...

Машина выскочила на косогор. Отсюда как на ладони хорошо просматривались поля, стога соломы. На повороте, где дорога сворачивала к жатве, навстречу попала повозка, на ней восседал Дмитрий.

— Останови!.. — крикнул Матвей Сидорович и, открыв дверцу кабины, соскочил на обочину. — Откуда? — спросил он сторожа.

Дмитрий медленно снял картуз, ладонью пригладил редкие волосы, ткнул рукой в сторону города:

— Оттуда, откеле же мне ехать, товарищ председатель? Продал кабанчика. Старуха потребовала новый сарафан и платок.

— Ну и что, купил? — заглядывая в кузов повозки, спросил Околицын.

— Купил. Чего же не купить, — словоохотливо заговорил Дмитрий. — Денежки есть. Аванс нынче богатый.

Слова Дмитрия пришлись по душе председателю колхоза. Он бросил сыну:

— Слыхал?.. Поехали!

— Жулик он, Дмитрий-то, — с упреком сказал Александр, когда свернули в поле. — Хитрющий, бес!

— Критикуешь? — насторожился Матвей Сидорович. — Пятый день в колхозе и все уже увидел, определил, оценил.

— Одноглазый ты, батя, — вздохнул сын. — Я этого Дмитрия и раньше не любил. Жулик он — вот и все, и к тому же кулак.

Но Матвей Сидорович уже не слушал сына. Завидя возле вагончика одинокую женскую фигурку, он с беспокойством сказал:

— Кажись, Борзова! Объезжай стан, гони прямо к комбайну. Прокаженная, бежит...

— Остановить, что ли?

— Гони, а то не избавишься от нее.

Александр прибавил скорость. Из ложины выполз трактор, тащивший комбайн. Бросив в небо черное кольцо дыма, трактор остановился. Матвей Сидорович заволновался, выскочил из машины, крикнул трактористу:

— Горючее-то не поступает! — И набросился на сына: — Чего прилип к баранке? Помогите человеку. Эх ты, солдат!..

— Сейчас поедем, Матвей Сидорович. — Тракторист привычно взялся за рычаг, и трактор, качнувшись, тронулся с места. Председатель взобрался на самосвал, сунул руку под тугую струю зерна.

— Хороша, матушка! Ой, хороша! — восторгался он. А когда слез с самосвала, распорядился: — Теперь гони в правление.

...Отец что-то записывал в блокноте. На белом листе плясали, то разбегаясь, то сходясь, многочисленные цифры, восклицательные знаки.

— Чего заглядываешь? — с улыбкой заметил отец. — Ведь все равно, ефрейтор, ничего не понимаешь.

— А ты растолкуй. Или государственная тайна?

— Тайны никакой, а дело действительно государственное. Понимаешь, все подсчеты

показывают: если мы за счет овса увеличим клин зерновых, то приходи, кум, любоваться!

— За чем же дело стало?

— Нешто пойдет на это район! За нарушение травополки я уже был бит. С меня хватит.

— Да-а, батя, оказывается, ты еще и трус! — пошутил Александр, но Матвей Сидорович принял это всерьез. Его взгляд вдруг сделался сухим: брошенную сыном фразу он слышал и от Борзовой. «Сговорились», — промелькнула мысль.

— Останови «газик». Как ты сказал? — Он повернулся к Александру, ожидая ответа.

Тот не спеша поставил машину на ручной тормоз, приоткрыл дверцу и указал на старую греблю:

— Видишь?

— Не ты первый на нее показываешь. Находились такие молодцы, настаивали разводить тут водоплавающую птицу, выращивать капусту, петрушку. Угробить средства и ждать в поле ветра? Откуда здесь возьмется вода? Из талых снегов? Ее не хватит и на один летний месяц — испарится. — Матвей Сидорович закрыл блокнот, не спеша положил его в сумку и прищурил правый глаз.

— Ты, батя, не ершишь, подумай лучше, может быть, люди дело говорят. Воды в колхозе не хватает, а там, под землей, молчат родники, можно сказать, дремлет богатство.

— А что тут думать, — резко чиркнул спичкой Матвей Сидорович и, закурив, махнул рукой: — Нет. Землю за греблей прикажу распахать. Хорошая там будет пшеница. И не баламуть ты меня, а то...

— Обидишься?

— Обидишься — неподходящее слово. У меня ведь характер...

— Но я, батя, кажись, твой сын. А яблоко от яблони далеко не падает. Дай отслужить, вернусь...

— Пойдешь против отца? — скороговоркой спросил Матвей Сидорович, снял фуражку, потер седые волосы.

— Нет, зачем против отца? Против председателя, который не желает смотреть на мир обоими глазами. И фельдшерицу ты обижаешь, бежишь от нее. Сегодня она всю ночь рыла землю. Родники мы искали... Про это дело уже знает секретарь райкома партии товарищ Мусатов. Я ему написал... Одноглазый ты, батя, одноглазый...

Матвей Сидорович громко рассмеялся:

— Шестьдесят лет прожил и не знал, что я при одном глазу. Ну тебя к чертям, сынок! Езжай-ка ты домой, отдыхай, набирайся сил, артиллерист. Я на своих двоих забегу к Водолазову. — Он решительно покинул машину и, не оглядываясь, тяжелой, стариковской поход-

кой пошел по дороге, ведущей в военный городок. Его сутулые плечи слегка покачивались, но голову он держал гордо и прямо.

— Батя! — Александр догнал отца, поспешил. Тот остановился. — Садись, батя.

Околицын молча втиснулся на сиденье. Через минуту, когда машина уже набрала скорость, вздохнул, покачал головой:

— Старею, Александр, старею... Говоришь, одноглазый?.. Может быть, ты и прав. Годы... Шестой десяток закружился. Пора и смену требовать.

Водолазов не любил длинных докладов, как не любил, чтобы в разговоре с ним подчиненные держали себя истуканами. Особенно докучал его этим подполковник Крабов — при докладах мучил до душевной боли. Сухонький, небольшого роста, с мясистым носом, Крабов обладал необыкновенным басом: он не говорил, а гудел густо, как труба. Когда Околицын изложил свою просьбу, полковник позвонил Бородину, чтобы посоветоваться, как отнестись к просьбе председателя колхоза. Секретаря партийного бюро не оказалось на месте. Пришлось обратиться к заместителю по строевой части.

Крабов прогудел в трубку: «Есть, сейчас явлюсь, товарищ полковник».

Матвей Сидорович, держа портфель на коленях, сидел у самого стола.

— Значит, не хватает машин и людей? — Водолазов для чего-то потрогал оконную портюру. — Скоро у вас будут люди. Хороших хлопцев получите из армии.

— Может быть, кто и получит, только не наш колхоз, Михаил Сергеевич.

— Это почему же?

— Ну кто пойдет?.. Горы, лес, морозы, жара. Климат не тот.

— Пойдут, Матвей Сидорович. Нагорное — место перспективное. Завод строят. Будет тут и жилье, будут и театры.

Околицын усомнился:

— Нет. Порядок не тот. Вы своих солдат, которые будут увольняться, не направите в наш колхоз? Никто вам этого не позволит. А мы взяли бы их с радостью. Да что там говорить, одна мечта! Вот вы, к примеру, Михаил Сергеевич, могли бы у нас остаться, если бы решили уйти из армии?.. Что, затрудняетесь ответить?

«Пронюхал, что ли, о моем рапорте?» — подумал Водолазов и, сощурился, произнес:

— А должность найдется?

— Вам-то? Что за вопрос! Вот принимайте хоть сейчас. — Матвей Сидорович протянул портфель. — Принимайте, товарищ полковник. Что? Не желаете? То-то и оно! А говорите... Хлопцы, они солдаты-то хорошие, но идут

больше в город. — И, помолчав, шепотом спросил: — Может быть, вы и в самом деле надумали надеть гражданский костюм? Коли армия сокращается, рапорт на стол — и к нам в председатели. Очень стоящее дело, и место перспективное...

Водолазов вскинул взор на Околицына:

— Уговариваешь?

— Значит, робеете? — покачал головой Околицын.

— Не так сказано, — мечтательно произнес полковник. — «Робеете!» Не то... А вообще-то мы не сробеем, Матвей Сидорович, всему свое время, — вразяжку произнес Водолазов и снова поймал себя на мысли: «Пронюхал. Точно, пронюхал».

Вошел Крабов, выпрямился перед Водолазовым, загремел:

— Слушаю вас, товарищ полковник!

— Лев Васильевич, можем мы выделить две-три машины колхозу? Надо помочь подшефным.

— Помочь-то можно, товарищ полковник, но нарушим приказ... Полковник Гросулов категорически запретил отрывать людей от боевой подготовки.

— Знаю, — подтвердил Водолазов. — Но ведь просят, как же поступить?

— Вы — командир, как прикажете, так и будет, — уклонился Крабов от прямого ответа.

— Командир... Это верно, — вздохнул Водолазов. — Но у вас, Лев Васильевич, свое мнение есть, вот и посоветуйте.

— Есть, товарищ полковник. Думаю, что надо отказать.

Околицын вскочил со стула, торопливо заговорил:

— Товарищ подполковник, это нехорошо. Хлебушек, он вот как нужен стране. Поймите: солдаты, они и в дождь и в стужу могут стрелять, а колхозник зависит от капризов природы. За невыполнение в срок уборочной меня за грудки возьмут в райкоме, шею так намылят... С товарищем Мусатовым придется объясняться.

— Но и нам не простят, — сказал Водолазов и, почесав пятерней седеющую и слегка выщущуюся шею, решил: — Ладно, пришлем, Матвей Сидорович, пришлем.

Околицын облегченно вздохнул.

— Спасибо, товарищ полковник, выручили. Ну, я побежал. Теперь я все больше пешочком мотаюсь, — схитрил Матвей Сидорович, чтобы еще больше разжалобить офицеров.

— А где же ваш «газик»? — поинтересовался Водолазов.

— Автомобиль есть, а шофера нет, на косолице он, трактор водит.

— А сын? Ведь он же в отпуске? Ефрейтор Околицын у нас не только отличный наводчик,

но и хороший автомобилист. Мог бы эти дни и повозить отца.

— Ну его... — махнул рукой Матвей Сидорович. — С ним рядом находиться — все равно что присутствовать на бюро райкома, когда ты провинился в чем...

— Критикует?

— Шпикует на каждом километре, — признался Матвей Сидорович и захлопнул дверь за собой.

Довольный тем, что удалось уговорить военных, он, садясь в машину, подмигнул сыну: — Порядок, Александр. Гони теперь в правление...

...Крабов продолжал стоять навтыяжку. Водолазов покосился на него, спросил:

— Лев Васильевич, вы что-то хотите сказать мне?

— Разрешите доложить, товарищ полковник?

— Что случилось? — Водолазов собирался уходить домой. Он снял фуражку, но не повесил ее, а бросил на стол.

— Лейтенант Узлов подал рапорт, просит уволить его в запас.

— Так, — процедил сквозь зубы Водолазов. — Покажите мне рапорт.

— Есть!

— Что вы: «есть» да «есть». Нельзя ли попроще? — заметил Водолазов.

— Есть! — словно выстрелил Крабов. — Вот рапорт лейтенанта Узлова.

...Был тот час, когда еще чувствуется ушедшее за горизонт солнце, угадывается его свечение, когда уже нет теней, но деревья, дома, почерневшие горы, холмы еще видны, хотя уже сгладились, пропали их очертания. Водолазов любил такой час, любил потому, что он приносил ему отдых, прохладу и что-то необъяснимо радостное. Но сейчас, идя домой, ничего этого не замечал, ничто его не радовало. Рапорт Узлова... Он почти запомнил его наизусть.

«...Рано или поздно, вы это хорошо знаете, товарищ полковник, часть офицеров уволят в запас. Я решил это сделать сейчас, когда мне двадцать три года, когда я имею полную возможность поступить в институт, получить высшее образование и потом, имея хорошую специальность, успешно работать в народном хозяйстве».

Какое же решение он, командир полка, должен принять? Отказать?.. Когда-то Водолазов был словно лихой джигит, который не мыслил иной жизни, как в седле, в галопе. Он мчался без остановок, и никогда не возникал у него вопрос: куда и зачем — все было предельно ясно и просто. Он командовал батареей, дивизионом, полком. Его перебрасывали из части в

часть, из одного гарнизона в другой, и он мчался, мчался, преодолевая рытвины и ухабы армейской жизни... И вот — ранения, болезни, годы сказали свое решающее слово. А тут ракетная техника идет на смену ствольной артиллерии. Ото всего этого у Водолазова такое чувство, будто кто-то выбросил его из седла и он оказался пешим, не приспособленным к новой обстановке.

«Что пишет, мальчишка!» — пытался Водолазов осудить Узлова, но тут же вспоминал свой рапорт. «Пятьдесят лет, — рассуждал он. — И не стар, и не молод. Можно начать новую жизнь, вернее, продолжать эту же, но в другом качестве... В другом... Пятьдесят лет — и можно и нельзя... Конечно, пенсия... Но пятьдесят... Для мужчины это не так много. Но все же не двадцать три!.. Не я ли ему пример подаль?» От такой мысли Водолазов вздрогнул, сжал сердце. Полковник огляделся по сторонам — никого нет. Холодной рукой положил таблетку под язык. На душе не полегчало, и он упрекнул себя: «Лечишься, да не от той хворобы».

### VIII

У Елены Крабовой детей своих не было. Так решил Лев Васильевич: «Жизнь военного — сплошные дороги, переезды, потерпим пока без ребят, потом видно будет». «Потом» продолжается уже двенадцать лет, и Елене иногда становится страшновато: не останется ли она вообще бездетной женщиной? Лева — это кремень, его ничем не прошибешь, да и поговорить-то с ним нет времени, он вечно чем-то занят, вечно куда-то спешит, часто задерживается на службе...

Послышался бой часов. Елена сосчитала удары... Пора бы и Лева прийти на обед. Она подошла к окну, но тут подкатился к ней Павлик.

— Тетя Лена, а тетя Лена!

— Что, Павлуша?

— Смотри, что я нашел, — показал он бумажку.

— Это дяди Левы приказ.

— Приказ, кому приказ?

— Мне, Павлуша, мне.

— Ты разве солдат, тетя Лена?

— Солдат, — вздохнула Елена и перечитала записку: «Прошу выполнить: а) купить в охотмагазине для спиннинга леску — в воскресенье обещался приехать Гросулов, потянет меня на рыбалку; б) не знаю, куда делась книга «Стрельба наземной артиллерии», поищи в чулане; в) приготовь обед (твой калмык совсем отошел, сегодня обязательно он будет у нас). Целую. Лев».

Она посмотрела на мальчика: до чего же он похож на Степана, только брови Катины. Елена взяла Павлика на руки и прижала его к груди. Она так привыкла к этому пухленькому и тихому существу, что не может и дня прожить без него. Вот уже скоро год, как не стало Кати, они дружили с ней, разве она может оставить Павлика без присмотра! У Степана много дел, иногда он забывает о сыне.

— Тетя Лена, папа сюда придет?

— Придет. Мы будем все вместе обедать: ты, папа, дядя Лева и я. Ты доволен?

— Очень. — Мальчик посмотрел ей в лицо.

...Первым пришел Бородин.

— Павлик здесь? — спросил он, остановившись в коридоре.

— Спит, проходи и посиди на диване. — Елена сняла фартук, поправила заколки на голове, посмотрела в зеркальце, повешенное на гвоздь возле раковины. — Мой задерживается? — спросила она, войдя в комнату.

— Сейчас придет. Врача нам нового прислали. Лев вместе с ним в столовой задержался.

— Женщина или мужчина? — Елена закрыла дверь спальни.

— Мужчина, капитан. Из Ленинграда, медицинскую академию окончил, работал при академической клинике.

— Интересный?

— То есть как?

— Как специалист...

— Не знаю. Взгляд у него — как у разбойника. Глаза большие, свирепые. «Дряхлость мышц убивает человека» — вот что он изрек, когда узнал, что Водолазов в пятьдесят лет страдает болезнью сердца. А твоему Лева сказал: «Какой сухонький. Обещаю — и вы будете аки буйвол». Для всех у него одно лекарство — спорт, физическая подготовка...

Слушая Степана, Елена улыбалась и слегка покачивала головой. Она была одета в светлое платье, перехваченное в талии поясом. Темный тугий пучок волос, казалось, отягощал ее голову.

— Ну что ж, это хорошо, — сказала Елена просто и естественно. — Лева давно надо настояющему заняться спортом. На других покрикивает, а сам утреннюю гимнастику забросил: «Некогда, спешу, теперь я один, Водолазов болеет». — Когда она говорила, губы ее слегка оттопыривались, как у ребенка, и было приятно и смешно смотреть на нее. Она села на стул, положив обнаженные, слегка загорелые руки на край стола. — Хочу спросить у тебя, Степан, как с солдатской чайной? Это ведь не забава, серьезное дело. Мой тоже, как и Водолазов, отмахивается: «Женсовету делать нечего, благополучиями занимается». — Она улыбнулась,

черные ее глаза заискрились. — Я ему, Лева-то, говорю: «Сухарь ты, Левушка, и службист».

Послышался звонок. Елена встала и, едва не задев Бородину, выскочила в коридор открывать дверь. «Доброе создание. Счастливчик ты, Лев», — подумал Степан и, будто испугавшись своей мысли, заерзал на диване, стараясь поудобнее сесть.

...Выпили сухого вина. Начали закусывать ломтиками отварной холодной козлятины (в прошлое воскресенье Крабов ездил на охоту с Гросуловым, привез богатый трофей). Лев Васильевич ел быстро, словно спешил куда-то. Его немного побитое оспой лицо вспотело, и теперь на нем не так замечались рябинки. Он попросил жену дать чистый платок. Вытираясь, спросил:

— Нашла книгу?

— Нашла, — ответила Елена, разливая по тарелкам суп.

— И леску купила?

— Да, и леску купила. И вот обед приготовила. Все твои распоряжения выполнила. — Она замолчала, поджав губы.

Бородин поспешил сменить тему разговора, сказал Крабову:

— Узлова надо назначить на должность. Хватит ему в дублерах ходить. Ответственность человека воспитывает, закаляет...

— Согласен.

— Приятно слышать...

— Вот уволится Водолазов, и назначим Узлова командиром второго огневого взвода. Рапорт лейтенанту я верну. Присягу принимал, пусть служит.

«Он уже считает себя командиром полка», — мелькнула мысль у Бородина.

Крабов продолжал:

— Разговаривал я с Шаховым. Признаться, Степан, тогда я ошибался. Теперь вижу: его предложения вполне осуществимы. Шахова надо поддерживать.

— Правильно, давно бы так, — заметил Бородин.

— Понимаешь, Степан, Водолазов возражал...

— Это верно. Но ты, Лев, еще сильнее противился, на собрании распушил: подкуп под уставы!

— Ошибался... Откровенно признаюсь: ошибался...

Елена подала второе — запеченный в муке сазан.

— Хватит вам спорить, помолчите хоть одну минуту, — сказала она, морща нежный лоб.

— Можно, — согласился Крабов. Но его так и подмывало спросить, верно ли, что рапорт Водолазова отослан в Москву.

На охоте Гросулов недвусмысленно намеревался ему: «Готовься принимать полк, другой

кандидатуры я не вижу». А как на это смотрит секретарь? С его мнением будут считаться. И Крабов спросил бы, но тут Елена заговорила совсем о другом: она слышала, что Бородин влюбился в какую-то инженершу со стройки. «Нашла о чем спрашивать!» — с досадой в душе упрекнул он жену.

— Кто это вам сказал? — отодвигая пустую тарелку, откинулся на спинку стула Бородин.

— Земля слухом полнится. — Елена достала из буфета чайный прибор.

— Дыма без огня не бывает, — подхватил Крабов. — Хватит тебе бобылем жить, Степан. Или снова вызывай мамашу.

Мать Бородина жила на Дону, работала в колхозе птичницей. После смерти Кати она сразу приехала в Нагорное. Пожила у Степана три недели и затосковала по дому. «Что ж я тут, как сиротинка, без работы. Отпускай меня, сынок, помру я от безделья». Пришлось отправить. «Уж ты не серчай на меня, сынок, человек живет, пока трудится. Пойми меня, Степушка», — сказала она, прощаясь с ним в вагоне.

— Это верно, — согласился Бородин, — жениться надо, только вот сын... Он ведь еще не забыл мать.

Елена поднялась и ушла в спальню и, тут же возвратясь, сказала:

— Спит Павлуша. До чего же он похож на тебя, Степан!

...Бородин не стал будить Павлика. Он попросил у Елены голубое покрывало с кровати, завернул в него спящего сына.

— Напрасно забираешь. Пусть остается, — сказала Елена, провожая Бородину до двери. — Ведь пойдешь к ней, оставь.

— Это уж точно, пойду... к ней... Спасибо, Лена. Утречком я его заберу, хозяйка присмотрит.

Елена положила Павлика на кровать, убрала со стола, вымыла посуду. Лева сидел на диване, перелистывал книгу, делая на полях какие-то пометки. «Уже работает», — ей стало жалко мужа.

— Отдохнул бы. — Елена взяла его руку, прижалась к ней щекой.

— Да, Шахов, конечно, прав. И как это я раньше не понял... Методика довольно сложная, но вполне доступная... А с Водолазовым вопрос почти решен. Думаю, на его место назначат меня, слышишь, Лена?

— Ты уверен? — Она отшатнулась от мужа, начала вынимать заколки, кладя их Льву на колени.

— Абсолютно уверен, — сказал Крабов, продолжая смотреть в книгу.

— Это плохо.

— Почему?

Елена покачала головой, улыбнулась:

— Женсовет решил оборудовать солдатскую чайную. Водолазов не поддержал нас. Ты тем более не поддержишь.

Крабов засмеялся, обнимая жену робко и нехотя.

— Посмотрим, Лена. Увидим. — Его руки вдруг соскользнули с плеч, и он, вскочив, бросился к вешалке.

— Куда ты?

— Служба, Лена. Я скоро вернусь...

На попутной машине Бородин быстро оказался в Нагорном. Наташа ожидала его возле кинотеатра. Он увидел ее еще издали, едва завернув за угол магазина «Военная книга». Она стояла возле щита с афишами. Дул северный ветер, нес с гор дыхание снегов. По тому, как Наташа продрогла, Бородин понял, что она ожидает его по меньшей мере около часа, надо скорее увести ее отсюда или в кино, или домой, увести не только потому, что она озыбала, но еще и потому, что не хотелось, чтобы знакомые офицеры его видели рядом с женщиной... И все же, когда он взял ее под руку, предлагая пройтись немного, впереди показался лейтенант Узлов с колхозной фельдшерницей Лидой. Узлов лихо козырнул Бородину, взглядом измерил Наташу с ног до головы, потом помахал майору выразительно: мол, и ты, секретарь, не теряешься. Лейтенант довольно бесцеремонно чмокнул девушку в щеку. Лида отскочила от него, вытерла лицо белой варежкой. «Неужели пьян?» — подумал Бородин, еле сдерживая себя, чтобы не сделать замечание Узлову. Тот отвернулся и что-то говорил фельдшернице. Лида громко смеялась, махая руками, не то звала его к себе, не то предупреждала, чтобы он не подходил к ней.

Бородин заспешил с Наташей вдоль улицы, ведущей к баракам строителей. Он уже успокоился и считал, что здесь, на этой тихой окраине, не может встретить знакомых. Но неожиданно совсем неподалеку заметил Дроздова. За спиной у врача — рюкзак, и было похоже, что капитан медицинской службы собрался совершить не ближнюю прогулку. Врач увидел Бородина, но ничего не сказал и, прибавив шагу, вскоре свернул к домику, одиноко стоявшему возле небольшой рожицы. За ним в километре начинался лес, а еще дальше возвышались горы с многочисленными отрогами, припудренные ранним снегом.

— Теперь успокоился? — спросила Наташа, когда они оказались в ее комнате. Она поставила чайник на плиту, убрала со стола чертежи и, облокотившись на стол, улыбнулась: — Такой большой, а людей боитесь. Я заметила, как вы нервничали...

— Это не боязнь. — Бородину не хотелось продолжать об этом разговор, и он спросил: — Где же Алеша? Гуляет?

— Нет, он у дяди.

— У вас есть дядя? И он живет в Нагорном?

— Да.

— Кто же он?

— Секрет.

— Опять секрет! О, женщины, сколько у вас секретов! Неужели вы сотканы из одних секретов? Как же тогда с вами разговаривать? Вы рискуете попасть под суд за выдачу... государственной тайны, — пошутил Бородин, принимая слова Наташи за выдумку, ибо был уверен, что, если бы на самом деле у нее был дядя, она давно бы сказала ему об этом, ведь не умолчала о своем замужестве, призналась, когда он первый раз провожал ее домой. Правда, имя мужа она ни разу не произнесла, называла его просто «он». «Он собирался поступить в академию. Где сейчас, не знаю». «Он не таков, чтобы прощать». «Он особенный, в этом я крепко уверена». «Он не виновен, что я оказалась одна». Лишь совсем недавно, по настоянию Бородина, Наташа поведала причину, побудившую ее уехать от мужа, а по ее словам — бросить и бежать, скрыв от него беременность. Об этом она рассказывала долго, жестоко ругая себя.

Ее мать — депутат городского Совета. Наташа, будучи студенткой третьего курса строительного института, влюбилась в него, курсанта артиллерийского училища. Когда он окончил учебу, они поженились. Мать не разрешила брать его фамилию, ибо Гурова — фамилия известная. Служил он у черта на куличках. В гарнизоне ни квартиры, ни воды, ни театров. Мать в письмах умоляла бросить все, уехать. Наташа не выдержала, поддалась материнским уговорам... Закончила учебу в институте и вот отважилась поехать с сыном в Нагорное на стройку. «Мать я возненавидела, она отняла у меня его. И себя я ненавижу. Я поступила жестоко, он любил меня. Ошибку исправить невозможно, да и зачем? От него ни одного письма, значит — отрезал, и правильно поступил».

Когда Бородин в тот вечер попытался смягчить ее рассказ тем, что надо найти его, как-то уладить дело, она воскликнула: «Разве вы, Степан Павлович, не мужчина, разве вы не так поступили бы!» Голос ее был сухой и резкий, и Степан понял, что, если бы он возвратился к ней, она, пожалуй, возненавидела бы этого человека только за то, что простил ее.

— Я думаю, вас не удивит, если скажу: полковник Водолазов Михаил Сергеевич — мой родной дядя, — сказала Наташа таким тоном, будто Бородин давно знал об этом и сообщает

она только для того, чтобы как-то продолжить начатый разговор. Бородин не отозвался, да едва ли он услышал, что она сказала: в эту минуту Бородин мысленно сравнивал ее с покойной женой. Чем-то Наташа напоминала Катю — не то голосом, звонким и чистым, не то внешностью: прямой, Катин, нос, чуть вздернутые уголки губ (людям казалось, что Катя улыбается, когда она вовсе не улыбалась); всегдашняя жизнерадостность была дана ей самой природой, как родинка на лице: смейся, плачь, негодуй или страдай — ничто не устранил это пятнышко. Так вот и у Гуровой — даже когда она ругала себя за жестокость по отношению к нему, лицо ее светилось доброй улыбкой...

— Вот видите, вас это не удивило. Выходит, что вы знали. — Наташа открыла маленький шкафчик, стоявший рядом со столом, и, сидя, начала брать оттуда посуду. Звон стаканов, чайных ложечек пробудил Бородина.

— Что вы сказали? — спросил он, слегка наклоняясь вперед.

Она поняла, что он не слышал, повторила:

— Говорю, что у меня в Нагорном много знакомых...

— Я знаю кого-нибудь из них?

— Знаете... например, полковника Водолазова Михаила Сергеевича. Это мой родной дядя, брат матери...

— Полковник Водолазов?

— Да, Водолазов...

— Он же мой командир! — воскликнул Бородин.

Она поспешила:

— Я слышала, дядя рассказывал о вас, но он не знает о нашем знакомстве, — добавила Наташа и, о чем-то подумав, предложила: — У меня есть сухое вино, будете пить? «Тетра», вчера купила. — Она поставила на стол небольшую вазу с яблоками и конфетами. — Другой закуски нет, питаюсь в столовой, Алеша в детском садике... Я не пью, но сегодня немного выпью. За ваши успехи и счастье, Степан Павлович. — Она поднесла стакан, некоторое время смотрела на него, словно собиралась что-то сказать, но, ничего не сказав, отпила немного, села рядом с Бородиным, положила руки на стол. — В двенадцать часов я должна быть на стройке. Мы обязались к лету сдать главный корпус, сейчас работаем в две смены. Уже поступает оборудование, приходится спешить, сроки подгоняют...

— Вам здесь нравится? — спросил Бородин и сразу стушевался: этот вопрос он задавал уже несколько раз.

Но она, взяв яблоко, ответила:

— Я очень люблю свою работу, Степан. Очень! Иногда мне кажется: вот-вот что-нибудь сделаю не так, допущу брак, и меня уволят... В такие минуты делается страшно, ведь в ра-

боте — смысл жизни человека. Это не фраза, это мое глубокое убеждение. — Она умолкла. Бородин вспомнил лейтенанта Узлова. Не потому ли этот молодой офицер написал рапорт об увольнении из армии? Ведь он, по существу, не имеет должности? Дублер — что это за должность, никакой ответственности, работает на подхвате у лейтенанта Шахова...

— Хотите посмотреть мой участок? — Не дожидаясь ответа, Наташа взяла чертеж, развернула его на столе. — Вот видите, блоки, их несколько штук. Они составляют главный корпус. Здесь будет установлено уникальнейшее оборудование. — Она наклонилась так, что волосы касались щеки Бородина. Он почувствовал крепкий запах духов.

— Наташа, — не сказал, а лишь пошевелил губами Бородин. — Ты молодец, — уже громче произнес он и положил руку на ее плечо.

— Степан, — выпрямилась Гурова, — не надо... Идемте на улицу... Проводите меня на стройку...

Они вышли. На улице было тихо, темно. Он взял ее под руку, чувствуя, как она покорно прижалась к нему.

## IX

Рыбалко все пристальнее наблюдал за Цыганком: поведение солдата на физической зарядке не выходило из головы. В артиллерийском парке старшина заметил, как Цыганок, чистя ствол орудия, едва держал в руках баник, а затем передал его Волошину: «Давай, Пашенька, потрудись, бог тебе поможет». И тот безропотно кряхтел, пока командир орудия сержант Петрицев не остановил Волошину. Изучали правила перевозки боеприпасов, и тут Цыганок пытался увильнуть от работы. «Ну, взяли, понесли!» — поторапливал он Волошину, стараясь только держаться за тяжелый ящик...

Рыбалко долго размышлял, как «прощупать» Цыганка, чтобы сделать точный вывод: ловкач он или действительно физически слабый солдат. Поинтересовался у командира орудия. «Художник, с него взятки гладки. Кистью работал, откуда же будет сила». То, что Цыганок до армии писал афиши в клубе одесских грузчиков, Максим знал и без Петрицева. Ответ сержанта не удовлетворил старшину, тем более не внес ясность в сложившиеся отношения между веселым, словоохотливым Цыганком и замкнутым Волошиным. А отношения эти были довольно странными: Цыганок часто отпускал в адрес Волошина подковырки и насмешечки, и тем не менее Волошин не только не обижался на Цыганка, напротив — льнул к нему, будто чем-то был обязан.

Не знал Рыбалко про такой случай... Как-то Цыганок дневалил по казарме. В помещении стояла дремотная тишина. Рыбалко осматривал заправку кроватей, заглядывал в тумбочки, под подушки. Цыганок следовал за ним как тень, молча. Уборщики хорошо поработали, и старшина не смог обнаружить неполадки. Он направился в канцелярию командира батареи. Цыганок облегченно вздохнул. «Сегодня он что-то помягче, теплее», — порадовался в душе Цыганок и вдруг возле кровати Волошина заметил какой-то листок, маленький, похожий на этикетку спичечного коробка. Цыганок поднял находку, прочитал надпись: «Памятка «Братского вестника». «Люби ближнего, не убивай, не кради, не пей спиртного, не кури, не сквернословь». Цыганок хотел было позвать старшину, но, опасаясь неприятностей для себя, поспешно сунул листок в карман. Когда сдал дежурство, вспомнил о находке, решил показать Околицыну. «Ох и посмеюсь над Санькой: какой же ты агитатор, коли штуквины господни валяются? — Но передумал: — Нет, так не пойдет, узнают другие и будут молотить языком про агитатора, а на поверку это окажется пустяком, — например, родительским наставлением для Пашки...»

Ложась спать, Цыганок заметил, как Волошин, чиркнув спичкой, начал искать что-то возле своей тумбочки. Цыганок наклонился к солдату, шепнул на ухо:

— Паша, не ищи, он у меня в кармане.

Волошин шмыгнул под одеяло и спустя минут пять сказал:

— Баламут, ты на что намекаешь?

— На, возьми, — протянул Цыганок листок. — Могила, никому не скажу. Слово одесита — закон!

Волошин долго колебался, потом со вздохом сказал:

— Обманешь, Костя?

— Значит, твой?

— Мой...

— Бери, шут с тобой, буду молчать. Ну и дурак же ты, Пашка! — упрекнул Цыганок солдата и, чтобы не слышать его вздохов, натянул одеяло на голову.

С тех пор и пошло — что бы ни сказал Цыганок, Волошин смолчит...

...Стоял погожий день. Светило солнце. Артиллеристы занимались саперной подготовкой, рыли окопы для орудий, оборудовали хранилища под снаряды. Рыбалко прибыл, когда работы шли к концу. Расчет Петрищева отдыхал в отдающем сыростью окопе. Наводчик Околицын читал газеты. Солдаты переговаривались, комментируя на свой лад сообщения о международной жизни.

Цыганок шепнул Волошину:

— Пашенька, почисть мою лопату. Все равно дремлешь.

— Я слушаю, — отозвался Волошин. Но то, о чем читал Околицын, шло мимо его ушей: как только объявили перерыв, он, усевшись поудобней, сразу ушел в свои мысли. Воспоминания нахлынули с непостижимой быстротой, закружили и унесли его в родную тихую деревеньку на берегу сонной реки Цны. Волошину чудился гомон молитвенного дома, а перед глазами попеременно вставали то бабушка, читающая «Братский вестник», то проповедник Гавриил с распростертыми к нему пухленькими руками... И тут этот Цыганок со своей дурацкой просьбой!.. — Я слушаю, — повторил Павел, оглядываясь по сторонам.

— Очень хорошо. Я ж не против этого, слушай, а лопату почисть, смажь и в чехол положи. Будь другом, устал я, спина ноет с непривычки. Почисть...

Не заметил Цыганок, что на бруствере сидит старшина и уже крутит усы: «Я ж тебя сейчас обстругаю». Даже весь передернулся.

— Спину надорвал? Выходи из окопа! — поднялся Рыбалко, думая, что это сразу подействует на Цыганка.

Солдат спокойно взял у Волошина лопату, весело воскликнул:

— Здравствуйте, товарищ старшина! Вы мне говорите?

— Вам, выходи, выходи. Раздевайся до пояса.

— Бороться, что ли, будем? — рассудил Цыганок. Он нехотя вылез из окопа, подергивая узкими плечами. Знал Цыганок, что старшина увлекается вольной борьбой и, несмотря на свои сорок лет и ранения, участвует во всех спортивных состязаниях. — Я вас не одолею, товарищ старшина. Сами знаете, писарем работал, мускулами не успел обрасти.

У старшины задержались усы. «Ты меня своими остротами не остудишь», — подумал Рыбалко.

— Раздевайся! — приказал он, снимая с себя ремень и расстегивая тужурку.

Цыганок повиновался.

— Подержи, Паша, гимнастерку, да смотри не испачкай о землю, стирать придется, а я еще не наловчился прачкину работу выполнять.

— Сорочку тоже снимай, — нетерпеливо бросил Рыбалко, еле сдерживая себя, чтобы не накричать на солдата: медлительность и многословие Цыганка подогревали старшину с каждой секундой.

Перед малорослым, с неразработанной мускулатурой Цыганком Рыбалко выглядел довольно внушительно.

— Сейчас побегим вон до того курганчика, — показал старшина. — Петрищев, засекай время.

— Наперегонки? — удивился Цыганок, глядя на седеющие виски и иссиня-черные усы Рыбалко.

— Наперегонки, — ответил старшина, выбирая место старта. «Я ж тебя сейчас раскушу, художник», — продолжал гневаться в душе Рыбалко.

Они встали в ряд. Петрищев взмахнул рукой:

— Пошли!

Вначале бежали локоть в локоть. Рыбалко искоса посматривал на солдата, тот частил ногами, широко открыв рот.

— Носом дыши, — подсказал старшина.

— Понимаю.

— Понимаешь, а «сачкуешь». Умник нашелся. Для чего присягу принимал?

— Служить верно нашему Отечеству. Об этом мне каждый день Санька Околицын, наш взводный агитатор, толкует. И я согласен с ним, — словоохотливо ответил Цыганок. — Только мне кажется: батарея из меня не получится. Ростом не подхожу. В дальномержики с радостью пойду. Похлопочите, товарищ старшина, девять классов образования имею, геометрию и тригонометрию на зубок знаю. Книжку вчера достал, какой-то И. Т. Кузнецов написал — «Стрельба с дальномером». Мне эта специальность очень по душе... Геометрия — это не станины разводить или банником работать, — продолжал Цыганок, как будто не бежал, а сидя беседовал.

— Замолчите! — крикнул Рыбалко и забеспокоился: «Самому бы не опозориться. Ишь, как кроет, с разговорчиками, и не отстают». Кальсоны липли к телу, капельки пота покатались по щекам, попали на губу. «Десяток лет сбросить бы», — подумал старшина. Но желание «раскусить» солдата, а сейчас уже желание не уступить в беге «салажонку» гнало прочь мысли о возрасте, и он, тяжело дыша, размеренно бежал по мягкому полю, покрытому порывшей травой.

Цыганок не отставал. Рыбалко слышал его дыхание и удивлялся: оно было таким же, как в начале старта. «Ну, конечно, хитрюга», — сделал вывод Рыбалко. Лицо у него стало синим, с темными прожилками на щеках. Цыганок затревожился:

— Может, хватит, товарищ старшина?

— Жми, — с тяжелым продохом ответил Рыбалко.

— Да ведь помрете! — выпалил Цыганок.

«Я тебе помру», — хотел старшина крикнуть, но и собственного голоса не услышал. Гулко билось сердце, но уступить — не в его характере. «Молодо-зелено такое говорить старому солдату. Что потом скажешь о своем старшине? — шевельнулась мысль в голове Рыбалко. — Потом хоть из армии уходи. Нет,

товарищ Цыганок, останавливаться мне нельзя».

— Я не могу, слышите, товарищ старшина, не могу.

«Хитрит, сманивает». Рыбалко напрягся: до окопа оставалось не более ста метров, уже слышались выкрики солдат: «Цыганок, открой второе дыхание!», «Цыганок, двойную порцию получишь на обед!»

Рыбалко смахнул пот с лица и увидел впереди себя узкую, облитую потом спину Цыганка. «Салажонок, опередил все же», — не ревниво, а с радостью заключил старшина.

Он молча оделся, молча пожал руку Цыганку и, направляясь к своему мотоциклу, вдруг обернулся, погрозил пальцем:

— Я те покажу, как сушится порох! Понял? — и вскочил на сиденье, с шумом, на полном газу перескочил через кювет и вскоре скрылся в облаке дорожной пыли...

— Думал, помрет усач. Даже испугался, — надев гимнастерку, весело начал рассказывать Цыганок.

— А сам как? — поспешил спросить Петрищев, еще не веря, что этот щупленький солдатик оказался выносливее самого Рыбалко.

— И не спрашивайте, товарищ сержант, все внутренности перемешались. Теперь не пойму, где сердце, а где селезенка — кругом стучит, даже в пятки отдаст, — засмеялся Цыганок и похлопал по плечу Волошина: — Понял что-нибудь, Пашенька? Нет? Теперь мне замковым до гроба служить. Скидки на малый рост не будет. Одним словом, артиллерия! Работай банником, разводи станины. Вот так, Пашенька. Придет время, и тебя, Волошин, раскусят. А как же, Пашенька, воинская служба, она, как наждачная бумага, всю ржавчину счищает.

Павел потянулся за лопатой Цыганка и начал молча соскабливать с нее землю. Петрищева это покорило:

— Товарищ Цыганок, встать! Возьми лопату, надо углубить нишу для боеприпасов, остальным — замаскировать дерном землю.

Углублять пришлось на целый метр. Под конец работы Цыганок с трудом разогнулся: болела спина, на руках мозоли. «Что-то надо придумать, к врачу, что ли, сходить», — глядя на свои ладони, подумал он.

## X

После отбоя в казарме наступила тишина. Цыганку не спалось. Он слышал, как у двери вышагивал дневальный: топ-топ, топ-топ.

У Цыганка гудело и ныло все тело. Раньше, бывало, только он прикоснется к постели, мгно-

венно смыкались глаза, а нынче нет — сон не приходит и в голову лезут разные мысли.

«Я те покажу, как сушится порох», — пришли на ум слова старшины, и на душе у Цыганка немилосердно заскребли кошки. Он вспомнил солдечную Одессу, вспомнил Тоню, веселых грузчиков — туда бы ему сейчас, туда. Артиллерист из него не получится, не того он калибра.

Топ-топ, топ-топ — будто по голове прошлись. Цыганок сбросил одеяло, ощупью нашел сапоги, достал из кармана брюк спички, папиросы и направился к выходу. Жмурясь от света, он закурил, покашливая.

— С ума сошел! — выхватил Околицын изо рта Цыганка папиросу и швырнул ее в урну. На столе, покрытом серым сукном, Цыганок заметил журнал регистрации солдат и сержантов на прием к врачу. Он слышал от других, как внимателен и добр полковой врач к больным: выслушает, лекарства даст, а то и в санчасть положит.

— Видать, захворал я, Саня, запиши, пусть доктор мне спину поправит. Понимаешь, не разогнусь, будто кто бревном огрел, — попросил Цыганок, рассуждая про себя: «Денек-другой отлежусь, а там, смотришь, и старшина остынет... И чего он ко мне пристал?»

Околицын раскрыл книгу, недоверчиво посмотрел на Цыганка, промолвил:

— Новый врач к нам приехал, академию окончил, ты на прием к нему пойдешь первым.

— Спасибо, Саня, — прошептал Цыганок и, скособочившись, медленно побрел к своей кровати. Лег, закрыл глаза. Опять увидел перед собой Рыбалко. «Я те покажу!» — погрозила старшина пальцем точно так, как там, в поле, возле окопа. «Я же могу надорваться, — вздохнул Цыганок и попробовал мускулы на руках. — Студень... материал не тот», — пытался он убедить себя, потому что теперь опасался: боли в спине могут утихнуть, и врач выставит с позором за дверь. Но угрызение совести быстро прошло, и он уснул, уснул как раз незадолго перед тем, когда по казарме прокатилось повелительное слово:

— Подъе-ем!

Руки сами потянулись к тумбочке, на которой лежало обмундирование, но тут же, словно плети, повисли над полом.

Цыганок спал, свернувшись калачиком; казалось, нет той силы, которая могла бы поднять его сейчас. Казарма наполнилась глухим топотом сапог, короткими командами сержантов, то веселым, то сердитым солдатским говорком. Но все это в один миг, подобно взрыву, отозвалось и затихло...

Рыбалко прошелся вдоль пустых рядов коек. Он всегда так поступал, когда солдаты уходили

на физическую зарядку: нужно было осмотреть казарму, проследить, все ли вовремя поднялись, дать задание уборщикам, проверить, как дневальные выполняют свои обязанности. У старшины много дел.

Спящего Цыганка он заметил еще издали, покрутил усы, легонько кашлянул в кулак в надежде, что солдат немедленно поднимется и суматошно начнет одеваться, чтобы догнать ушедших товарищей. Но Цыганок поморщился, что-то пробормотал во сне, перевернулся на спину, захрапел. Его безусая губа чуть-чуть подергивалась, щеки и прямой нос были покрыты бисеринками пота, черные, смолянистые волосы спадали на чистый, без единой морщинки лоб. На смуглой шее ровно пульсировала еле заметная сонная артерия. На какой-то миг Рыбалко вообразил, что он стоит у кровати спящего сына, и невероятная колющая жалость шевельнулась в груди. «До чего же ты еще хлпец! — вздохнул Рыбалко. — Мальчишечка, зоревать бы тебе да зоревать». Рыбалко, будто испугавшись, что кто-то подслушивает его мысли, обернулся: ефрейтор Околицын смотрел на него, чуть наклонив голову к плечу, как это делают люди, чем-то озадаченные.

— Подъем! — в сердцах вскрикнул Рыбалко, вытягиваясь и расправляя грудь. — Вы почему не на физзарядке?

Цыганок вскочил, окинул взглядом опустевшую казарму, беспорядочно лежащие на койках одеяла, заметил, как спрятался за выступ стены Околицын, увидел двух солдат-уборщиков с ведрами и щетками в руках и сразу понял, кто стоит перед ним. Он не испугался, а только досадливо подумал: «Снова ему попалась на прицел».

— Заболел я, товарищ старшина. К врачу пойду.

— Негоже солдату хворать. Однако сходи, сходи. Потом доложишь мне лично, какая болезнь у тебя.

— Слушаюсь, доложить лично вам, товарищ старшина, — вытянулся в струнку Цыганок. Плечи солдата еще больше заострились, и весь он показался старшине очень уж слабым, и Рыбалко невольно подумал: «Как же он меня чуть не уморил?.. Такой тщедушный, а бегаёт шибко».

— Что у вас болит, живот?

— Наоборот, товарищ старшина, спина. От шеи до заднего места — полный прострел...

— Сходи, сходи, — повторил Рыбалко. — А сейчас, если можешь, помоги уборщикам подмести казарму, — добавил он, направляясь в канцелярию командира батареи.

...Обыкновенно записавшиеся на прием к врачу солдаты шли в санитарную часть полка строем под наблюдением или дежурного по казарме, или дневального.

На этот раз больных, кроме Цыганка, не было.

Домик санчасти находился в отдалении, возле каменной ограды, в небольшом скверике. На полу Цыганок вдруг остановился, сделал несколько приседаний: боли не почувствовал. Его охватил ужас, но он еще надеялся: «Возможно, не так резко двигаюсь». Он начал прыгать, махать руками — никакого прострела: видимо, работа в казарме (он старался, как только мог — вынес мусор, вымыл пол в канцелярии командира батареи, по требованию ефрейтора Околицына протер окна в ленинской комнате) подействовала на него исцеляюще. Однако от этого Цыганку легче не стало: он заколебался — идти к врачу или нет; если возвратиться, не побывав в санчасти, то что он может сказать старшине?.. Рыбалко не тот человек, чтобы не сделать из всей этой истории определенного вывода. «Он же меня при всем честном народе так раскритикует, что потом, пожалуй, целый год будут вспоминать, как Цыганок пытался словчить». Он даже вообразил хитроватые рожицы солдат, особенно Околицына, который представился ему стоящим у стенгазеты и показывающим на карикатуру: видали такого «сачка!» «Санька такой случай не пропустит... Это его хлеб, распишет и изобразит в самом смешном виде», — с грустью заключил Цыганок и, уже не колеблясь, вошел в скверик.

Цыганок на приеме оказался единственным. Его сразу вызвали к старшему врачу. Дроздов, читавший до этого какую-то толстую книгу, встал и вышел из-за стола. Густые брови, нависшие на глаза, и глубокая продольная морщина у переносья делали его лицо мрачным, даже свирепым. У Цыганка что-то оборвалось в груди: «Выгонит сейчас, ей-богу, выгонит».

— Раздевайтесь до пояса. — Дроздов снял очки, воткнул в оба уха коричневые провода, начал выслушивать. От врача пахло лекарствами и табаком. Цыганок старался дышать как можно глубже. «Хоть бы там внутри что-нибудь захрипело», — тревожился он, поворачиваясь к Дроздову то грудью, то спиной и все думая, как ему выпутаться из этой истории.

— На что жалуетесь? — Врач отошел к столу и надел очки, будто стараясь лучше рассмотреть солдата.

— На прострел в спине, — не сказал, а пропищал Цыганок.

— Сколько вам лет?

— Двадцать три исполнится в январе.

— Отец, мать болели?.. Есть у вас родственники в возрасте свыше ста лет?

Цыганок насторожился. «О предках спрашивает, — немного осмелел он, — может, наследственную хворобу нашел?» Цыганок готов был идти на все, лишь бы как-то оправдаться перед старшиной, лишь бы не попасть

в стенгазету. Отца и матери у него не было в живых. Пока врач, ожидая ответа, склонил лохматую голову и что-то читал в книге, перед мысленным взором Цыганка возникла картина, которую он часто вспоминал, но почти никому не рассказывал о ней.

...Перепаханное глубокими воронками поле. Над степью висит черный смрадный дым. За руку Костю держит мать. За ее спиной огромный рюкзак с вещами. Она идет и идет, молча, тяжело, как и вся цепочка людей, бредущих из подожженной фашистами деревни. В небе появляется новая волна самолетов. Люди бегут в разные стороны, что-то со свистом летит на землю, вокруг снопы огня. Мать мечется, подхватывает Костю под мышки и падает, сраженная осколком.

После бомбежки Костю подобрал незнакомый бородатый мужчина, сунул в руки большое румяное яблоко, сквозь щербатый рот процедил: «Конец иродам пришел». Костя сидел в повозке на охапке соломы, пахнувшей спелым овсом, и ничего не понимал... Над степью еще висела черная, с голубоватыми прожилками кисея дыма, но уже не было той живой, колышущейся на ходу людской цепочки. Цыганок смотрел на спину старика, а видел лицо матери с темными глазами и родинкой на щеке, которую не раз целовал, когда мать брала его на руки. «Ты чей будешь-то? — спросил бородатый уже во дворе, распрягая лошадей. — Не знаешь. Ну, что ж, к лучшему, отныне будешь ты носить мою фамилию... Цыганок. Цыганок твоя фамилия, понял?» Когда пришли в село советские войска, бородатый куда-то сбежал, а Костю увезли в степной город, определили в детский дом под фамилией Цыганок...

Шестнадцати лет он уехал в Одессу, посмотреть море. Он много читал о морях и полагал, что Одесса — город «морских волков», людей сильных и приветливых. Цыганок попал к грузчикам порта, которые устроили его в свой Дворец культуры писать афиши. Здесь он подружился с рыжей девочкой-подростком Тоней, дочерью механика порта. Она научила его плавать, не бояться штормовых волн. Он называл ее Рыженькой Щучкой, на что Тоня не обижалась. Называл за то, что она как-то, когда еще Цыганок как следует не мог плавать, незаметно в море проколола резиновый круг, чтобы потом помочь ему выплыть. Тоня и ее отец, крижистый и молчаливый дядя Вася, провожали Цыганка в армию... Потом они обменялись письмами. Тоня подписалась «Твой друг Рыженькая Щучка». А теперь она уже ставит иную подпись — Антонина...

Дроздов захлопнул книгу:

— Что же вы молчите?

— Бабушка, кажись, страдала падучей болезнью... Но она прожила сто пять лет, — начал врать Цыганок в надежде провести врача, задавшего ему странные вопросы. Врач, подумав о чем-то, улыбнулся, и сразу его лицо сделалось добрым и приятным. «Медики, они — люди! — шевельнулась радостная мысль в голове Цыганка. — Напрасно волновался».

Врач пощупал заостренные плечи Цыганка, ткнул пальцем в мускулы рук и вновь выслушал сердце.

— Присядайте, — повелительно сказал Дроздов.

— Как, товарищ доктор, у меня же спина...

— Ничего, ничего... Двадцать раз. Выполняйте.

Цыганок не сразу присел на корточки и тут же вскочил, хватаясь за спину:

— Стреляет, доктор, кажись, простыл или надорвался — вчера окопы рыл. Старшина у нас требовательный, так он меня малость прижал. Я тебе, говорит, покажу, как сушится порох. Ну и показал, всю ночь ныла спина...

— Присядайте, от этого не умирают. Давайте, давайте, спорт удлиняет жизнь человеку, у вас хорошая наследственность: бабушка сто пять лет прожила. Кстати, вы не можете о ней некоторые подробности рассказать: много ли она ходила, чем питалась — не помните?

— Как же, все помню, — без запинки выпалил Цыганок. — Помню, товарищ капитан медицинской службы, как она бегала по деревне, только пятки сверкали, никто не мог догнать... Бегала она шибче... козы. — Цыганок кашлянул в кулак. «Козу-то я напрасно приплел, не поверит», — поколебался он, но отступать уже не мог. — Однажды, я это хорошо помню, нужно было поймать телку-двухлетку: выскочила из сарая, хвост трубой и понеслась в поле. Жара стояла, пора, когда свирепствует овод. Это такой жучок, вроде пчелы...

— Слышал, вредный жучок, — вставил Дроздов с оттенком иронии.

Цыганок пропустил это мимо ушей, словоохотливо продолжал:

— Жало у него острое-острое, как иголка. Пеструшка молнией мчится, а он дз-зы, дз-зы — жалит и жалит... Бабушка спасла телку... И еще помню такой случай, как моя бабушка за один присест буханку хлеба съела и горшок молока начисто выпила. Вот когда же это было? — перешел на шепот Цыганок, уперев взгляд в потолок, словно собирался с мыслями. Но в голову ничего подходящего не приходило. Врач молчал. Молчал и Цыганок, покусывая чуть припухлые мальчишеские губы.

Дроздов сразу понял хитрость солдата, но ему хотелось поговорить с ним, узнать что-нибудь новое для себя. В его записной книжке

уже имелись адреса и фамилии родственников многих военных, некоторым из них он послал письма с просьбой подробно описать, что им помогло прожить долгую жизнь. Успел познакомиться и с местным знаменитым стариком — двадцатилетним Никодимом Афанасьевичем, кряжистым и еще бодрым.

Когда врач после того, как побывал в батареях, поговорил с офицерами, доложил командиру полка свое впечатление о физической подготовке артиллеристов, Водолазов сказал: «Наконец-то мы получили настоящего врача. Правильно прицелились, одобряю, Владимир Иванович». Это хорошо: командир полка оказывает ему поддержку. Да, он прибыл сюда не лечить, а предупреждать болезни, лечат в госпиталях, в больницах, здесь предупреждают, — значит, борются за долголетие человека. Вот стоит перед ним этот юноша, а уже жалуется на прострел в спине... Нет, Цыганку он не даст освобождение от службы, такому требуется физическая нагрузка, у хитрюги удивительно крепкое сердце...

Цыганок терпеть не мог молчаливых людей, и ему уже невольно было смотреть на врача, стоявшего в задумчивости, будто колдун какой.

— Сколько раз приседать? — спросил Цыганок, окончательно поняв: освобождение от этого лохматого, со злым лицом доктора он не получит.

Дроздов, взглянув на часы, кивнул головой:

— Двадцать раз.

— А не много, доктор?

— Выполняйте.

Сделав десять приседаний, Цыганок остановился: «Достаточно, иначе все пропало», — вновь решил схитрить он.

— Устали? — Дроздов подошел к нему вплотную.

— Шибает в спину, будто током, от шеи до ягодиц.

Дроздов сосчитал пульс: он был ровный и четкий. Провел, слегка нажимая, рукой по спине. Цыганок подпрыгнул, весь изгибаясь.

— Щекотно, доктор, — оскалил солдат белозубый рот.

— Еще двадцать раз...

— Вот это влип, — прошептал Цыганок. Теперь уж было все равно, хитрость не удалась, и он решил приседать, пока его не остановят.

— Я этой присядки не боюсь! — кричал он. — Могу хоть сто раз!.. Пожалуйста, вот: тридцать один, тридцать два... Санька разрисует... Тридцать пять, тридцать шесть... Страдать так страдать... Сорок один... «Губу» себе обеспечил... Сорок четыре...

— Достаточно, — приказал Дроздов. Измерив пульс и кровяное давление, он неожиданно для солдата рассмеялся: — Гауптвахту, го-

ворите, заработали? Нет, на этот раз вам повезло.

Дроздов что-то записал в блокнот. Потом, облокотившись на кушетку, долго смотрел на дверь. Лицо его преобразилось: глаза померкли, а продольная морщинка стала еще глубже. «Неужели даст освобождение», — шевельнулась радостная мысль у Цыганка.

— Глыба! — воскликнул Дроздов, хлопая себя по колену. — Вы — глыба. Поняли?

— Я? — фистулой отозвался Цыганок, невольно оглядывая себя и думая: какая уж там глыба.

— Да, да, вы, товарищ Цыганок. Знаете, у вас железное сердце. Хотите стать спринтером?

— А что это такое?

— Хотите быть чемпионом Советского Союза по бегу на короткие дистанции? — Дроздов открыл ящик в столе, достал листок бумаги. — Вот вам рецепт, точно выполняйте, и вы будете чемпионом Советского Союза, а главное — проживете больше, чем ваша бабушка. Берите, тут все сказано, что и как вы должны делать. И в другой раз не врите. Я же видел в окно, как вы, идя сюда, прыгали вот там, на дорожке. Договорились? Идите.

Цыганок, схватив лежащую на кушетке рубашку, выскочил в коридор и, не задерживаясь, скатился по ступенькам крыльца в скверик. Здесь он оделся, потуже затянул ремень, прикрикнул на себя:

— Ну, чемпион Советского Союза, что ты теперь скажешь? У-у, несчастный спринтер! — Хлопнул каляжкой и побрел в казарму.

Едва он переступил порог, как перед ним вырос Рыбалко. Цыганок остановился в нерешительности. Старшина взял его под руку, повел к койке:

— Звонил сейчас капитан медицинской службы. Ничего, говорит, серьезного нет, пусть полежит часок-другой — пройдет... Раздевайтесь, а тот рецепт, который написал вам врач, покажите мне вечером. Отдыхайте. — Рыбалко хлопнул его по плечу и заспешил по своим делам.

Цыганок облегченно вздохнул:

— Кажись, пронесло.

На второй день, после завтрака, когда Цыганок, весело переговариваясь с ефрейтором Околицыным, просматривал свои жиденские записки по топографии — этот предмет он считал для себя наилегчайшим и поэтому конспекта почти не вел, — дежурный по казарме сержант Петрищев выкрикнул:

— Рядовой Цыганок, в канцелярию командира батареи!

Он знал, что к командиру солдат вызывают неспроста. Его смуглое лицо сразу погрустнело, а в груди что-то оборвалось, как при внезапном

падении, и он, положив тетрадь в тумбочку, шепнул Околицыну:

— Не знаешь зачем?

Ефрейтор для чего-то потрогал на своей груди многочисленные значки и промолвил:

— Откуда мне знать? Иди, не задерживайся.

Цыганок расправил складки под ремнем и неуверенным шагом направился к командиру батареи. Солдаты сопровождали его недобрыми, насмешливыми взглядами, а Волошин даже хихикнул в кулак, отчего Цыганок весь передернулся: «Пашенька, и ты смеешься?» Он понял, что его попытка получить у врача освобождение от службы известна многим, старшина, который так трогательно укладывал его в постель, разнюхал все и доложил кому следует...

В канцелярии находились майор Бородин, командир дивизиона подполковник Проценко, с виду похожий на штангиста тяжелого веса, капитан Савчук и старшина Рыбалко, стоявший у окошка со списком личного состава батареи, — Цыганок это заметил сразу и мгновенно подумал: «Отчислять, что ли, собрались?» Он шагнул к Проценко и лихо доложил:

— Рядовой Цыганок, замковый первого орудия, прибыл по вашему вызову!

Савчук спросил:

— Вчера в санчасти был?

— Так точно, товарищ капитан, был.

— Вы что, больны?

Командир дивизиона приблизился к Цыганку, сразу заслонила его своей могучей фигурой от всех, находящихся в канцелярии. Цыганку даже стало немного страшновато, но он нашел в себе силы с прежней беспечностью ответить:

— Почудилось мне, товарищ подполковник, будто бы палат мне в спину из ружья...

— А на самом деле что произошло?

— Полная ошибка. Когда пришел к врачу, выстрелы прекратились, никаких болей, как рукой сняло, полное выздоровление.

Бородину стало смешно, но он, подавив улыбку, сказал Савчуку:

— Он часто у вас так ошибается или это первый раз?

Капитан взглянул на Рыбалку. Проценко тяжело опустился на стул, и Цыганок увидел, как у старшины дрогнули усы.

— Я его на прицеле держу, — выпалил Рыбалко. — Солдат с хитринкой.

Проценко нетерпеливо бросил:

— Вам что, товарищ Цыганок, тяжело служить в огневом взводе? — И, не дожидаясь ответа, загорячился: — Вы понимаете, вчерашним своим поступком вы обманули не только врача, но и весь коллектив батареи. Такое солдату не прощается.

У Цыганка замерло сердце.

— Чуток я виноват. Думал: ну какой урон полк понесет, если я денек-другой пропущу занятия... В этом я чуток виноват, а насчет обмана — не согласен, и в мыслях такого не было...

Бородин с упрёком посмотрел на Рыбалко. Он уважал старшину за его трудолюбие и непоседливость в службе, но как же он мог не рассмотреть, не понять слабину в этом солдате? Полк не понесет урона... Какая наивность!

Бородин вышел на середину комнаты, широко поднял руки.

— Есть в авиации метод достижения цели. Он называется звездным налетом. Это когда самолеты идут с разных сторон к одному объекту, бьют в одну точку. Наша цель, цель военных людей — солдат, сержантов, командиров, политработников, всех, кто служит в армии, — это боевая готовность войск, полка, вашей батареи. В эту точку мы и направляем все наши усилия. То есть, проще говоря, каждый из нас честно выполняет определенные обязанности... И вот если вы, товарищ Цыганок, чуток — я подчеркиваю, чуток — отклонитесь от своего направления, то не придете к заданной цели и другим изрядно помешаете. Таковы законы звездного похода. Теперь понимаете, что стбит и вам и всем нам ваш «чуток»? А чуток — как его измерить: он может равняться к метру, и километру, и десяткам километров... Нет, чуток в звездном походе недопустим! — Последние слова Бородин адресовал не столько притихшему Цыганку, сколько членам партийного бюро Рыбалко и Савчуку, которые так и поняли партийного секретаря, потому что и тот и другой невольно переглянулись: мол, попало и нам.

Когда Цыганок вышел из канцелярии, он встретил у двери Околицына. Ефрейтор держал в руках рулон ватмана и старался как-то обойти Цыганка. Но тот догадался, почему агитатор спешит в ленинскую комнату.

— Саня, покажи. Мне сейчас очень необходимо посмотреть на свою рожу.

Околицын развернул рулон. Цыганок долго всматривался в карикатуру, почесывая затылок.

— Теперь я вижу, как выглядит в натуре «сачок». Здорово ты меня, а?... — Он вдруг спохватился: — Ты знаешь, агитатор, что такое «чуток» и чему он равен? Нет? А я знаю: «чуток» равен двум нарядам вне очереди. Уважил капитан Савчук, это, говорит, на первый раз. Теперь подышать буду, а к медикам не пойду. Хватит, полечился...

## XI

Моросил дождь. Было серо, и от этого казалось, что все кругом лежит под мутным стеклянным колпаком. Орудийные расчеты занимались отработкой команд «К бою» и «Отбой».

Голоса сержантов звучали звонко, как выстрелы в тишине.

Любил эту «музыку» лейтенант Игорь Шахов, она бодрила его, поднимала настроение, заставляла забывать обо всем, что не было связано вот с этими людьми в серых шинелях, работающими у орудий. Он видел: одни из них действуют четко, легко и красиво, другие — неловко, неуклюже, только начинают привыкать. Но пройдет время, и новичков трудно будет отличить с первого взгляда от старослужащих артиллеристов. А сейчас... Сейчас Шахов видит даже малейшую неточность первогодков. Вон снарядный Волошин. До чего же неповоротлив, робок, словно что-то сдерживает солдата. Но этот тихий парень в то же время и радуется Шахова: все уже знают — поручи ему что-либо по хозяйственным делам, тут он в старании всех превзойдет... Замковый Цыганок, после того как старшина Рыбалко «попробовал его на зуб» — этот случай теперь известен всей батарее, — вроде бы стал прилежнее, но бесенок крепко сидит в нем: иногда такое колечко выбросит, что сразу-то и не разберешься.

— С передка развести станины! — Это голос сержанта Петрищева, командира первого орудия и группкомсорга взвода.

Петрищев третий год служит в полку. Шахов знает мечту сержанта — сделать расчет орудия комсомольским, подготовить себе замену. Что касается замены, то это уже осуществимо: ефрейтор Околицын может стать хорошим командиром орудия, он лучший в полку наводчик. Но вот Волошин и Цыганок... Им еще далеко до того, чтобы вступать в комсомол, с ними придется повозиться.

Солдаты бросились выполнять команду. Шахов нажал на кнопку секундомера: на операцию артиллеристы затратили времени больше, чем положено по нормативу. Это покорило лейтенанта, но он промолчал, наблюдая за последующими действиями расчета. Когда орудие было приведено из походного положения в боевое, сержант Петрищев кинул взгляд в сторону Шахова, ожидая, что скажет старший офицер батареи.

— Повторите, — негромко, но вполне ясно произнес Шахов. Лейтенант видел, с каким напряжением люди разводили станины, теряя драгоценные секунды, и невольно вспомнил о рационализаторском предложении Рыбалко. Как-то, зайдя в артмастерские, Шахов застал там старшину батареи. Рыбалко возился у верстака. Он поделился с лейтенантом заветной думкой — построить катки под станины.

Шахов подошел ко второму орудью, увидел ту же картину: солдаты четных номеров с трудом разводили тяжелые станины. «А если бы катки...» — думал Шахов, пытаясь представить, каким должно быть такое приспособле-

ние. Он видел эскизы, сделанные на ватмане старшиной. Конечно, Рыбалко надо помочь, с расчетами и чертежами ему не справиться, а без этого заводить разговор с командиром полка о катках преждевременно: одной идеей Водолазова не убедишь. Шахов начал прикидывать, что потребуется для создания катков. Расчеты и рабочие чертежи он возьмет на себя, потом вместе с Рыбалко они пойдут к помощнику командира полка по технической части — он возглавляет полковых рационализаторов, — тот непременно сначала посоветуется с подполковником Крабовым. Если заместитель строевой даст «добро», тогда и полковник Водолазов согласится. Шахов размечтался так, что не заметил, как подошел к нему лейтенант Узлов. Дождь уже перестал, но серое небо было низко, чуть не задевало верхушки деревьев.

Узлов сбросил башлык, открыл портсигар:

— Старшой, закури. О чем мечтаешь?

Узлов годом позже окончил артучилище и относился к Шахову еще по-курсантски. В училище они дружили, были инициаторами создания кружка математиков. В полку, временно попав в подчинение Шахову, он не очень-то признавал старшинство друга. Когда Шахов начинал проявлять требовательность, Узлов отделялся шутками: «Игорек, я же твой дублер. У меня, по существу, нет никаких обязанностей. С меня спрос, как с пристяжного. А коренным мне теперь уже не бывать. Обстановка не та, потянуло на гражданку». О поданном рапорте Шахов узнал только вчера, на совещании офицерского состава полка. Шахову еще не верилось, что Узлов, тот Узлов, который в училище на «отлично» сдал годовые экзамены и до самозабвения увлекся работой с артиллерийскими приборами, мог написать рапорт об увольнении в запас...

Сержант Петрищев подал новую команду. Расчет начал приводить орудие в походное положение. Номерные с трудом (сказывалась еще ненадтренированность солдат) сдвинули тяжелые станины.

— Видишь, как медленно работают, — заметил Шахов.

Узлов чиркнул спичкой. Прикурив, он разгладил согнутым большим пальцем реденькие топорщившиеся усики.

— Так было и будет.

— А если под станины катки поставить?

— Опять рацпредложение! — Узлов покачал головой. — Не выйдет. Ситуация не та. Эпоха ствольной артиллерии пришла к своему закату, Игорек. Надо это понимать. Подполковник Крабов далеко смотрит. Раскритиковал он твое предложение умненько. А ты о катках мечтаешь. Кому они теперь нужны?

Шахов хотел было возразить Узлову, но тут крикнул Цыганок:

— Полундра, на горизонте зампострой!

На противоположной стороне учебного поля возле машины стоял подполковник Крабов с биноклем, полевой сумкой и противогазом. Шахов, с минуту помедлив, подобрал полы плащ-накидки и побежал через набухшую от дождя луговину.

Когда Шахов доложил о ходе занятий, Крабов, прикуривая от зажигалки, заметил ему:

— В ваших годах, лейтенант, я не раздумывал: докладывать старшему начальнику или нет. — Он вынул из футляра бинокль и начал разглядывать суесящиеся там и сям орудийные расчеты. Отовсюду слышались команды:

— К бою!

— Отбой!

— Ствол назад!

Шахов искоса смотрел на Крабова: маленького роста, необыкновенно прямой, словно схваченный спереди и сзади негнушимися металлическими пластинами, он стоял, вслушиваясь в голоса сержантов. Артиллеристы старались вовсю. Командиры орудий, номерные работали четко и слаженно. Даже Цыганок выполнял свои обязанности без задержек. Но, видимо, он перестарался. Шахов вдруг увидел, как Цыганок, пытаясь помочь рядовому Волошину, споткнулся и упал. Вскочил, быстро занял свое место.

— Устойчивости нет, работать с ним надо больше. — Глаза подполковника сделались колючими, словно не они минуту назад были наполнены трогательным блеском.

— Окрепнет, товарищ подполковник, — сказал Шахов, немного волнуясь за солдата.

— Отличные слова, лейтенант. Вера в подчиненного — великое дело. — Крабов положил бинокль в футляр. Взгляд его просветлел. — Слышали: полковник Водолазов уходит в запас?... О чем-то я хотел сказать?... Да, да, вот о чем, лейтенант. Помните, на собраниях вы говорили о поражении цели без захвата ее в «вилку»?.. Расскажите коротко...

Шахову не хотелось вспоминать о том собрании, не хотелось потому, что не кто иной, как сам Крабов раскритиковал его предложение, а теперь как будто что-то изменилось...

Подполковник ждал ответа, поглядывая то на машину — видимо, он куда-то торопился, — то на солдат, работающих у орудий, — наверное, ему нравилось, что его присутствие так оживило занятие.

— Товарищ подполковник, извините, но я уже забыл, давно это было.

— Вспомните. В полк поступили новые приборы. И мне кажется, теперь ваши предложения вполне своевременны. — Крабов с силой раздавил каблук сапога брошенный окурок. — Так как же?



— Надо подумать, товарищ подполковник...  
— Думайте и завтра же к двадцати ноль-ноль доложите мне. Ясно? — Он сел в машину и укатил в городок.

Шахов подал команду сделать перерыв, сел на лафет, поджидая лейтенанта Узлова, который, сбросив плащ-накидку, что-то рассказывал солдатам второго орудия.

Цыганок счищал с сапог грязь, насвистывая мотив веселой песенки.

— Костя, ты кем на гражданке работал? — поинтересовался ефрейтор Околицын.

— Афиши рисовал в клубе. Еще какие вопросы будут? Интересуешься как агитатор? Ты, Саня, лучше спроси об этом Волошина: он не курит, не пьет и до девушек носа не сует — человек-загадка. Пашка, у тебя язык есть? — Цыганок наклонился к Волошину. — Покажи язык.

Тот с упреком бросил:

— Уж помолчал бы!..

Цыганок захохотал:

— Ребята, да он прекрасный оратор. Цицерон! А ну еще скажи что-нибудь.

— Баламут, — отмахнулся Волошин.

— Критикуешь? — не отставал Цыганок. — Давай, давай критикуй... Санька, почему вы его в комсомол не примете? Достоин!

— А что, вполне возможно, — сказал Околицын. — Произведем отстрел учебных задач, покажет себя хорошо — и пожалуйста к нам, в Ленинский Союз Молодежи, Примем, товарищ сержант?

— Примем. И Цыганка подтянем, — ответил Петрищев.

— Меня нельзя, товарищ сержант, подтянуть: скользкий, вырываюсь, — засмеялся Цыганок.

— Ничего, это ты в хоззведе вырывался... У нас не то. Подсушим — будешь, как порох... Шлепнулся-то как, и не стыдно? Лейтенанта позоришь.

Цыганок вскрикнул:

— Узлова?! Ему наплевать! Он же уходит из армии. Писарь сказал мне... бежит.

Шахова бросило в жар, будто это о нем сказали. Он безотчетно вскочил, охватил взглядом учебное поле и рубанул рукой воздух:

— Приступить к занятиям! — И тут же подал команду: — К бою!

Номерные заняли свои места.

— К бою! — повторил Петрищев.

Околицын мгновенно снял чехол с прицела, сунул его в руки Цыганку. Тот расчехлил гайку штока, бросил чехлы на землю с левой стороны орудия, но тут же исправил свою ошибку.

— Ствол вперед!

— Ствол вперед! — повторил Петрищев.

— С передка... развести станины!

— Отбой!

— Отбой!

— К бою! — через минуту повторил Шахов, следя за каждым движением Цыганка.

Лязг механизмов, немного торопливые, но размеренные, осмысленные действия солдат постепенно вновь вернули его в прежнее состояние, и он уже не думал о том, что Цыганка надо держать да держать, а, любуясь, следил цепкими глазами, кто и как выполняет команды, отмечая про себя наиболее старательных и прилежных солдат и сержантов.

Когда закончились занятия, Шахов подошел к Цыганку, не удержался, похлопал его по плечу:

— Вот так сушится порох. Старайтесь, не боги горшки обжигают.

У Цыганка были мокрые волосы, лицо. Но он не показывал вида, что устал, чему-то улыбался.

## XII

«Писать или не писать?» — раздумывал Шахов, подходя к офицерскому общежитию. Ему ничего не стоило вспомнить все, что он говорил на собрании, да и вспоминать не надо было — те мысли и по сей день не выходят из головы. Теперь интересовало другое: почему заместитель командира полка по строевой части так переменял свое мнение? Новые приказы поступили? Едва ли это приказы, что-то другое, даже артмастер Политико не знает, что находится в ящиках, опечатанных гербовыми печатями и круглосуточно охраняемых часовыми. Но, собственно, что ему, Шахову, до того — поступили артприказы или нет? Важно другое — Крабов изменил свое мнение, и это уже хорошо; значит, надо подробно изложить, обосновать и завтра представить подполковнику.

У подъезда горел свет. Дул зябкий ветер, покачивая лампочку; пролетали снежинки, бесследно падая в темноту. Шахов легко взбежал по лестнице, открыл дверь и сразу увидел Узлова. Он сидел за столом и что-то писал: плечи приподняты, рыжая шевелюра взлохмачена. «Неужели успел где-то хлебнуть?» — мелькнула тревожная мысль у Шахова. Узлов иногда втайне от других выпивал, и друг его знал об этом: Узлов ничего не скрывал от него. Шахов пробовал вразумить товарища, но тот отмахивался. «Для мужчины сто грамм — что дробинка для слона. Стоит ли говорить. Потихоньку все пьют, даже старухи», — оправдывался Узлов и всегда при этом старался заговорить о другом.

— Дмитрий, есть важная новость. — Шахову не терпелось рассказать о разговоре с Крабовым, а потом припереть Узлова к стенке: у него уже не было сомнения, что тот наведался.

— Погоди минутку, поймаю рифму...

— Ну-ну, лови, да поскорей. — Шахов сел на диван, взял газету. С первой полосы смотрел пареня в офицерском кителе без погон. Под фотографией подпись: «Лейтенант запаса Илья Розов. У него хорошее настроение: он зачислен студентом МГУ».

— Нашел! — вскрикнул Узлов, гремя стулом. — Первая строфа есть. Послушай, Игорьек. — Узлов прошелся по комнате (он и в училище так поступал, прежде чем прочитать свои стихи), остановился у стола с поднятой рукой, начал:

Старик полковник нас заметил:  
Уходя в отставку,  
Гауптвахтой благословил.

— Это о ком? — поинтересовался Шахов.

— О Водолазове. Вчера припугнул меня взысканием.

— За что?

— И выпил-то я, Игорьь, вот столечко, самую малость, а он на сто метров учуял запах, в кабинет меня — да на коверчик. Стружку снимал до тех пор, пока плохо с ним не стало. Пришлось отпаивать. Одной ногой в отставке, а, поди же, шебаршит.

— Водку пил? — удивился Шахов. — Знаю тебя четыре года и никак не пойму: почему ты начал пить?

— Не догадываешься?

— Нет.

— Уволиться хочу из армии... А трезвых людей не выгоняют. Ты думаешь, если я написал рапорт, сейчас же и резолюция: «Удовлетворить просьбу?» Нет, Игорьь, заставят служить. А годы идут. Лет через десять в армии останутся одни ракетчики. Нас с тобой в эти войска не возьмут. Значит, уволят. А какая у нас специальность? Кому мы нужны в мирном хозяйстве? Разве на бахчи сторожами, стрелять из пушек по грачам. А если сейчас уйти, возраст такой, что можно в любой институт поступить, инженером стать, тогда и пенсии никакой не нужно. Вот почему я пью.

— Смотрю я на тебя, Дмитрий, сейчас, а чувство у меня такое, будто я кому-то должен... Ты когда-нибудь брал в долг деньги?

— Брал... у тебя.

— Нет, это не то... деньги не то, — скороговоркой поправился Шахов. — Обещание, честное слово — вот это то. Как-то раз, еще до поступления в военное училище, я дал честное слово своему школьному товарищу. А слово это было такое. Сдавали мы экзамен за седьмой класс. Перед этим попросил меня товарищ вместе готовить математику. Туго она ему давалась. Я обещал: хорошо, будем вместе готовиться к экзаменам. И вот я оказался в восьмом классе, а он остался на второй год. И ты знаешь, как я мучился! Посмотрю ему в гла-

за — в них горький упрек: «Это ты виноват, ты, ты!..» Как же я мог допустить, чтобы ты вот так опустился! Рапорт подал и мыслишь, как дряхлый старик... Да-а, был лейтенант Узлов и вдруг нет его, запасником стал в двадцать три года. И говорить-то с тобой неохота. — Шахов достал из тумбочки бумагу, подвинул к столу табурет. — Не мешай, мне надо работать...

Но Узлов не унимался:

— Что я из себя представляю?.. Таких, как я, лейтенантов и обер-лейтенантов, тысячи! Я для армии — единица, Игорьь...

— Но ведь без единицы, какой бы маленькой она ни была, нет числа вообще, — возразил Шахов.

— Знаю, знаю и про ноль знаю. Арифметику изучал, — сказал Узлов и начал одеваться. — Хочешь со мной в клуб строителей, там сегодня выступают московские артисты?

— Нет, и тебе не советую.

— Почему?

— Коньяком от тебя несет, противно.

— Пожалуй, ты прав, — в нерешительности остановился Узлов. — Не знаешь, чем можно уничтожить этот противный запах?

— Не пить — и никакого запаха не будет... Стой, Дима, садись! Запрещаю выходить на улицу. Хватит, ты сейчас много наговорил глупостей, я слушал, теперь ты выслушай меня.

— Приказываешь?

— Приказываю...

— Права старшего офицера на батарею используешь?

— Да.

— Ну давай, слушаю, Игорьь Петрович. Подчиняюсь, товарищ будущий старший лейтенант. — Узлов разделся и, схватив газету, ткнул пальцем в снимок. — Видишь, как лейтенант Илья Розов улыбается — в университет поступил, погоны снял... Ему, значит, можно, а мне нельзя.

«Что ж я ему могу сказать? Что?» Нет, Шахов не чувствовал себя слабым перед Узловым: он хорошо знал жизнь и увлечения Дмитрия, два года они дружили в училище, один раз вместе провели отпуск в Москве, у дяди Узлова. Поэт Заречный (такой фамилией подписывал свои стихи Федор Семенович) принял их хорошо, много рассказывал о своих встречах с читателями, о поездках за границу. Жена Федора Семеновича, тетя Нелли, пухленькая и румяная хохотушка лет тридцати восьми, не уступала мужу — она непрерывно болтала о каких-то не совсем понятных для курсантов литературных спорах, о назревавшем конфликте между старым поколением писателей и молодым, высказывала свое убеждение в том, что модная литературная молодежь слишком криклива и архисмела, что она когда-

нибудь даст подножку старичкам, не в меру поощряющим суету желторотых талантов. Но говорила она об этом без видимой серьезности, вроде бы шутя. Пятидесятилетний Федор Семенович, похоже очень любивший свою жену, улыбаясь, крутил головой: «Пустяки, Нелли, все идет как следует».

Отпуск быстро пролетел. На прощанье Заречный угостил их французским коньяком. Они сидели за большим круглым столом. Поэт спешил в очередную творческую поездку, — кажется, во Францию. Беря ломтик лимона, он вдруг спросил Узлова: «Ты что же, Дмитрий, на всю жизнь решил остаться в армии?» Узлов пожал плечами: вопрос был для него и неожиданным и странным. Шахов знал, что, после того как погибли на фронте родители Узлова, дядя сам устроил Дмитрия в суворовское училище, затем именно по его же совету Узлов поступил в артиллерийское училище. Почему же такой вопрос?..

Узлов тогда промолчал. Только в училище, как-то получив письмо от дяди, он сказал Шахову: «Дядя нажимает, толкует одно и то же — приезжай, мечи перековывают на орала».

Вскоре Шахов уехал в часть, Узлов еще год учился. И вот теперь они вновь вместе. «Неужели он все же поддался этому Заречному?» Шахову до боли стало обидно за своего друга. Короткие биографии их почти ничем не отличались: у Шахова, как и у Дмитрия, родители тоже не вернулись с фронта, оставив ему лишь два коротеньких письма, присланных бабушке, из которых он знал, что отец командовал стрелковым батальоном, а мать была радисткой в том же подразделении. Шахов воспитывался в детском доме, затем в суворовском училище. Именно эта схожесть их, по существу, только что начавшейся жизни сблизила молодых людей в артучилище.

— Думается мне, Дмитрий, все, что ты сейчас сказал, — это не от души. Дядя мутит тебе мозги...

— Я не ребенок, у меня собственное мнение, — ответил Узлов, не отрываясь от газеты. — Мне двадцать три.

— Возраст еще не определяет зрелость человека, ребенком можно быть и в тридцать лет, — возразил Шахов. — Рапорт ты должен забрать. Советую тебе это как другу, как товарищу. Одумайся... пока не поздно. Ты же коммунист, понимаешь — коммунист! Разве партия приказывает тебе уходить из армии?

— Громкие фразы, Игорек. Я уже их слышал не раз...

— Не кощунствуй, Дмитрий! — крикнул Шахов. — Это не фразы, а жизнь, и ты это понимаешь, да только кривляешься. Впрочем, черт с тобой, иди, блукай по жизни. Но пока ты с погонами, изволь подчиняться законам

воинской службы до конца, до последнего дыхания. Можешь и это назвать громкой фразой, не удивлюсь. Таким людям, как ты, и законы воинской службы кажутся фразами, а не жизненной необходимостью.

— Я не подлец, — бросил Узлов, вскидывая взгляд на Шахова. В его глазах Шахов уловил растерянность, они как бы говорили: что же мне делать?

Игорь прошелся по комнате: ему не хотелось, чтобы Узлов сейчас понимал его как человека, поставленного над ним командовать, отдавать распоряжения. Нет, ему хотелось, чтобы тот воспринял его слова как слова друга, как совет товарища.

— Подполковник Крабов сегодня потребовал от меня, чтобы я письменно изложил свои мысли, которые я высказывал на собрании. Помнишь, о стрельбе без захвата цели в «вилку»?

— Он же твое предложение под корень рубанул.

— Видимо, понял свою ошибку. Беда, Дима, не в том, что человек ошибается, а в том, если этот человек не признает своей ошибки, упорствует.

— И ты будешь писать?

— Конечно, сегодня же.

Узлов потянулся за папиросами, но почему-то не закурил. Возле его тумбочки висел приколотый к стене график физических упражнений, составленный Дроздовым.

— Немного завидую тебе, Игорь. Ты, как наш врач-академик, убежденный до корней волос. Я бы на твоём месте Крабову ответил: покорно благодарю, товарищ подполковник, у меня на лице еще не прошли синяки от вашей критики, извините, все вылетело из головы. — Он смешно взмахнул руками и по-ребячьи поджал губы. — Впрочем, как знаешь... пиши, а мне пора идти на тренировку, так сказать, вкушать эликсир вечной молодости.

Узлов быстро надел спортивный костюм. В нем он выглядел завидным крепышом, плотным и стройным, только черные усики как-то не шли к его атлетической фигуре. Шахов тоже оделся, и они вышли на улицу вместе. Навстречу попался Цыганок. Солдат хотел было обойти офицеров стороной, но Шахов остановил его.

— Тренируетесь?

— Заработал я себе пиллюлю, товарищ лейтенант, теперь вот глотаю каждый вечер. У других сейчас время самостоятельной работы, письма пишут родным, конспекты составляют, а я ножками, ножками по плацу... И ничего не поделаешь, — вдруг перешел Цыганок на шепот, — следит академик-то, вон прогуливается, — показал он на Дроздова, стоявшего возле штабного домика. И, спросив разрешения, пулей помчался по тропке, огибающей хозяйственные постройки.

Потом они заметили в сторонке Водолазова. Полковник шел крупным шагом. Дойдя до парка, круто повернул, взмахнул раза два руками и, не останавливаясь, направился в глубь городка: похоже было, что и полковник выполнял советы старшего врача. Эту догадку высказал Узлов. Но Шахов промолчал. В окнах казармы светились огни. Подмораживало. В темноте слышались чьи-то частые шаги, и Шахов думал о Цыганке, ему приятно было сознавать, что этот солдат так ревностно глотает дроздовские «пиллюли» — старается...

Уже под конец тренировки к лейтенантам подошел Дроздов. Он посмотрел на светящийся циферблат наручных часов, похвалил за старание и, не задерживаясь, направился к проходной будке торопливой походкой, словно там, за каменной оградой военного городка, ждало его неотложное дело.

### XIII

Работа в клинике и обязанности старшего врача полка — совершенно разные вещи. Дроздов не сразу понял это. Он подсчитал количество пунктов, перечисленных в Уставе внутренней службы и входящих в круг его обязанностей. Их было огромное множество. Шутка ли! Старший врач отвечает: за боевую и мобилизационную готовность, боевую и политическую подготовку личного состава медицинской службы полка, осуществляет контроль за физической подготовкой личного состава полка... Режим питания, медико-санитарное состояние района расположения части, помещений, хозяйственных служб, банно-прачечное обслуживание солдат и сержантов... Казалось, не было в полку такого дела, таких мероприятий, где не требовалось бы его участие, внимание и усилие. Лишь спустя несколько месяцев Дроздов понял, что для него необходим строгий расчет личного и служебного времени, тогда и общее дело не будет страдать, и он сможет вести научные наблюдения, добывать данные для задуманной научной работы.

Раз в неделю он обходил подразделения полка, службы и пищеблоки. Это у Дроздова называлось хождением по большому кругу. Круг обычно замыкался в доме старика Никодима поздним вечером, когда учебные классы, полигоны, спортивный городок части становились безлюдными до следующего утра.

...Дроздов зашел в винтовочный полигон, когда там тренировались в стрельбе командиры взводов. Для него многое здесь было непонятным и недоступным — артиллерийские премудрости он только познавал.

Капитан Савчук подал ему табурет, приглашая посмотреть работу лейтенанта Узлова, ко-

торый, наклонившись к амбразуре, смотрел в бинокль. Командный пункт возвышался над местностью, и Дроздову хорошо было видно, что изображено там, в помещении, на огромном земляном полу. В бинокль он увидел холмики, овраги, дороги, рощицы, отдельные строения и целые поселки с ветряными мельницами и церквушками, траншеи, окопы. Все это было романтично и занимательно. Шла разведка целей. Время от времени из микрофона, стоявшего на столе, слышались доклады, и солдат-планшетист, сидевший неподвижно, как и лейтенант Узлов, громко повторял какие-то цифры, что-то записывал на планшете.

Прошел час, а Узлов все следил и следил за местностью. Наконец, когда Дроздову было уже невмоготу — у него начали неметь ноги, — Савчук распорядился по телефону поднять цель. Микрофон громко выговорил координаты. Дроздов увидел, как из-за холмика показался макетик танка. Сначала он полз медленно и был похож на черепаху...

— Дохлая скорость, — пробурчал Узлов. — Тут и старуха попадет в цель.

Но вскоре макетик рванулся с такой прытью, будто кто подстегнул его бичом. Он мчался не по прямой, а зигзагами. Савчук держал в руках секундомер. Узлов вдруг оживился и громко выкрикнул данные для огневики. Тотчас же их повторил радист. Грохнули выстрелы. Где и откуда стреляли, Дроздов не мог понять, но он отчетливо увидел, как черная черепаха, вздрогнув, свалилась возле дороги в кювет...

Савчук поднимал новые цели. Узлов едва успевал определять и передавать данные огневикам. Бой длился довольно долго. Дроздов уже не сидел, а стоя наблюдал за работой артиллеристов, пытаясь понять их физическую нагрузку. Савчук пояснял ему, где находятся огневики и что они сейчас делают.

— В поле посложнее, — говорил командир батареи. — Стрельба на винтовочном полигоне — это репетиция, основная тяжесть там...

Дроздов, как мог, пытался вообразить работу артиллеристов «там». Отрывка окопов для орудий — это перелопаченные тонны грунта; устройство капониров для машин — это тоже колоссальное напряжение; переноска снарядов, перемещение орудий на руках, работа с механизмами — труд, труд, не простой, осмысленный, ритмичный.

— Нынче такая техника, что без ловкости и натренированности солдат не в состоянии справиться со своими обязанностями. А в бою иногда решает секунда, — рассудительно продолжал Савчук. — Физическая закалка нам нужна вот так! — провел он ребром руки по горлу.

...Когда наступили сумерки, Дроздов отправился к Никодиму.

Домик, в котором жил старик, стоял на отлете одинокий, тихий, будто обидевшись на остальные, отскочил от них на почтительное расстояние и, остановившись, глубоко задумался: правильно ли сделал? Именно такие мысли возникли у Дроздова, когда он ступил на тропинку, ведущую к знакомой калитке.

Легкий стук, и дверцы, скрипя на петлях, провалились в темноту. Дроздов, согнувшись, протиснулся в квадратное отверстие и оказался во дворе. Кобель Серко неохотно зарычал на него, но, узнав частого гостя, тяжело вздохнул и снова погрузился в дремоту.

— Добрый вечер, — стараясь быть как можно веселее, сказал Дроздов, переступив порог.

— Здравствуй, здравствуй, сударь, — отозвался Никодим Афанасьевич.

Он поздоровался за руку и, освободив для Дроздова табурет, на котором лежала меховая куртка, начал набивать трубку. Узловатые пальцы уверенно держали щепоть табака. Широкое лицо старика было почти сплошь укрыто белой бородой. Маленькие, еще острые глаза светились из-под нависших бровей.

— Никодим Афанасьевич, — сказал Дроздов, — давно я хотел вас спросить, да все стеснялся...

— Ага! — качнул головой старик. — Стеснялся. Значит, честная душа у вас, Владимир Иванович. Честная. С кривой-то душой не совестятся. А чего ж ты меня хотел спросить, сударь?

— Я врач...

— Знаю, — поспешил сказать старик, не вынимая трубки изо рта.

— Если бы вы мне разрешили чаще бывать у вас, наблюдать...

— Опять про то, — зашевелился Никодим, будто сказочный гриб. — Я уже вам говорил, Владимир Иванович, ходить ходите хоть в день десять раз, но наблюдать за мной — возражаю: я не подопытный кобель. Об этом не надо, сударь, говорить. — Он с заметным усилием оторвал свое тело от стула. — Вот, сделай милость, уважь мне, старику, по маленькой со мной. Сегодня я много ходил по лесу, с устатку решил...

— Вы пьете?

— Выпиваю, немного, правда: стопку-две по большим праздникам да с устатку. А что, с докторской стороны это, выпивка-то, большой вред?

— Все зависит от человека, от организма. Я, например, не пью.

— Учено говоришь, — вздохнул Никодим, ставя на стол стопки. — Учено, — повторил он и выпил один, сразу преобразился, посвежев-

шим голосом продолжал: — Вот ты, Владимир Иванович, все интересуешься моей жизнью, и не столько жизнью, сколько моим организмом: хворал ли я, и сколько, физкультурой упражнялся ли, что и когда ел, много ли ходил, давно ли стал белым, похожим на апостола Павла... А скажи мне, сударь, для чего тебе это? Честно и прямо, без ученых слов скажи.

— Скажу, только прежде, Никодим Афанасьевич, ответьте на мой вопрос.

— Слушаю.

— Вы прожили сто двадцать лет, а скажите: умереть вам хочется?

— Чудак! — всплеснул руками старик. — Ну кто торопится с этим делом? Прямо скажу: уходить из-под солнца неохота, сударь. Мало жизни дано человеку, и ничего не поделаешь, ничего. Я те прямо скажу: ничего! — повторил Никодим.

— А если взбунтоваться, по-настоящему пойти против костлявой и поискать да найти?

— Что найти? Не теряй — не найдешь. Простой резон. Взбунтоваться! Ха! Против кого? Естества? Как же... Поди, не один бунтовал, а конец-то известный.

— А как же вы, Никодим Афанасьевич?

— Что я?

— Отец-то ваш жил семьдесят лет, а вы сто двадцать. Выходит, что нашли, побороли.

— Что нашел?

— Средство.

— Ты никому не верь, никакого у меня средства нет.

— Вы меня, Никодим Афанасьевич, не поняли. Я знаю, что...

Старик не дал договорить.

— Нет, нет, — запротестовал он, — ни в коем разе. — Он убрал посуду, качнул головой в сторону окна: — Горы видели? Нет там стезки-дорожки, по которой бы я не хаживал. Охотился, взбирался на такие кручи, что облака-то были под ногами. Потом лесорубом трудился, валил деревья в пять обхватов. Устатку не знал.

Дроздову хотелось подробнее знать, как протекала жизнь Никодима.

— А вот этого уже не помню, извини, сударь, не помню. Другой раз приходи, может быть, кое-что и вспомню.

...Возвращался Дроздов из Нагорного пешком, хотелось пометать наедине. Злила фраза Никодима: «Мало жизни дано человеку, и ничего не поделаешь, ничего». В голову пришли слова московского врача-экспериментатора Брюховенко: «Если в Арктике найдут труп Амундсена, ученый не посоветует с почестями предавать его земле на своей родине. Оставьте его там, среди вечных снегов и льда. Пройдет пятьдесят лет — и ученые, пришедшие нам на смену, оживят его».

«Это совсем другое: оживить человека — вовсе не означает продлить ему жизнь, — будто с кем-то споря, размышлял Дроздов. — Продлить, на сколько? На тридцать, сорок лет? Или, быть может, на вечность в нашем современном понимании? Однако стоит ли? Жить — значит умереть... Формула... И не потому ли так просто рассматривается процесс жизни человека? Жизнь — это не топтание на месте, а вечное развитие. Человек начинает свое существование в виде одной клетки. Он рождается младенцем. Пройдя через юность, мужает. За зрелым возрастом следует старость. И старость подготавливает конец, завершение индивидуального существования — смерть. Клетка, юность, зрелость, старость и конец... Как же просто, как привычно! Когда на людей обрушивается засуха, говорят: не было дождя, находятся средства борьбы с засухой. Когда в машине ломается деталь, говорят: металл не выдержал, и начинают искать новые, более прочные сплавы и находить их. Когда темень ночи мешает работать человеку, говорят: включите свет, и темнота рассеивается, отступает. А когда наступает зрелость, говорят: юность нельзя вернуть. Когда приходит старость, готовят гроб. Готовят покорно, смиренно, без возмущения. Что возмущаться: не ты первый и не ты последний. Новых «сплавов» не ищут. А перед теми, кто ищет, стоит китайская стена...»

Утром, придя на службу, Дроздов увидел на своем столе стопку конвертов. Письма были от долго живших стариков, с которыми он наладил связь уже из Нагорного. Одно письмо было из Академии медицинских наук, от известного в стране кардиолога профессора Априна. Дроздов лично знал этого ученого по Ленинграду. Уезжая в Нагорное, послал ему письмо, в котором просил ответить на ряд вопросов, в частности о влиянии горного воздуха на здоровье человека. Априн писал: «Обычно здоровье и долголетие жителей гор стремятся объяснить влиянием чистого горного воздуха, своеобразным питанием, в котором преобладают молочные продукты, здоровыми жизненными привычками. Все это отрицать нельзя. Однако же, по моему глубокому убеждению, главную роль здесь играет вынужденная постоянная тренировка сердца. В Кисловодске для лечения сердечных больных широко применяются так называемые терренкуры — восхождение на подъемы небольшой крутизны. Люди горных районов занимаются такими терренкурами всю жизнь — от рождения до глубокой старости... Имейте в виду, что XX век внес большие изменения в быт миллионов людей. Прежде всего сильно уменьшилась роль физического труда — и в жизни всего нашего общества, и в жизни каждого отдельного человека. Люди стали меньше ходить, меньше переносить тяжести на своих плечах. Поэтому,

поймите меня правильно, Владимир Иванович, в наш век, век механизации и автоматизации, физкультура должна быть названа корнем жизни, той средой, тем условием, которые омолаживают человека...»

Все письмо Дроздов не успел прочитать. Его вызвал Водолазов. В кабинете полковник был один.

— Шабаш, Владимир Иванович, — сказал он, как только Дроздов переступил порог. — Ухожу в запас. Назначен новый командир полка... подполковник Громов. Академию окончил. Вчера познакомились в штабе артиллерии. Молод, тридцать четыре года... Приказано готовиться к инспекторскому опросу. Знаете, что это такое? Нет? Прочитайте шестьдесят четвертую статью Устава внутренней службы, там все сказано. В общем, построят полк, весь личный состав, и начнут выявлять жалобы и заявления, записывать, а потом новому командиру придется исправлять недостатки... мои недостатки и упущения. Их, конечно, немало у нас. Прошу быть готовым к этой процедуре. — Говорил Водолазов тихо, и было заметно, что он волнуется. — Подробные указания получите в шестнадцать часов здесь, в штабе. Теперь... можете идти. Впрочем, постоит... Вот что скажите мне... Прошел я медицинскую комиссию, смотрели меня врачи и так и эдак, и лежа и стоя, признали годным для службы в военное время... в тыловых учреждениях. В тыловых! На передний край — ни шагу. А вы, вы как считаете? — Водолазов встал, ожидая ответа.

Дроздов был знаком с заключением и выводами окружной медицинской комиссии: и каких только болезней не нашли у Водолазова! Видимо, писали, полагая, что человеку такого возраста по штату положено иметь букет недугов. А возраст-то всего пятьдесят лет!

— Товарищ полковник, я вам советую считать себя вполне трудоспособным, — сказал Дроздов.

— А это? — ткнул себя в грудь Водолазов.

— Это? Самая стойкая деталь в человеческом организме. Сердце обладает замечательной способностью к адаптации — приспособлению к условиям внешней среды. Не давайте ему барствовать, иначе оно совсем разленится.

— Значит, ходить по кручам?

— Во всяком случае, не сидеть без дела, а самое главное, товарищ полковник, не считать себя больным. По моим наблюдениям, вы, товарищ полковник, человек с солидным запасом прочности.

— Спасибо... Гляжу я на вас, Владимир Иванович, и думаю: вы, дай вам волю, запретили бы всем болеть. — Полковник засмеялся, вышел из-за стола и подал Дроздову руку.

После небольших заморозков наступили теплые дни. С утра и до вечера грело солнце. Зазеленела на пригорках трава. В воздухе поплыли шелковистые нити паутины. По ночам они оседали на стерню, образуя густую легкую сеть. Утром эта сеть искрилась в лучах солнца и напоминала сизоватую наледь. К полудню наледь исчезла, и над степью опять плыли паутинки — странницы бабьего лета.

В поле днем и ночью гудели тракторы. Матвей Сидорович объезжал на своем «газике» бригады, торопил колхозников в срок завершить осенние работы. Спал Матвей Сидорович где попало, иногда в пути, в ложбинке, когда глох мотор: минут пять он возился, чтобы найти неисправность, потом, будто человека, упрекал в упрямстве старенький «газик» и залезал в кабину прикорнуть до утра в надежде, что на рассвете его заметят и помогут завести машину. Почему-то так и получалось. И он вновь тряся на потертом сиденье, гордясь, что научился управлять автомобилем.

Однажды Околицын спешил в тракторную бригаду. Перед этим он побывал в соседнем совхозе: набирался опыта зяблевой вспашки. Дорога проходила неподалеку от старой гребли, и, когда он поравнялся с чернеющей в вечерних сумерках насыпью, мотор вдруг «зачихал», и «газик», пробежав метров тридцать, остановился. На этот раз Матвей Сидорович даже и не вышел из машины: прошлую ночь он не спал, допоздна задержался в райкоме партии, а оттуда помчался прямо в поле — узнать, как идет ночная уборка хлебов...

Он положил отяжелевшую голову на «баранку», чтобы прикинуть в уме, что же случилось с мотором. Глаза его сразу сомкнулись, но он еще не спал. Дверца была открыта, слышался далекий-далекий, будто с того света, гул машин. Потом Околицын уловил голоса людей, тоже далекие и неразборчивые. Он напряг слух, но тут же почувствовал, что не сможет побороть сонливость. И он уснул бы, но в этот миг, когда в мозгу уже пронеслось: «Пусть будет так, утро вечера мудренее», на его плечо легла чья-то рука.

— Матвей Сидорович, это вы? Опять отказал мотор?

Околицын, не поднимая головы, открыл один глаз — увидел Лиду, а дальше — группу людей, удаляющихся от машины. Околицын скорее догадался, чем опознал, что высокий парень, то и дело оглядывающийся назад, Александр, его сын, и еще несколько военных. Он не удивился тому, что эти люди шли сооружать водохранилище для колхоза, не удивился потому, что уже осознал полезность начатого дела. Более того, под нажимом вот этой девчужки,

бог весть откуда прилетевшей в Сибирь (он точно не знал, из каких мест приехала Борзова, как-то в голову не приходило спросить ее об этом), Околицын выделил один трактор с навесными орудиями для строительства пруда, но сам тайком еще продолжал упрямяться и сомневаться: вода, конечно, богатство, но разве убережешь ее летом? Исушит солнце. «Эх, ребята, силушку потратите зря». И не раз он, особенно когда отступили заморозки, порывался поговорить с комсоргом, чтобы она призвала своих энтузиастов «засучить рукава для ночных работ в поле»: в прошлом году колхоз не успел убрать урожай, свыше тридцати гектаров пшеницы оказалось под снегом, Матвею Сидоровичу пришлось держать ответ на заседании бюро райкома партии. И он опасался, что и нынче может так случиться, хотя осень вроде бы не сулит ранней зимы. И все же пруд — это завтра, а полевые работы, они вот, под рукой, чуть ослабь силы — и получишь прошлогоднюю раскрутку от районного начальства...

Лида стояла молча. Матвей Сидорович смотрел на нее одним глазом, чувствуя, что сейчас то он обязательно поспорит с комсоргом, убедит, где главнейший фронт работы. И он сделал бы это, но заметил метрах в тридцати от машины мужчину. Присмотрелся. «Никак, полковник Водолазов?» — подумал Матвей Сидорович, ожидая, что Водолазов подойдет к нему. А тот, ускорив шаг, догнал уже смутно видневшиеся вдали фигурки людей.

— Полковник?! — удивился Околицын. — Неужто и он туда же?

Лида утвердительно качнула головой и, поправив платок, сказала:

— Я пошла, Матвей Сидорович.

— Постой, дочка, — он протер глаза. — Садись-ка сюда, — хлопнул Матвей Сидорович по сиденью.

Лида, поколебавшись, обошла машину, села в кабину.

— И Александр тут?

— Тут, Матвей Сидорович.

— Увольнительную, значит, получил?

— Получил.

— А он-то зачем?

— Кто?

— Полковник...

— А-а... Он из армии уходит. Чудной дядя! Говорит: вы, ребята, отличные хозяева, этот самый пруд озолотит ваш колхоз... А может быть, и не чудной, — помолчав, сказала Лида. — До армии он полеводом работал в каком-то колхозе, вот и тянет его в поле.

«Ишь ты, и про это знает». Околицын положил большие руки на руль. Он тоже знал, что Водолазов до службы в армии работал в колхозе. Но откуда эта заноза пронюхала, ей-то что до таких дел? Или он ошибается в этой девчужке?..

— Значит, уходит из армии. Это хорошо. А ты сама-то откуда будешь? — спросил он Лиду.

— Ой, Матвей Сидорович, разве не знаете? Я же говорила, помните, когда документы вам показывала? Вы тогда ругали бухгалтера. Он Дмитрию приписал лишние трудовые, а вы на него: «Какой ты министр финансов, коли не ценишь артельную копеечку!»

Матвей Сидорович напряг память. Да, да, именно так было. Она вошла с чемоданчиком, нарядная, подала документы, певуче сказала: «Назначили заведующей вашим колхозным медпунктом». — «Тю-ю, еще один дезертир прибыл в Сибирь», — только и мог тогда рассудить Матвей Сидорович. Он взял у Борзовой какие-то бумаги, повертел их в руках и передал счетоводу, продолжая отчитывать старшего бухгалтера. Потом... потом эта девушка выпустила коготки: «Детясли, телефон, тент... Буду жаловаться в райком партии!» Покоя не давала. Как клещ, вцепится — и не оторвешь ее...

— Не могу вспомнить — то ли из Ростова, то ли из Москвы, — признался Околицын, закуривая.

— Шутите, Матвей Сидорович! Я из Воронежской области, из Аненкова.

— Из Аненкова? Город это или село?

— Районный центр.

Околицын вздохнул:

— Ох, и чего же людям не сидится на месте!.. Ты мне скажи, дочка: откуда ты узнала про наши родники? Ведь они лет тридцать молчат, вода избрала другой путь.

— Да это все Санечка рассказал мне. Ты, говорит, секретарь комсомольской организации, мобилизуй молодежь, докажи, что ты не на вокзал приехала, а на постоянное местожительство.

— Неужто так и сказал?

— Так, Матвей Сидорович.

— Ну а ты сама, дочка, как смотришь: не воздвигаем ли мы воздушный замок?

— Водоохранилище?

— Да, это самое.

— Я читала, Матвей Сидорович...

«Ага, она читала! — поспешил Околицын заключить. — Ученая, значит. Почему же я не читал? Задания такого не было, на бюро райкома партии не спрашивали, вот и не читал... А нонче, кажется, не так... Не так!.. Простор тебе полный дан, хозяйствуй с умом и с пользой для народа своего... И-их, шестьдесят лет!.. Десять бы годов сбросить. Десять — целая эпоха, сто лет!»

Борзова говорила вдохновенно:

— Воду собрать каждый колхоз в состоянии, построить каналчики, пустить по ним на поля воду, дождевальное устройство установить, тракторы приспособить — чего им стоять без де-

ла? Пусть палит солнце, а у нас свой дождь, не небесный, а земной, наш, трудовой. Труд ведь горы перемещает, Матвей Сидорович! Санечка это понимает. Он сегодня пришел не один. Солдаты, которых у военных называют уволенные из расположения части», поддержали Санечку, согласились помочь нам. Они не пошли в клуб, на танцы... Хорошие ребята!

Она говорила, и Околицын не останавливал Лиду. По небу растабунились звезды, потянуло холодком. Матвей Сидорович поднялся, отыскал в багажнике фонарик, попробовал устранить неисправность в моторе. Лида стояла подле него и все говорила и говорила. Он, подсвечивая и орудуя гаечным ключом, думал о тех гектарах пшеницы, которые еще не убраны, и о том, что ему необходимо попасть к комбайнерам и что без него там может случиться неувязка в работе.

— А вот в технике... вы ничего не смыслите. — Он хотел сказать «ты», но смягчил. — Молодежь! Фантазии-то у вас поди на всю Россию... Ирригация, водохранилище... Да посмотри ты, как эта свеча, отработалась? — повысил он голос.

— Не знаю, Матвей Сидорович.

— То-то! Людей от полевых работ знаешь как отговаривать... Эх, старый дурень я, клюнул на вашу удочку. Ударит завтра мороз, а там снег упадет. — Он с грехотом опустил капот, выключил фонарик. Стало темно-темно, в двух шагах ничего не видно.

Послышался голос Лиды:

— Позову Санечку, он мигом выльчит ваш «газик».

Борзова ушла. Минут через пятнадцать пришел Александр. Прочистил свечи, и мотор заработал.

— Ну я пошел, — сказал Александр. — Время не ждет.

— Одного тебя отпустили? — спросил Околицын.

— Нет. Увольнение получили многие.

— И ты их сюда привел?

— Да, согласились помочь колхозу.

— И что за войско пошло: днем до седьмого поту у орудия маются, а дают им отдых — они на земляные работы идут. Или уж у меня мозги ослабли, никак не пойму, сынок?

— Ты, батя, просто устал, а может быть, не с той меркой смотришь на жизнь, по старинке рассуждаешь. Будет решение района или области — выполнишь, не скажут — мимо добра пройдешь: на то ж указания не было.

— Значит, на пенсию уходит?

— Зачем на пенсию? Другому надо свое место уступить, более зрячему.

— Кому? Назови мне такого человека, завтра же соберем колхозников — и пусть председательствует.

— Сдаешься?

— Разумом, кажись, а душа болит. Болит, сынок, и противится. — Он положил руку на плечо Александра. — Я ж тут двадцать пять лет председательствую. Неужто все эти годы ошибался?

— Что ты, батя! Народ не ошибается. Вон какую войну выдержали. В этой победе и твоя доля есть. Сам же рассказывал, как фронту помогал хорошим урожаем...

— Я понимаю, Сашок... Но ты иди, иди, — вдруг заторопил Матвей Сидорович сына. — А я помчусь на косовицу.

Вспыхнули фары, бросив на пыльную дорогу пучки яркого света. Мотор работал ровно, без перебоев. Навстречу летела паутина. Матвей Сидорович чувствовал, как в его груди постепенно легчает — погода позволит убрать урожай, выполнить план зяблевой вспашки, может быть, даже и с водохранилищем что-нибудь округлится...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

Под ногами хрустел снег. Громов впервые шел в полк как его командир. Вчера, после инспекторского опроса, был подписан приемо-сдаточный акт, все формальности остались позади. Эта работа показалась Громову довольно сложной процедурой. Председатель комиссии полковник Гросулов требовал записывать все жалобы и заявления артиллеристов. Запись вел Крабов. Он, как показалось Громову, проявил повышенный интерес к опросу, успевал записывать все вопросы и ответы, которых было немало. Очень спокойно вел себя полковник Водолазов. Гросулов, услыша жалобу или заявление, сокрушался: «Что это за порядок у вас?! Не могу слышать!» Водолазов отвечал: «Люди не ангелы, товарищ полковник, всяко бывает». Это еще больше раздражало председателя комиссии, и он предупреждал Крабова: «Подполковник, точнее ведите записи. Через неделю командующий артиллерией приедет, он поинтересуется ими».

Книга жалоб и заявлений инспекторского опроса лежит в сейфе, скрепленная подписями членов комиссии. Хотя в ней и не значилось особо тревожных, требующих немедленного решения жалоб и заявлений, Громов наметил сегодняшний день начать с изучения результатов инспекторского опроса.

Хотелось пройти в штаб как-то незаметно. Но, будто нарочно, навстречу непрерывно по-

падались то офицеры, то сержанты, то солдаты, словно сговорились. Когда Громов поднимался по ступенькам лестницы, перед ним вырос подполковник Крабов.

— Здравия желаю, товарищ командир полка! Сегодня у нас банный день, — доложил он. — Будут какие указания?

Громов сказал:

— Старшины у вас — опытный народ, знают, как проводить баннные дни.

Сухое лицо Крабова на мгновение засветилось улыбкой.

— «У вас»... — подметил он. — Видимо, трудно сразу осознать, что вы уже командир этого полка?

— Да, это верно, — согласился Громов, в душе сетуя на свою оплошность.

В коридоре Громов встретил капитан Савчук. Командир батареи, пухленький крепыш, упреков подслеповатые глаза в лицо подполковника, с волжским выговором доложил:

— Товарищ подполковник, за время моего дежурства никаких происшествий в полку не случилось. Личный состав готовится в баню. Докладывает капитан Савчук.

— Здравствуйте, товарищ капитан. — Громов подал руку дежурному и прошел в свой кабинет.

Это была сравнительно просторная комната с двумя окнами, выходящими в поле, и одним — во двор, двухтумбовым столом, накрытым зеленым сукном, поверх которого лежало толстое стекло, в углу стоял сейф. На одной стене висела схема расположения военного городка, на другой — схема постов и расписание занятий, таблица зачетных стрельб для офицерского состава.

Громов снял шинель, обошел вокруг стола и впервые после ухода Водолазова сел в жесткое полукресло своего предшественника. На листке настольного календаря он прочитал запись: «Артмастерская. Проверить, что получается у Шахова и Рыбалко с катками». Перевернул еще страничку — опять пометки: «Вызвать лейтенанта Узлова». Десять календарных листов были заполнены планом личной работы. Это понравилось Громову, и он пожалел, что в дни приема полка не пришлось ближе познакомиться с этим человеком: Водолазов был занят служебными делами, и у них не нашлось времени, чтобы поговорить наедине.

Громов хотел было кому-то позвонить, но передумал, позвал дежурного.

— Посыльный на месте? — спросил он у Савчука.

— На месте, товарищ подполковник.

— Пусть меня проводит в артмастерскую.

Громов решил: коль Водолазов наметил провести эту работу сегодня, значит, надо вы-

полнять, а книгу жалоб и заявлений он изучит вечером.

— Рядовой Цыганок! — доложил вошедший в кабинет солдат.

— Дорогу знаете в артмастерскую? — спросил Громов и подумал: «До чего же ты, солдатик, неказистый».

— Знаю, товарищ подполковник.

Артмастерская помещалась в одноэтажном кирпичном здании на самой окраине военного городка. Впереди, прихрамывая на правую ногу, шел Цыганок.

— Что с ногой? — поинтересовался Громов.

Солдат остановился, ответил:

— Недавно сапоги из ремонта получил. Ну и, как всегда, мастер сузил. Правый жмет в подъеме, а левый телепается.

— Надо доложить старшине, пусть заметит.

— Докладывал. У него один ответ: «Не знаете свойства материалов: каждый предмет или сжимается или расширяется, поносите, говорит, денек-другой, сжимание как рукой снимет».

— Кто у вас старшина?

— Рыбалко.

— Передайте ему, что я приказал выдать вам сапоги по размеру.

— Есть, передать приказание, — расправил плечи Цыганок.

Возле мастерской, получив разрешение возвратиться в штаб, солдат почему-то улыбнулся и побежал вприпрыжку. Потом оглянулся назад, перешел на тихий шаг, хромяя еще больше — теперь уже на левую ногу...

В мастерской было светло. В глаза бросился строгий порядок, который может быть только у людей, привыкших пунктуально выполнять инструкции. К Громову подбежал бритоголовый сержант и звонким голосом доложил:

— Товарищ подполковник, дежурный по артмастерской старший артмастер Политико.

— Украинец? — спросил Громов, рассматривая сержанта.

— Нет, товарищ подполковник, я сибиряк, из Тюмени.

Громов хотел сказать, что он тоже сибиряк, из Новосибирска, что там у него живут старушка мать и младшая сестра, что он заезжал к ним и мать была очень довольна тем, что он будет служить в родных краях, но не стал говорить об этом, а спросил у сержанта:

— Лейтенант Шахов и старшина Рыбалко часто бывают в артмастерской?

— Часто. По вечерам, иногда по воскресеньям...

— А что они тут делают?

— Катки изобретают, — ответил Политико. — Катки под станины, чтобы легче было их разводить. Лейтенант — он теоретик, а Рыбал-

ко практик, вместе у них здорово получается. Разрешите показать? Они уже кое-что сделали.

— Ругать не будут?

Политико заколебался.

— Пожалуй, мне попадет, — признался он. — Рыбалко не любит, когда подсматривают.

— Дело-то стоящее?

— За безделицу не возьмутся, товарищ подполковник.

— Что ж, в другой раз придется, — решил Громов и начал осматривать мастерскую.

Сержант повел его вдоль различных станков и верстаков, рассказывал, как они научились ремонтировать орудия и приборы без помощи окружающей артмастерской, как усовершенствовали шлифовальный станок и теперь даже из округа обращаются к ним за помощью.

Выйдя из мастерской, Громов увидел на пригорке кирпичное здание бани. Из окон вырывались клубы пара. Они обволакивали верхушки деревьев и быстро таяли в морозном воздухе. На минуту Громов вообразил сутолоку солдат, звон шаек, парную, шамкающие вздохи березовых веников, ходящих по спине и бокам любителей попариться.

Еще будучи курсантом, Громов любил банные дни. Да кто не ждет их! Разве только старшины и каптенармусы. Для них это самое хлопотливое дело. Еще накануне они бегают в пращечную, получают белье, придиричиво осматривают, переругиваются с кладовщиками, режут на кусочки мыло, считают и пересчитывают портянки. Потом, вспотевшие и уставшие, перетаскивают на себе горы белья, допоздна задерживаются в тесных каптерках, еще и еще раз прикидывают, все ли готово, чтобы помыть всех, не забыть и про тех, кто несет службу внутреннего наряда.

Солдаты же всегда рады банному дню. Им представляется возможность встретиться с товарищем, который служит в соседнем подразделении, а самое главное — помыться, сбросить с себя тяжесть, накопившуюся за девять дней напряженной учебы и после почувствовать себя необыкновенно бодрым, а вечером лечь на чистую, пахнущую свежестью постель. Чертовски хорошо! Засыпаешь мгновенно, легким и в то же время крепким сном. А наутро просыпаешься — чувствуешь такую свежесть, что все в тебе жаждет труда!

В бане дежурил Рыбалко. Он сидел на лавке. Один его глаз был закрыт, другой посматривал на входную дверь: старшина ожидал Крабова, который обещал лично проверить порядок в бане, чтобы не ударить лицом в грязь перед новым командиром, как он, инструктируя, предупредил старшину. Но неожиданно в предбанник вошел Громов.

— Много людей помылось? — спросил он, выслушав доклад Рыбалко.

— Половина, товарищ подполковник, — ответил Рыбалко и предложил: — Помойтесь, товарищ подполковник. Водичка горячая, и парная работает всюю. Пожалуй, с дороги-то еще и не мылись?

Старшина угадал: Громов собирался съездить в Нагорное и помыться в городской бане.

Рыбалко настаивал:

— Банька у нас отличная, посмотрите...

— А венчик найдется? — начал сдаваться Громов.

— Конечно! Вам какой, поувесистей или полегче? — Старшина бросился к ящику, стоявшему в углу, и, роясь в нем, продолжал: — Подполковник Крабов любит потодше, чтобы кровь быстрее разогнать. Он часто моется здесь... Вот, пожалуйста, выбирайте, — показал Рыбалко сразу несколько штук. — Этот в самый раз, — выбрал он тугой венчик. — Тазик и мочалку сейчас получите.

Метнулся за ширму, крикнул кому-то: «Найди хороший кусочек мыльца, да поживее!» — и, не мешкая, показался с эмалированным тазом и куском мыла.

Огромный зал банной встретил шумом: солдаты плескались, гремели шайками, переговаривались. На Громову никто не обратил внимания, и он, довольный этим, наполнил таз водой, пристроился у стены на свободной скамье. Неподалеку, вытянувшись во весь рост, лежал животом вниз блондин с широкой мускулистой спиной. Возле парня вертелся с мочалкой в руках щупленький, но юркий черноволосый солдат. Громов узнал его. Это был Цыганок, только что освободившийся от дежурства в штабе. Он тер спину блондину и хихикал:

— Видал, тамбовский-то и в баню пришел с крестиком.

— Нажимай сильнее, — горбился блондин.

— Вот дурень, а? Тамбовский...

— Сильнее, сильнее.

— Пропесочить бы его как следует, враз бы просветлел.

— Лопатку, сильнее, сильнее... Брось глупости болтать.

— Религия!.. А чего он в ней понимает. Сам архиепископ и тот ни черта не разбирается.

— Жми, жми, чуть пониже, так-так, хорошо, — приговаривал блондин.

— Был Иисус Христос или не был?.. Я читал книжку про Марию Магдалину, — продолжал твердить свое Цыганок.

— Нажимай сильнее!

— Книжка интересная. Какой-то поляк написал... Любила она Христа, как помешанная...

— Нажимай, говорю!

— А он чудак, Христос-то, точь-в-точь как наш тамбовский. Туман все пускал ей в глаза...

— Сильнее, сильнее, Костя.

— А пошел ты к черту! — вдруг возмутился Цыганок и, бросив мочалку, присел на край топчана. — Я тебе не банщик.

— Готов уже, выдохся?! — упрекнул Цыганка блондин. — Волошин! — позвал он кого-то. — Иди сюда. Сейчас проверим. Болтаешь ты, Костя, и сам не знаешь что. Я с ним не раз беседовал.

— Ты же агитатор, Околицын, перед тобой он как рыба.

Из облака пара вынырнул Волошин. И этого солдата Громов узнал. Лицо его — веснушки на щеках, грустные, полусонные глаза — запомнилось еще там, в строю, на инспекторском опросе.

— Я, что надо? — держа шайку ниже пупа, сказал Волошин.

— Ты про Марию Магдалину читал книжку? — спросил Околицын.

— Читал? — повторил Цыганок.

— Про какую такую Малину?

— Не Малину, а Магдалину, — поправил Околицын. — Про ту, что в Христа влюбилась.

— Глупости, — отмахнулся солдат и отошел в дальний угол.

— Чего же ты врал: крестик на шее! — вдруг набросился Околицын на Цыганка, который повернулся к Громову, округлив глаза, схватил свою шайку и побежал в парную.

Громов заинтересовался Цыганком. Выждав немного, он направился в парную. Здесь, в густом, почти сухом пару было трудно различить людей. Подполковник лег на верхнюю полку. Кто-то хлопнул его по спине и воскликнул:

— Эх, Саня, чуть я сейчас не влип. Хотел выругаться, глядь — новый командир полка сидит с шайкой в руках... Я и прибежал сюда.

Никто Цыганку не ответил, и он, помолчав, заговорил о другом:

— Завтра выходной. Имею шансы к колхозным девушкам сходить. Сапоги новые будут. Я с командиром полка подружился.

— Фью! — кто-то свистнул над ухом Громову. — Интересно, каким образом?

— Хороших, толковых солдат быстро замечают, — продолжал Цыганок. — Утром сопровождал его в арматурские. Иду рядом и беседую вот так, как с вами. Он мне вопрос, я ему ответ. Конечно, говорю, товарищ подполковник, полк можно сделать отличным. Они же, все командиры, бедные мученики, сна лишаются, когда среди подчиненных появляется шляпа, из-за которой чаще всего попадает командирам. Но он — новенький, какой резон хватать шишки за упущения полковника Водолазова. Я, конечно, изложил подполковнику свой план укрепления воинской дисциплины. Перво-наперво, говорю, откройте нам чайную с бутербродами; мы тогда не будем в самоволку ходить. Во-вторых, говорю, — ты, Саня, не обижайся, —

агитаторы у нас плохо работают, читают нам не то, что надо солдату. Тут командир полка пожал мне руку и сказал: «Молодец, Цыганок, светлая у тебя голова!» Потом посмотрел на мои рыжие сапоги: «Пора, говорит, их заменить». Приказ передал Рыбалко выдать новые.

— Вот же врет! — раздался голос с нижней полки.

— Конечно, вру, — захохотал Цыганок. — Дело было совсем не так. Действительно, я сопровождал подполковника до арматурской. Иду впереди и прихрамываю, думаю, заметит командир полка и поинтересуется. Так и получилось. «У вас что с ногой?» — спрашивает. «Сапоги сильно жмут, — отвечаю. — Нет мочи, горит нога, только из ремонта получил». — «Передайте, говорит, моё приказание старшине, чтобы выдал сегодня новые». Рыбалко аж посинел, когда я ему сейчас в предбаннике передал это приказание. Но обещал вечером заменить. Только боюсь, всучит БУ, старик прижимистый... Санька, ты что молчишь, давай похлестаемся...

Громов давно душил смех, и он не выдержал, захохотал, поднимаясь. Пар к этому времени порядком поредел, и Цыганок, узнав командира, кубарем скатился вниз. На ходу опрокинул чью-то шайку, выскочил в предбанник.

— Куда ты так рано выскочил? Марш обратно! — закричал на него Рыбалко.

— Думал, Околицын, а это он, новый командир полка... Я его по спине два раза... Вот не везет, — быстро одеваясь, сокрушался Цыганок.

— Командира?! — ахнул старшина. — С ума сошел. Погоди же, вот я за тебя возьмусь, и в голом виде будешь разбираться, где командир, а где Околицын! Марш в казарму! — прикрикнул он на солдата.

— Как помылись, товарищ командир? — спросил Рыбалко у Громову, когда тот оделся и вышел из-за ширмы.

— Хорошо. Баня отличная. — Подполковник направился к выходу, но вдруг остановился, будто что-то собираясь сказать старшине. «Не пронесло, — затревожился Рыбалко. — Чертов болтун, без художеств ни шагу!» — ругнул он в душе Цыганка, ожидая, что командир сейчас напомнит ему о «фокусах» солдата. Но Громов хотел спросить о катках, однако, вспомнив, с каким предостережением старший арматурщик показывал ему чертежи, не решился, подумал, что лучше поговорить со старшиной в другой раз, в более подходящем месте. И он повторил: — Да, да, баня замечательная, товарищ старшина. И солдаты понравилась мне: веселый народ.

...Вечером Рыбалко, меняя сапоги Цыганку, попытался уточнить, что же солдат «отмочил» в бане. Цыганок натянул сапоги, притопнул но-

гами, пробуя обувь, и, пропустив мимо ушей вопрос Рыбалко, сказал:

— Вот теперь в самый раз, товарищ старшина. Солдат без новых сапог — не солдат. Теперь мне не хватает только увольнительной записки, а то хоть сейчас в колхозный клуб, к девушкам, на танцы.

— Увольнительную надо заслужить, — заметил старшина. — Сибирячки троешников не любят, они разборчивы. В субботу будем подводить итоги соревнования, получите четверку по материальной части — включу вас в список на увольнение, — добавил Рыбалко, держа в руках старые сапоги Цыганка и думая: «А ведь они еще крепкие, почищу, и другой поносит».

## II

За окном, кружась, плясали снежные вихри. В такт им беспорядочно наплывали думы, и не было сил направить их в нужное русло. Подразделения готовились к выходу в поле. Секретарь партбюро Бородин советовал Громову собрать офицерский состав, сказать напутственное слово. А что сказать? Как проводить тактико-строевые занятия? Но задачи уже поставлены командирами дивизионов, они потрудились хорошо. Если уж собирать весь офицерский состав, то надо сказать что-то новое, что всколыхнуло бы подчиненных, готовило бы их к предстоящим переменам...

Перемены!.. О них в полку знает только один он.

Когда докладывал генералу Захарову о вступлении в должность, командующий артиллерией не стал, как это обычно делается, расспрашивать, с чего он, Громов, начнет свою работу в полку. Генерал лишь спросил: «Что бы вы, подполковник, делали, если бы узнали, что ваш полк в скором времени, может быть, через два, а может, через пять месяцев, расформируют и на его базе создадут новую боевую единицу, вооруженную, скажем... ракетами?»

Такого вопроса Громов не ожидал, и он с минуту собирался с мыслями, чтобы ответить. Захаров терпеливо ждал, перелистывая пухлый сборник статей о новом оружии наземных войск. Сборник был Громову знаком, он изучал его в академии. «Выполнял бы план боевой и политической подготовки, товарищ генерал, как это положено любой части, не думая о том, что полк сократят», — сказал Громов и заметил по выражению лица Захарова, что ответил не совсем точно. «На вашем месте, подполковник, я бы искал... присматривался бы... Да, да, именно искал, — повторил генерал, подчеркивая это слово. — Перспектива дается человеку вовсе не для того, чтобы он любовался ею. Надо

думать, искать: а нельзя ли сегодня, сейчас, мобилизовать свои силы на то, с чем встретишься завтра, разумеется, не в ущерб повседневным заботам? Полк-то действует, живет, — значит, и дисциплина в нем должна быть высокой, и боевая готовность на должном уровне, и партийно-политическая работа ни в коем случае не должна затухать. Помните о перспективе и ищите... сегодня, сейчас. Трудно? Не легко, конечно. Но вы — командир, в ваших руках огромная власть плюс коллектив — это сила! — воскликнул Захаров и доверительно заключил: — О предстоящих переменах, разумеется, никому ни слова».

Полк действует, и в то же время надо думать о его завтрашнем дне. Полк — сложное хозяйство: люди, боевая техника, материальные ценности... Учиться в академии было куда легче: там — сам себе хозяин, там главное — твои личные успехи. Колоссальная разница! Подчиненные не похожи друг на друга даже по первым впечатлениям.

Секретарь партийного бюро майор Бородин, этот с виду тихий великан, уже трижды напоминал — надо бы по-настоящему вникнуть и понять ценность предложения лейтенанта Шахова. Громов понимал: ценность рационализаторского предложения очевидна даже с первого знакомства с ним. Но почему же полковник Водолазов проявил робость, не стал внедрять его? И робость ли это? Может быть, прежний командир полка тоже знал о переменах? В таком случае он как будто бы прав: предложение Шахова ценно для ствольной артиллерии, но не для ракетных подразделений. Надо повременить, как-то отсудить в этом деле секретаря. А он, видимо, не отступит: уж больно настойчив... донской казак.

Другое дело — подполковник Крабов, этот более податлив, а может быть, догадлив. Показал реферат с формулами и чертежами: «Прочитайте, товарищ командир, лично я не настаиваю. Видимо, это преждевременно».

С рапортом лейтенанта Узлова Громов познакомился сразу же по прибытии в полк. Он полагал, что лейтенант заявит об этом на инспекторском опросе — со дня подачи рапорта прошло более месяца. Узлов промолчал, и это удивило Громова. Он спросил у капитана Савчука: «Разве лейтенант передумал?» Оказывается, кто-то — не то подполковник Крабов, не то командир дивизиона — «разъяснил» Узлову, что для нового командира полка его рапорт не более как филькина грамота, и поэтому, видимо, лейтенант умолчал. Но поэтому ли? Савчук сам точно не знает. Надо вызвать Узлова и поговорить с ним...

Громов посмотрел в окно: через плац лейтенант Шахов вел взвод в учебный корпус. Рядом с ним шел Бородин. Секретарь что-то

говорил лейтенанту, размахивая ручищами, словно рисовал в воздухе воображаемые геометрические фигуры. В хвосте колонны, держа руки в карманах, плелся Узлов. Весь вид его как бы протестовал, вопил: зачем я здесь, ведь лишний же? Плечи у Громова передернулись: «Сегодня же вызову, иначе он может дурно повлиять на других». Повернулся и увидел на стене под самым потолком призыв: «Товарищи артиллеристы! Еще шире развернем социалистическое соревнование за отличные показатели в боевой и политической подготовке!» Такие лозунги, уже с поблекшими от времени буквами, он встречал и в казармах, и на обочинах дорог и дорожек военного городка, и на летнем полигоне, расположенном в тридцати километрах в предгорном лесу. Ему показалось, что призыв слишком общий, неконкретный. Ухватившись за эту мысль, Громов, будто споря с кем-то, спрашивал: «За отличные показатели? В чем конкретно — в стрельбах из личного оружия или орудия? Может быть, в преодолении полосы препятствий? А поконкретнее нельзя?»

Громов достал из сейфа указания начальника политуправления округа. В глаза бросились подчеркнутые красным карандашом строки: «Любое патриотическое начинание, равно как и любое социалистическое обязательство, должно иметь перспективу, а не замыкаться только на сегодняшнем дне. В войска поступает новая техника, каждый командир и политработник, организуя социалистическое соревнование, внедряя то или иное рационализаторское предложение, обязан все это взвешивать в интересах перевооружения армии».

Это как бы подтверждало советы генерала Захарова. Не просто борьба за отличные показатели в учебе, не просто соревнование, а вера в завтрашний день. Ракетное оружие... Громов изучал его в академии, изучал в том объеме, который достаточен для командира полка. Электроника, математика, физика... А какие в артиллерии специальности соприкасаются с этими науками хотя бы в своей основе? Они есть, есть, и на них надо держать упор, их надо внедрять путем освоения смежных профессий, путем приобретения солдатами, сержантами вторых специальностей...

«Вот о чем и следует сказать на совещании офицерского состава», — ухватился Громов, чувствуя, что наконец-то нашел то, что искал. Он решил посоветоваться с начальником штаба.

Сизова не оказалось в штабе. Дежурный доложил, что начштаба пошел в зимний тренировочный корпус.

Корпус — довольно просторное барачного типа помещение с печным отоплением, учебными макетами и двумя старенькими орудиями, приспособленными полковыми энтузиастами для

тренировок и дополнительных занятий сержантов и номерных, — находился на территории артиллерийского парка. Громов открыл дверь, переступил порог и не сразу заметил Цыганка. Солдат сидел к нему спиной, перед ним на подставке-стеллаже лежали механизмы орудийного затвора.

Цыганок увидел командира полка в окно, еще когда тот приближался к корпусу, сразу вспомнил случай в бане, сапоги, хотел было спрятаться, но подходящего места не нашел, решил расположить к себе командира стараним. Все эти дни Цыганок жил ожиданием: вот-вот вызовут к командиру полка, и ему придется держать ответ. Однако не вызвали, он немного успокоился, старался, чтобы получить увольнительную, «заработать» четверку по материальной части. Сегодня он добровольно изъявил желание дополнительно проштудировать устройство орудийного замка, пожертвовав личным временем.

Цыганок чувствовал, что за спиной стоит подполковник, но не оборачивался, словно за гипнотизированный, глядел на ударник и негромко, но так, чтобы слышал командир, без передышки читал:

— В случае осечки повторить спуск ударника не более двух раз и, если выстрела не произойдет, открыть затвор и заменить гильзу с боевым зарядом. Открывание и закрывание затвора должно быть полным; затвор должен надежно закрепляться в открытом положении, чтобы не препятствовать заряданию.

А Громов все стоял. Запас того, что было зазубрено ранее, иссяк, и Цыганок начал повторяться, на этот раз безбожно путая то, что хорошо знал.

— Товарищ рядовой, чем вы занимаетесь? — окликнул Громов.

Цыганок вскочил, повернулся, делая вид, что он только теперь заметил командира, торопливо доложил:

— Товарищ подполковник, рядовой Цыганок! По распоряжению лейтенанта Узлова подтягиваю свои знания до уровня социалистического обязательства. — Черные, как спелая слива, глаза солдата вонзились в Громова, и подполковник невольно улыбнулся.

— Вы с кем соревнуетесь?

— С рядовым Волошиным, он подносчик снарядов. — Цыганку показалось, что Громов заметил на нем новые сапоги. Бочком протиснулся между стеллажами и классной доской так, чтобы спрятать ноги.

— Ну и как?

— Идем ухо в ухо, товарищ подполковник. По теории я его побиваю, по труду, переноске тяжестей — он. А в общих показателях — ухо в ухо. Завтра будут подводить итоги соревнования. Лейтенант Узлов опасается, что я при

сборке затвора могу подкачать. Вот я и решил дополнительно...

— Соберите затвор.

Громов засек время. Цыганок, кряхтя и покусывая губы, довольно быстро собрал затвор.

— Подходяще, — похвалил Громов. — Выходит, что вы взяли обязательство не такое уж трудное?

— По силам, как же иначе, — простодушно признался Цыганок. — И нам, солдатам, покойно, и командирам хорошо...

— Это как же понять? — заинтересовался Громов. — Ну-ка, ну-ка, расскажите. Садитесь.

Цыганок, довольный тем, что командир не напоминает ему о сапогах, словоохотливо, без остановки, длинно ответил:

— Соревнуемся, чтобы было все в ажуре. Вначале прикидываешь, что по силам, а что нет. Я, к примеру, обязался на четверку изучить механизмы замка. Для меня, как замкового, самое выполнимое обязательство. Каждый день работаю с замком, слово свое сдержу. Правда, Околицын, наш взводный агитатор, уговаривает прицел изучать. А вдруг я не осилю, что потом будет, когда итоги социалистического соревнования подведут? Меня, конечно, в стенгазету сразу, на щит критики поднимут: Цыганок такой, Цыганок всякой и немазаный и к тому же — «сачок». Веселые картинки!.. Приходится, товарищ подполковник, соображать.

— И многие так соображают, как вы? — Громов сел на скамейку, предложил солдату папиросу, заметил на ногах у Цыганка новые сапоги, подумал: «Однако же ты, братец, пройдоха».

— Как вам сказать, товарищ подполковник, — продолжал Цыганок, — много ли мало, за других непривычный отвечать. Спросите у старшины батареи, у него все по полочкам разложено, как в хорошем магазине. Я значусь где-то на средней полочке. Служить можно, сильно не ругают.

— Не скучно так? — Громов загасил папиросу, поискал, куда бросить окурок, но, не найдя урны, открыл коробок со спичками, с силой воткнул в него папиросу.

— Если правду говорить, скучновато, товарищ подполковник, редко приходится бывать в увольнении, не пускают.

— А других солдат?

— Пускают.

— Выходит, не заслуживаете?

— Подтянусь. Только опасаясь: вычеркнет меня старшина Рыбалко, снова не окажусь в списках увольняемых. Колхозный клуб рядом, тысяча метров отсюда. Девчата крепкие на голоса, запоют — слышно в казарме. Тоска-а-а, хоть в самоволку беги или уши ватой затыкай. Иногда приходится это делать: паклей покрепче законопатить их и ходишь по казарме, как глу-

харь. К тебе обращаются, а ты ноль внимания — ничего не слышишь... Я так полагаю, товарищ подполковник, в увольнение надо всех пускать: и тех, кто по показателям значится на верхней полочке, и троечников, которые отстают в учебе, черным карандашом помечены у старшины Рыбалко. Сам он ладно говорит: наши шефы, дружба с местным населением... А как я буду дружить, когда в увольнение не пускают, заочно или по телефону?.. Неувязка! Определенная неувязка.

— Да, да, неувязка, — в тон солдату сказал Громов. — У вас, что же, знакомая девушка есть в деревне?

— Есть, не старик ведь, двадцать третий год идет. Раньше, когда работал писарем, часто встречался с ней. Теперь только во сне. Вчера приснилась: стоит с ефрейтором Околицыным и так это миленько беседует. Эх, думаю, агитатор, не за ту тему берешься, я и сам могу такую агитацию вести, немного обучен. Девушкам главное — понравиться, чтобы внешность была у парня кругом шестнадцать, ну, само собой, обхождение и речи имеют значение. Если уж понравился — ставь точку, никто не отобьет.

В голосе Цыганка чувствовалось что-то затененное, невысказанное. И Громов спросил:

— Значит, вы ей не нравитесь?

— Рост не тот. Стараюсь обхождением да речами обратить на себя внимание. Пока результат — ноль. У Саньки фигура генеральская, видная. А что поделаешь: такая уж нация, эти девушки. Им фигуру покажи, плечи, грудь и нос римский. Ничего, будут и у меня мускулы, наш доктор крепко берет. Спринтер, говорит, из меня получится. Я не против, стараюсь, может быть, и в самом деле получится. — Цыганок вдруг присмирел, поджал губы, потом задумчиво сказал: — Вы, товарищ командир полка, не о такой скуке меня спрашиваете. Думаете, я не догадался? По правде говоря, совсем нетрудно выполнить такое обязательство, которое, например, я взял. Имею девять классов образования, а что в этом затворе мудреного? На средних скоростях изучу. Мне бы что-нибудь потруднее, где мозгами надо шевелить до десятого пота. В инструментальной разведке мое место. Там геометрия: синусы, косинусы, градусы.

«Да ведь это то, что надо, — чуть не вскрикнул Громов. — Ты уж не так плох, Цыганок, догадлив».

— Пойдете? — спросил Громов и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать о всех прелестях работы с артиллерийскими приборами, о тех знаниях, которые солдат может приобрести.

Цыганок считал солдат инструментальной разведки самыми счастливыми в полку людьми. «Никаких тяжелых банников и станин, с приборчиками имеют дело. Интеллигентия. При

таком положении три года службы пролетят, как одна неделя», — завидовал Цыганок разведчикам, когда видел, как они колдуют у приборов и на планшетах. Теперь вот ему предлагают, и кто — сам командир полка! Цыганок весь просиял:

— Пойду, хоть сегодня, товарищ подполковник! По геометрии я всегда получал пятерки. А преподаватель у нас в школе был прижимистый старик, Сидор Парамонович, ужасный скряга на хорошие отметки, но меня щадил. Цыганок, бывало, говорил он, не могу я вам поставить четверку, совесть не позволяет. И писал в классном журнале «отлично». Готов пойти в дальномерщики, товарищ подполковник.

— Нет, идти не надо, — сказал Громов. — Вы останетесь замковым, но будете осваивать вторую профессию в дополнительное время.

Цыганок сразу сник.

— Пожалуй, сил не хватит, — прошептал он.

— У вас? Сил не хватит? — Громов улыбнулся: — Не верю. Вы только с виду маленький, а духом — богатырь! Вы понимаете, солдат, имеющий две профессии, — это настоящий солдат! Перед таким бойцом враг вдвойне сробеет.

— Может быть, товарищ подполковник, он и сробеет, но мне-то сейчас за двоих служить, за двоих работать... Дам слово — потом не сдержу, — продолжал упираться Цыганок.

Но тут он заметил, что подполковник поглядывает под стеллаж. Цыганок поджал ноги так, чтобы Громов не видел сапог. Командир полка вновь начал говорить о тех знаниях, которые получит Цыганок, осваивая вторую специальность, о том, что эти знания пригодятся Цыганку и после службы. Цыганок уже не мог сидеть скорчившись, но и боялся выпрямить ноги.

— Согласен я, товарищ подполковник, — сказал Цыганок, полагая, что Громов сейчас же уйдет, так и не напомнив ему о сапогах.

Но командир полка вдруг предложил ему разобрать затвор. Пришлось встать. Руки у Цыганка тряслись, на лбу выступила испарина. В душе он нещадно ругал себя за то, что как следует не подумал о последствиях с этими сапогами, ругал колхозных девчат, ругал и тех, кто придумал увольнение солдат из расположения части.

— Подходяще знаете технику, — похвалил Громов и, неожиданно для Цыганка, подав ему руку, ушел, не сказав больше ни слова.

«Нет, они мне житья не дадут», — с горечью подумал Цыганок о сапогах. Он прибежал в казарму, разыскал Рыбалку. Старшина был в ленинской комнате. Рядом с ним сидел Волошин с книгой в руках.

— Пашенька, ты выйди, мне надо с глазу на глаз сказать товарищу старшине два слова.

— Это что еще за фокусы? — удивился Рыбалко. — Я занят, подождите. Читайте дальше, товарищ Волошин.

Павел хрипловатым голосом продолжал:

— «Вокруг планеты Марс вращаются два загадочных спутника: Фобос и Деймос...»

— Товарищ старшина, на одну минутку, — умоляюще произнес Цыганок.

— Говорите здесь, — сказал Рыбалко, но тут же поднялся. — Пойдемте в коридор.

Они вышли. Цыганок, выставив вперед правую ногу, ткнул пальцем в сапог:

— Не годится, товарищ старшина. Носить не могу.

— Жмут? Где? — удивился Рыбалко.

— Сквозь и даже тут, — стукнул Цыганок себя по груди. — Прошу, верните мне прежние сапоги, они ведь еще хорошие, я их почищу, в них очень удобно бегать. Верните...

Старшина насторожился: он готов был услышать от Цыганка все, но только не это. Плотнее прикрыл дверь ленинской комнаты и, повернувшись, сказал:

— Ну, что дальше?

— Все.

— Ага... Так-так. — Рыбалко был убежден, что Цыганок хитрит, это такой парень, держи с ним ухо остро — что-то замыслил. — Кругом! — скомандовал старшина. — Прямо в раздевалку, снять шинель и явиться к командиру орудия, шагом... марш!

«Ну и салага! — глядя вслед Цыганку, рассуждал Рыбалко. — Не знает порядка обращения к старшим. А пора бы уже знать, пора. Артист...»

### III

Возле штаба Громов встретил Бородин. Секретарь партийной организации предложил вместе заглянуть в помещение винтовочного полигона. Громов был еще под впечатлением разговора с Цыганком — солдат заставил его поразмыслить о соревновании, о порядке увольнения, о связях с подшефным колхозом, думалось и о том, как и что сказать на совещании офицерского состава. Хотелось поговорить с начальником штаба, с лейтенантом Узловым. С полковником Сизовым он успел перебраться двумя-тремя фразами в первом дивизионе, где начальник штаба инструктировал офицерский состав: Громов не стал отвлекать его от работы. Узлов тоже присутствовал на инструктаже, и его не стал беспокоить. Теперь они освободились, и начштаба, наверное, на месте...

Со стороны винтовочного полигона донеслось несколько выстрелов.

Бородин сказал:

— Лейтенант Шахов уже там. Могу вам, Сергей Петрович, открыть одну тайну. Полковник Водолазов официально отклонил предложение Шахова, но разрешил потихоньку, так, чтобы мало кто знал, экспериментировать под видом дополнительных занятий. Вот мы и работаем... Посмотрите, теперь ведь все зависит от вас.

Саженный лист бумаги, разбитый на мелкие квадраты и испещренный знаками ориентиров, поразил воображение Громова. Шахов нажал на кнопку, лист медленно пополз книзу, но через мгновение возникло впечатление: движется не бумага с нанесенной на нее местностью, а закрепленный на проволоке макетик танка. Шахов передал координаты цели на огневую позицию. Тотчас же с насадным звоном грохнуло два выстрела. В микрофоне прозвучал доклад разведчика:

— Цель поражена!

— Повторите, — заинтересовался Громов, еще не веря, что за такое короткое время можно осуществить довольно сложную операцию, и, главное, без прицельного выстрела. Он взял бинокль и, отыскав на местности цель, затаил дыхание, с волнением ожидая команды. За спиной зашуршал планшет. Лейтенант назвал номер ориентира. Опять прогрохотали выстрелы, но цель — это была ракетная установка — продолжала мчаться по песчаным холмам. Громов уже хотел опустить бинокль и произнести: «Так не годится», как Шахов крикнул:

— Квадрат три! Основное — огонь!

Фонтанчики песка вздыбились, и она, клонув носом, сползла в овражек.

— Чертовски здорово! — удивился Громов и сказал Шахову: — В поле, в настоящем бою получится?

— Стараемся, товарищ подполковник, чтобы получилось, — ответил Шахов и попросил разрешения объявить перерыв.

На командный пункт поднялись по скрипучей деревянной лесенке старшина Рыбалко, стрелявший из первого орудия, сержант Петрищев, уничтоживший вторую цель, ефрейтор Околицын, выполнявший обязанности разведчика. Громов уже знал этих людей как лучших мастеров артиллерийского огня в полку. «Конечно, такие не подведут и в бою. Но ведь не все же так подготовлены? К тому же это ведь не рассчитано на нашу перспективу, а полезно и нужно для ствольной артиллерии», — рассудил он.

Шахов начал пояснять «секреты» метода. Он говорил долго, то и дело обращаясь за подтверждением своих слов то к Бородину, то к Рыбалко, то к Петрищеву. Много из того, что говорил лейтенант, Громов уже слышал раньше от Бородина и самого Шахова.



— Метод основан на высокой натренированности всех специалистов — и огневиков, и разведчиков, и командиров батарей. Кроме того, надо отлично знать местность, расположение ориентиров, иметь точные расчеты углов. Верно говорю, товарищ майор?

— Точно, как по инструкции, — подтвердил Бородин. Он подошел к устройству, на котором была изображена местность полигона. — Пусть вас не смущает, товарищ подполковник, размер этой штуки, мы ее усовершенствуем до удобных размеров.

— Пороха у нас хватит, товарищ подполковник, — отозвался Рыбалко, радуясь тому, что наконец и сам командир полка засучил рукава, не как Водолазов, который одно твердил: «Не наше это дело, мы строевая часть, а не научно-исследовательский институт». Радовался старшина еще и потому, что он тяжело переживал ходившие слухи о расформировании полка, а вот теперь, коли сам командир включается, значит, слухи — брехня, и полк, свою жизнь без которого Рыбалко не мыслил, остается...

Громов выслушал каждого, но не высказал своего определенного мнения. Это несколько насторожило Бородин. Когда вышли на улицу, он заметил:

— Похоже, что вы против. Жаль. — Громов промолчал. Бородин нажимал: — Или еще не разобрались, не поняли?

— Почему Водолазов не поддержал? — спросил Громов.

— Вы с ним об этом сами поговорите, — ответил Бородин. — Он вам расскажет... Да, — спохватился майор, — неплохо было бы пригласить его на совещание. Восемь лет командовал полком, людей он знает хорошо.

— Можно, — согласился Громов. — Завтра сообщим ему.

В штабе находился один Сизов. Он просматривал план тактико-строевых занятий, низко склонив свою большую бритую голову. Громов позвал его в кабинет. Сизов захватил план занятий, папку со служебными документами, требующими подписи командира полка, и положил все это на стол Громову.

— Приходила председатель женсовета Крабова, — сообщил Сизов. — Хотела с вами встретиться.

— Жена подполковника Крабова?

— Да, Елена Ивановна.

— Для чего я ей потребовался?

— Видите ли какое дело, женсовет решил открыть солдатскую чайную в клубе, есть там одна подходящая комната. Водолазов возражал, так вот теперь вы должны решить.

— Я? — Громов взял план занятий. Покрутил его в руках и положил перед собой. — Почему я?

— А кто же? Вы — командир полка.

— Ага... так-так, понятно. — Громов достал из сейфа указания начальника артиллерии округа. — Алексей Иванович, прочитайте, пожалуйста, вот эти подчеркнутые слова и скажите, как вы их понимаете.

— Перспектива, — тихо отозвался Сизов, возвращая документ.

Он вспомнил, как однажды полковник Гросулов сказал Водолазову: «Что вы все говорите: начинания да соревнования? Поймите одну истину — никакое соревнование не может подменить командира, надо больше требовать с подчиненных, тогда и снаряды будут точнее ложиться в цель». Вспомнил начальник штаба и недавний звонок подполковника Бирюкова. Кадровик интересовался, кем до армии он работал. Когда Сизов спросил, для чего это потребовалось, Бирюков ответил: «На учебу думаем вас послать». Но Сизов догадывался, о какой «учебе» идет речь: он не имел академического образования, и теперь, когда сокращают армию, не сомневался в том, что ему предложат уйти в запас...

— Перспектива, — повторил Сизов. — Правильно сказано. Только надо видеть эту перспективу четко как на ладони.

— Да, да, — подхватил Громов. Он попытался окольными путями намекнуть Сизову о возможном перевооружении полка, вызвать начальника штаба на откровенный разговор о социалистических обязательствах, о соревнованиях в подразделениях. Сизов был скуп на слова, он лишь коротко отзывался: «возможно», «согласен», «верно».

«Что же это ты, старик, такой несловоохотливый», — подумал Громов и начал расспрашивать, как идет подготовка к занятиям.

— Вот перед вами план. Эта работа написана капитаном Савчуком.

— Ну и как, все он предусмотрел?

— Я внес свои коррективы. Взгляните, товарищ подполковник.

— Хорошо, оставьте. Я еще поработаю, — сказал Громов, глядя на вечерние сумерки, зашторившие окно.

...Громов жил в офицерском общежитии. Ему отвели здесь самую большую комнату, поставили кровать, диван, письменный стол, этажерку для книг, шкаф и четыре стула. Мебель была старенькая, — видимо, собранная со всех подразделений. А стены комнаты такие тонкие, что он часто становился невольным слушателем разговора за перегородкой. На этот раз соседи — лейтенанты Шахов и Узлов — уже спали, и ему никто не мешал еще немного поработать. Он просматривал академические конспекты, старые записи, книги, раскладывал все это по полочкам, откидывал ненужное, чтобы сжечь в печке. Под руку попался старый дневник —

общая тетрадь в черном коленкором переплете. Громов вел дневник от случая к случаю, но на протяжении многих лет. Начал еще в училище, в тот день, когда впервые надел офицерские погоны. Он открыл тетрадь и прочитал несколько страничек.

«...Ну вот, брат, теперь — ты офицер! Рад? Конечно, рад! Пошлют в войска, дадут взвод — командуй, Сергей Петрович. А люди будут разные. Наверное, ничего на свете нет труднее, как управлять, командовать... подчиненными. Я, конечно, точно не знаю, так ли это, но догадываюсь — труд огромный!»

«...Теперь я не один, нас двое: Наташа и я. Наташа, ты — героическая девушка! Приехать сюда, к черту на кулички, — это подвиг. Она маленькая, курносенькая, а глаза большие-пребольшие. Живем на частной квартире, в комнате восемь квадратных метров. Но с Зайчонок (полюбилось мне так ее называть) эта комната, оклеенная серыми обоями, кажется светлым залом. Наташа, я люблю тебя! Ты и сама не знаешь, как мне сейчас легко служаться!»

«...Вчера возвратился с учений, десять дней вели «упорные бои» среди гор и стремнин. Мой взвод получил благодарность. Товарищи поговаривают, что командир полка имеет намерение повысить меня в должности. Прибавятся новые заботы, новые трудности. Наташка что-то недовольна этим. Сегодня, штопая носки, она вдруг сказала: «Неужели всю жизнь будет так продолжаться: ты на учениях, я одна в этой серой клетке? Приехала носки штопать. Офицерша!» Я обнял ее, поднял на руки, кружил, целовал. Вечером хозяйка потребовала двести рублей за квартиру. У Наташи таких денег не оказалось, и она расплакалась. Ах, Зайчонок, что ты плачешь, ведь все это мелочи жизни... На улице снег, кругом, куда ни посмотришь, снег, снег — ни одной черной точки. До чего же в этих местах много снега! Сейчас пойду проверять посты. Сегодня я дежурный по части».

«...Черт возьми, в батарее падает дисциплина. С пополнением получил двух трудных солдат. Они баламутят других. Взыскания не действуют. Товарищ Громов, не рано ли тебя повысили в должности? Очень жестоко критикую себя. Командир делает вид, что не замечает моих недостатков, а замполит все утешает, — дескать, это неизбежно, когда человек растет. Но мне от этого не легче. На партийном собрании крепко досталось за низкую дисциплину. Купил Наташке пальто. Богиня она в нем!»

«...Избрали членом партийного бюро части. Теперь приходится больше прежнего задерживаться на службе. Читаю лекции, провожу беседы. Нравится мне эта работа. Наташке, моему злому Зайчонок, от этого «не холодно и не жарко». Дуреха. Получила письмо от своей мамы,

читает и плачет. Боюсь, что письма матери доконают Зайчонок. Я знаю, о чем пишет Галина Петровна...

Ох и не нравятся мне ее письма! Загубит она свою дочь. Зайчонок прячет письмо за пазуху и говорит:

— Широкоэкранный кинотеатр открылся...

— Это хорошо.

— А мне-то что от этого?.. Когда ты квартиру получишь?

Произошла стычка. Наташа сердито отхлестала меня. Но слова она говорила не свои — Галины Петровны! Мещанка! Я это сразу понял, еще когда собирался в загс. «Ты, Сережа, не обижайся, но дочь должна остаться при нашей фамилии... Гурова». И настояла. Гурова — звучит, а лейтенант Громов — не звучит. Ошибаешься, Галина Петровна.

«...Комната пуста. На столе лежит записка: «Я надорвалась ходить с тобой по солдатским ухабам. Прощай, уехала к маме, пишем мне не пиши. Уехала навсегда, навсегда!» Жестокая ты. Ой жестокая! Сижу один, в кармане у меня извещение из академии: допущен к вступительным экзаменам. Зайчонок не пожелала разделить со мной эту радость. В окно виден железнодорожный полустанок. Он кажется мне таким же одиноким, как и я. Надо собираться в дорогу».

Громов захлопнул тетрадь. Вспомнил, как приехал в Москву, сразу же начал писать ей в надежде, что Наташа одумается, поймет свою ошибку, откликнется. Письма возвращались с пометкой: «Адресат выбыл». Тогда он написал на имя Галины Петровны. Она ответила двумя строчками: «Что вы ищете, товарищ Громов? Поймите, нельзя найти того, чего не теряли. Наташа давно вышла замуж, забудьте о ней...»

Громов вырвал из тетради несколько страниц и, скомкав, бросил их в печку. Выключил свет. Когда лег на кровать, бумага еще горела, на потолке дрожали красные блики. Он закрыл глаза, чтобы не видеть эти отсветы.

Утром, когда собирался на завтрак в военную столовую, позвонил дежурный по штабу. Он доложил, что в полк прибыл полковник Гросулов. «Совещание послушать». — подумал Громов и начал припоминать все то, что решил сказать офицерам: о пересмотре социалистических обязательств, о кружках по математике и физике, об изучении личным составом электроники и о многих других вещах, которые, по его мнению, как-то приблизят людей к тому, что ожидает их впереди.

#### IV

Водолазов не мог сидеть на месте. Дома он ходил из угла в угол и все думал, думал. О чем только не вспоминал, с кем только в мыслях

не встречался! Всех фронтовых друзей перебрал, с каждым поговорил, поспорил.

Как только присаживался, какой-то молоточек, обосновавшийся под черепной коробкой, вдруг срывался и начинал выстукивать: отставник, отставник, отставник... Стучал, проклятый, долго, безжалостно, умолкал лишь с приходом Наташи или когда разговаривал с Алешей. Мальчик стал самым желанным гостем и собеседником. Дед исходил с ним весь город, все его окрестности, они были на стройке, видели, как Наташа командует рабочими («Ловко у нее получается, мать в молодости такой же была»), смотрели одну и ту же картину подряд два раза, пока Алеша не засыпал у него на руках. Он нес его домой, укладывал нераздетым на диван, садился возле него, и тут молоточек вновь начинал стучать. Водолазов вскакивал. Просыпался Алеша, смотрел на деда и никак не мог понять, почему он мечется по комнате, почему у него нет ни усов, ни бороды: ведь все дедушки с бородами.

— Деда, почему у тебя нет усов и бороды? Ты же пенсионер, старенький, — спрашивал Алеша. Слово «пенсионер» звучит в ушах Михаила Сергеевича, как выстрел.

— Бороды нет? — останавливался Водолазов, чувствуя, что молоточек затихает.

— Да.

— Потому, малыш, что я полковник. А почти все военные не носят ни бороды, ни усов.

— Это правда, — согласился Алеша. — Все, все и даже генералы. А я знаю почему. Борода может вспыхнуть от папироски.

— Верно, — механически ответил Водолазов и стал снимать с Алеши пальтишко, валенки, шарфик. Потом рассказывал малышу истории про войну, длинные и страшные. Алеша прижимался к дедушке, слушал и снова засыпал, а Михаил Сергеевич все рассказывал и рассказывал, теперь уже не для Алеши, а для себя, чтобы не стучало ненавистное слово «отставник». Однажды вот так же сидел на диване, гладил Алешу по мягким волосам и ожидал Наташу. Она задерживалась: обещала прийти к трем часам, вместе пообедать и потом сходить в кино. Но уже наступали сумерки, а ее все не было. Наконец в сенцах послышались шаги. «Пришла», — обрадовался Водолазов, заспешил к двери.

В овчинной шубе ввалился Околицын. Михаил Сергеевич никак не ожидал увидеть председателя колхоза: Матвей Сидорович ни разу не был у него на квартире.

— Морозец сегодня. — Околицын потер ладонь о ладонь и отвернул воротник. — Можно раздеться?.. Теперь здравствуйте, товарищ полковник, — подал он руку, когда снял шубу.

— Садитесь, — показал на стул Водолазов и подумал: «Зачем это он забрел? Помощь про-

сить? Нет уж, извини, теперь сам в ней нуждаюсь».

Околицын достал из нагрудного кармана пиджака какую-то бумагу, подал ее Водолазову.

— Прочитайте. — Председатель колхоза сказал таким тоном, будто записка относилась к Михаилу Сергеевичу. Водолазов даже затревожился: «Уж не о моей ли праздной жизни пронохали в райкоме партии», хотя он знал: там известно, что он ушел в запас и решил «пока пожить в деревне», — так заявил Водолазов секретарю райкома Мусатову, когда становился на партийный учет.

Водолазов прочитал первые строчки:

— «Секретарю районного комитета Коммунистической партии Советского Союза товарищу Мусатову».

Проснулся Алеша, Водолазов взял его на руки. Спросил у председателя:

— Кто это пишет?

— Читай, читай, — торопил Околицын.

Водолазов надел очки.

— «Наш колхоз «Луч социализма» как будто бы живет хорошо. Хлеба в колхозе много. Да ведь не плохо, если к столу иногда будет подаваться и свежая рыба. Вам покажется эта мысль слишком дерзкой, несбыточной — резкий климат и безводье. Так думает и нынешний председатель колхоза тов. Околицын М. С. Прошу вас лично приехать по этим вопросам в колхоз и поговорить с членами артели, они вам покажут, где хранятся взаперти запасы воды. Но председатель упорно не желает открывать их для блага народа.

Околицын».

— Ничего не пойму, — пожал плечами Водолазов. — Это вы пишете?

— Что я — сам себе враг?!

— А кто?

— Сы-нок, — по слогам произнес Матвей Сидорович, пряча бумагу в карман. — А кто его воспитал таким быстро понимающим? Армия. На отца жалуется! Десять дней побыл в колхозе и все увидел! Ну не балбес ли, а? Поговорили бы вы с ним, Михаил Сергеевич, как коммунист с коммунистом. Прошу вас: сходите в полк и поговорите. Он на этом не остановится! — Значит, бунтует? — промолвил Водолазов и шепотком, словно боясь громче сказать, добавил: — Полком теперь не команду, ваш сын вышел из-под моей власти, теперь я — сам рядовой...

— Есть выход! — хлопнул по пухлому портфелю Околицын. Он наклонился к Водолазову.

Алеша сполз на пол, побежал в другую комнату.

— Какой выход?..

— Старую, Михаил Сергеевич. Глазами олабел: половину мира вижу, половину нет...

— Ну, ну, — не терпелось Водолазову узнать, что дальше скажет председатель.

— Да что «ну»! — вдруг озлился Околицын. — Ну, ну, — ворчливо повторил он. — Вызвал меня секретарь райкома партии товарищ Мусатов Виктор Филиппович. Поехали мы с ним смотреть разнесчастные родники. Боже ты мой, глазам своим не поверил! Три колодца вырыты, и вода в них бьет, просит простора... Когда они такое дело сотворили, не знаю, убей меня на месте, не знаю. Виктор Филиппович говорит: «Правы комсомольцы. Действительно ты, Матвей, слепой». Вот вам и ну! Потом товарищ Мусатов, когда возвращались обратно, сказал: «Пороть тебя надо, Матвей». Это уж точно, сечь будут на очередном собрании, хотя я уже меры принял и работа по сооружению водоема, кажись, пошла своим чередом. Но суть не в этом. Мусатов интересовался вами, что да как, не собираетесь ли на жительство в Воронеж, в город, так сказать, густо населенный отставниками, там климат не то что у нас... Одним словом, уполномочил он меня поговорить с вами, товарищ полковник, не согласны ли вы принять вот этот портфель. Колхозники все знают, проголосуют руками и ногами.

Возле самого окошка ярко светила электрическая лампочка. На обочине, под голым кедром, стояли два человека. Михаил Сергеевич присмотрелся и без труда узнал Бородину и Наташу. «Вот ты, голубушка, с кем задерживаешься! Как же это он пронохал, ведь в селе то она только раза три была?» И, повернувшись к Околицыну, сказал:

— Портфель предлагаешь? Ну и придумал. Какой из меня хозяин, руководитель?

Околицын посуловел:

— Значит, не согласен? Конечно, пенсия есть, квартира есть, что ж вам, военным, еще требуется? Эх вы, Михаил Сергеевич, я-то думал: уйдет в отставку Водолазов, и мы его сразу засватаем. Колхоз знает, людей знает, коммунист. Что же еще требуется для председателя! Значит, ошибся я.

Водолазов вспыхнул:

— Ошибся, говоришь? В ком? Во мне? Да не работы я боюсь, Матвей Сидорович... Есть такие люди, предложи им пост министра, согласятся: «Будет сделано». Я так не могу, просто совестно... Вот ушел в запас, понимаете — в запас! — подчеркнул Водолазов, боясь, что Околицын произнесет слово «отставник». — Почему ушел? Да потому, что нынче и километры не те, и скорость не та. Не поспевал я со своим мотором. Зашалял он у меня, горячего, что ли, не хватает. А так, на средней скорости, идти... совестно.

— Ну-у! — удивился Околицын. Он потоптался у двери, вздохнул: — И мне совестно.

Санька мой что-то заметил, а я это самое «что-то» не мог узреть. Значит, зря титул председателя ношу. — Околицын вдруг улыбнулся: — Неужто и в армии полусветы водятся?

— А где их нет? — Михаил Сергеевич хотел было рассказать о себе, как сробел втереть предложение лейтенанта Шахова, но, подумав о том, что Матвей Сидорович никогда не служил в армии и все равно не поймет его, повторил: — Где их нет...

Алеша, увидев мать на улице, застучал в окно.

— Перестань, Алеша! — крикнул Водолазов.

— Деда, мама там... Вот она стоит с дядей военным.

— Сейчас придет, — успокоил мальчика Михаил Сергеевич, — не стучи, окно разобьешь.

Околицын, видя, что он как будто становится лишним, поспешил сказать:

— Значит, нет желания?

— Не в желании дело, в совести.

— Понятно, — покачал головой Околицын. — В отставниках покойнее.

— Я не отставник! — возразил Водолазов. — Я в запасе. Это большая разница. Пока человек живой, пока бьется у него сердце, пока он понимает, где лево, где право, он не может быть в отставке. Что значит отставка! — вскрикнул он. — Черт придумал такое обидное слово или какой-то холодный канцелярист. В запасе я, а запас, как говорится, кармана не трет, больше скажу: запас — это резерв, а без резервов ни одно сражение не может быть выиграно.

...На второй день утром, когда Наташа собиралась на работу, Водолазов рассказал ей о разговоре с Околицыным.

— Ты как думаешь: справлюсь? — Он выпрямился во весь рост — хрустнуло в лопатках.

— Если есть желание работать, — справишься, дядя.

— Желание! Ты, Наталья, не знаешь, как меня мучает проклятый молоточек!

— Какой молоточек?

— Да вот тут, в голове сидит. Долбит беспощадно: «Отставник, отставник». А какой я отставник? В запасе я.

— Тяжело без работы?

— Адовы муки, — признался Водолазов. — Хуже казни. Не выдержу я, Наталья, такой жизни... Хожу вот на строительство водоема, ребятам советом помогаю. Но это не то, не то... — Он хотел спросить, где она познакомилась с майором Бородиным, но не стал этого делать, молча оделся.

Наташа удивилась:

— Ты куда собрался?

— В полк, новый командир пригласил на совещание офицерского состава. Вспомнили, это хорошо. Пойду подышу родным воздухом.

## V

Полковник Гросулов пробыл в полку два дня. Подготовкой к выходу в поле батарей он почти не интересовался. Это удивило прежде всего Крабова, удивило потому, что раньше с Петром Михайловичем так не бывало: уж кто-то, а Гросулов мог взять быка за рога, и горе тому командиру, у которого обнаружит недостатки, упущения по службе. А на этот раз ничего подобного полковник не делал. После совещания сразу уехал в Нагорное. Утром вновь появился с представителем штаба округа полковником инженерной службы. В дивизионах и батареях шла напряженная подготовка к тактическим занятиям: командиры батарей уточняли учебные задачи, артмастера выверяли орудия, водители тягачей тренировались в действиях на марше, в занятии огневых позиций, майор Бородин инструктировал взводных апитаторов. Бородин вообще вертелся как белка в колесе. Он успел провести заседание партийного бюро, на котором обсудили вопрос о пересмотре социалистических обязательств, и это решение уже претворяется в жизнь — личный состав берет новые обязательства, каждый норовит, как заметил Крабов, овладеть профессией дальномерщика, планшетиста, а некоторые — это уже штучки лейтенанта Шахова — обязались изучать радиоэлектронику...

Гросулов будто и не замечал поднятую суматоху. Он ходил с инженер-полковником по территории парка: что-то измеряли, что-то подсчитывали, о чем-то спорили, несколько раз заходили в помещение винтовочного полигона и здесь опять орудовали стальной рулеткой и опять подсчитывали и спорили — одни, без Громова.

Вечером инженер-полковник уехал. Гросулов, разыскав Крабова — он был в учебном городке, — пригласил к себе в машину. «Садись, Лев Васильевич, подвезу к дому», — сказал он. Ехали молча. Когда же остановились напротив квартиры Крабова, Гросулов вышел из машины, захлопнул дверцу, взял под руку Крабова: «Вот что, дорогой мой охотничек, советую тебе крепко заняться изучением литературы о ракетах. Не вечно же тебе ходить в замах. Понял?» — Он не стал вдаваться в подробности, но для Крабова и этого было достаточно, чтобы понять, на что намекнул Гросулов...

...Крабов, одетый в полосатую пижаму, с взъерошенными волосами, делая какие-то по-

метки на полях книги. «Да, приятно, приятно, — рассуждал он. — Громов не знает, не догадывается... Ну и хорошо, хорошо». Крабов был так увлечен своим делом, что не услышал, как вошла Елена, остановившись в раздумье: раньше Лева не занимался по вечерам дома, сегодня, едва возвратившись со службы и наскоро поужинав, уже что-то пишет.

Елена присела на краешек кровати и задумалась над своей новой ролью. В клубе готовились к постановке одноактной пьесы. По пьесе слепой сын работает над диссертацией, а мать читает ему литературу и печатает на машинке. Сын очень нервный и обидчивый. Мать делает все, чтобы он закончил работу. Роль трудная, Елена после каждой репетиции чувствует себя усталой. «Ленка, крепись! Это хорошо, что ты у меня общественница. Жена офицера должна быть такой». Она повела глазами вокруг, разглядывая вещи: тюлевую занавеску на окне, синий абажур настольной лампы, этажерку с книгами, настенный коврик («Уже старенький, надо бы новый...»), фотографию в легкой картонной рамке («Это когда же мы снимались? Да, да, на второй день после свадьбы. Он тогда еще был капитаном, ловким быстрым, басовитым...»), два стареньких полумягких стула с потускневшей и потертой обивкой («Мы их купили еще в Белой Церкви»). Глядя на стулья, она вдруг подумала: «Как быстро летит время! Старые вещи... Где тот мастер, который их делал? Возможно, его уже нет. Вещи переживают людей». Елена тихонько встала, взяла со стула тужурку мужа, осмотрела пуговицы, все ли на месте. Одна еле держалась. Елена потянулась к шкатулке, стоящей на тумбочке у изголовья кровати, рукавом задела Крабова.

— Это ты? — Он даже и не повернулся, только чуть-чуть приподнял голову.

— Сиди, работай, мешать не буду.

— Ты была на репетиции? — Лев Васильевич перебрал несколько страниц и на полях возле первого абзаца поставил два восклицательных знака.

Через плечо Елена хорошо видела эти жирные, похожие на колья знаки. «Как первоклассник», — улыбнулась она, открывая шкатулку.

— Нравится тебе роль? — Лев Васильевич разогнул спину и снял очки.

— Очень, — ответила Елена, пришивая пуговицу. Лев Васильевич вновь надел очки и повернулся к ней:

— Серьезно?

— Да. — Елена откусила зубами нитку, повесила тужурку на место. — Ложись спать, ведь завтра рано вставать.

— Я не поеду на занятие. Громов сам будет проводить, решил выступить в роли командира батареи. Благоглупость! — Он поднялся,

сунул руки в карманы пижамы, скривил тонкие губы.

Муж вдруг показался Елене маленьким-маленьким. Она сравнила его с Бородиным: Степан — великан, но немного беспомощный, Лева же цепкий, беспокойный, и он нравился ей таким.

— Честно говоря, после ухода Водолазова я должен быть командиром полка. Опыт, знание артиллерии, строевой службы, — сказал Лев Васильевич. — А вот не назначили! Ничего, Елена, свое возьму. — Он наклонился к жене, прошептал: — Гросулов, Петр Михайлович, говорит: тянись изо всех сил. Вот так-то. — Он уселся ее рядом, почувствовав под руками мягкие округлые плечи, начал рассматривать ее лицо: нос слегка вздернут, губы чуть припухлые, глаза с кристалликами в зрачках...

— Что ж молчишь?

— Не знаю, что и сказать. Может быть, будем спать, завтра тебе рано вставать, — повторила она.

Он обнял ее, поцеловал и, словно стыдясь этого, вскочил:

— Ты ложись, я посижу...

Когда она укрылась одеялом, произнес:

— Наивный.

— Кто?

— Громов.

— Почему?

— Сегодня он распорядился, чтобы Узлов один управлял взводом на занятиях. Хватит он с ним горюшка... Такого человека не воспитаешь. Узлов неисправим.

Работал Крабов долго. Лег, когда в соседнем дворе пропел петух. В комнате было темно, но постепенно он пригляделся и начал различать вещи. Однако мысли его витали за пределами квартиры. Он был свидетелем недавнего разговора Громова с командиром батареи капитаном Савчуком. Лейтенант Узлов проводил политические занятия с личным составом первого взвода. Материал он изложил довольно толково, живо. Когда артиллеристы покинули учебный класс, присутствовавший на уроке Савчук спросил Узлова: «Вы серьезно решили уволиться из армии?» Лейтенант резко ответил: «У меня впереди жизнь, товарищ капитан. Я не хочу здесь прозябать. Мне нужны знания, специальность. А кто мне их в полку даст? Вы? Не дадите!» Это Савчуку показалось оскорбительным: он не имел высшего образования, но за плечами были два фронтовых года (попал Савчук на войну шестнадцатилетним мальчишкой), артиллерийское училище, восемь лет службы на командирских должностях — разве все это ничего не стоит! И, конечно, командир батареи, всплыв, крепко отчитал Узлова, назвал его слепым, самовлюбленным франтом. Случай этот стал известен Бо-

родину, потом дошел до Громова. Командир полка вызвал Савчука. «Чем занят Узлов в свободное от службы время?» — спросил Громов у капитана. Тот пожал плечами: о каком свободном времени спрашивает командир полка, разве оно есть у военных? Удивительное дело — Громов очень спокойно доказал капитану, что есть и обязательно должно быть и что долг командира — помочь подчиненному разумно использовать это время. «Вы посоветуйте Узлову принять участие в художественной самодельности», — сказал Громов. «Но ведь там одни солдаты, а он офицер», — промолвил Савчук. Эти слова покорили командира полка, и он перешел на повышенный тон: «Ну и что? Разве это зазорно?» Громов долго разъяснял капитану, что солдаты нынче грамотные, понимают, где офицер допускает панибратство, где проявляет подлинные товарищеские отношения...

— Посмотрим, посмотрим, — прошептал Крабов. Он попытался уснуть, но через минуту вспомнил, как Бородин после совещания горячился перед Громовым, отстаивая предложение Шахова, и открыл глаза. «Ох и схватятся они когда-нибудь! Это уж точно, характер у них как будто бы один. Посмотрим, посмотрим...»

Ему показалось, что жена не спит. Елена действительно не спала.

— Лева, знаешь, о чем я думаю? — сказала она вкрадчивым голосом.

— Нет...

— Тяжело Степану одному с Павликом. Давай возьмем мальчика к себе, на время, конечно.

Разговор о детях был самым щекотливым, он всегда приводил к нежелательным для Крабова упрекам, воспоминаниям. Ему не хотелось, чтобы и на этот раз так произошло, и он уступил ей.

— Можно. Хлопец он тихий, послушный, не то что отец.

— Согласен?

— Согласен. Но как Степан? Ты же его знаешь, упрямый калмык, не услышишь ни стонаний, ни жалоб, для него весь мир — весна.

— Уговорю...

Крабов глянул в окошко. Занималась заря.

— Пойду в штаб, выход в поле намечен по тревоге...

Елена не отозвалась. Он быстро оделся, не включая света, тихонько прикрыл за собой дверь.

В эту ночь не один Крабов «страдал» бессонницей. Очень поздно покинул казарму Рыбалко. Уходя, старшина проверил, все ли солдаты и сержанты спят, хорошо ли они приготовили обмундирование, чтобы утром быстро

одеться, взять оружие и по команде выйти на улицу, построиться. Будто бы все было на месте.

Кто мог бы подумать, что Цыганок, этот «ловчила» и «художник», рядовой Цыганок способен проникнуться заботой о том, как бы его взводу оказаться первым в парке, утереть нос остальным взводам и батареям!..

Вечером на спортивной тренировке Цыганок встретил знакомого писаря из штаба полка. Поговорили о том о сем. Цыганок рассказал, как на совещании офицерского состава «чехвостили» лейтенанта Узлова и что жаль ему этого парня. Была бы его на то воля, он, Цыганок, отпустил бы Узлова на все четыре стороны, пусть двигает науку, коли имеет тягу к ней. «Завтра он будет самостоятельно управлять взводом, растеряется и опять его вызовут на коврики», — посочувствовал Цыганок. Писарь в тон ему сказал: «А сбор будет по тревоге, определенно накуролесит».

Цыганок сразу сообразил, как помочь лейтенанту. Он встретил Узлова возле казармы, сообщил: «Товарищ лейтенант, новость: выезд в поле состоится по тревоге. Сбор в парке. Это я пронюхал у своего дружка, писаря из штаба, особый секрет». Узлов вначале хотел сделать выговор солдату за болтовню, но передумал, лишь строго бросил: «Хватит вам сочинять, идите в казарму».

Цыганку не раз приходилось собираться по тревоге, он понимал, как это происходит.

Лежишь под теплым одеялом, на зорьке пятый сон видишь, и тут вдруг, словно пушечный выстрел, грохнет:

— Тревога!

И еще:

— Тревога!

И еще раз для тех, которые со сна не поняли:

— Тревога!

Одеяло летит к потолку, хватаешь обмундирование, и будто бы простое, привычное дело — надеть брюки, гимнастерку, сапоги. Но тут, как на грех, штанины почему-то оказываются узкими, ноги не просунешь, схватишь сапоги — глядь, не свои, соседа, а тот уже чертычается, потому как у него лапа на три номера больше... При подъеме по тревоге главное — вовремя одеться, чтобы все было твое — от портянки до ремня. А на все отводятся секунды, очень малые, как миг. Не уложишься в положенное время — попадет и тебе и командиру твоему от старшего начальника, ибо тревога — это бой, кто же знает, что случилось: учебная тренировка или на самом деле где-то враги нарушили покой страны. И тут уж, солдат, не мешкай, не подводи своего командира, пулей мчись в строй и жди, когда тебя позвонят...

Цыганок за себя не беспокоился, на этот раз он не опоздает в строй. После отбоя, когда в казарме установилась тишина, когда справа и слева послышалось похрапывание, то легкое, то с высоким запевом, когда ушел довольный порядком старшина, Цыганок тихонько взял свое обмундирование, спрятал под одеяло: на зорьке он незаметно оденется и по сигналу тревоги первым окажется в строю... «Ну хорошо, я не опоздаю, а как остальные? Один солдат — это не взвод. Умненько же придумал, отличиться захотел! По одному солдату полку оценку не ставят, и Узлова не похвалят, если только я один уложусь в норматив». Он начал в уме прикидывать, кто из солдат взвода по тревоге может опоздать в строй. «На зорьке помогу им», — решил Цыганок. Теперь он боялся, как бы не проспять. Ему даже и в голову не приходило, что он поступает неправильно: желание, чтобы взвод оказался первым в парке, чтобы о лейтенанте Узлове не говорили плохо, вытеснило из головы все другие мысли. Он уснул с убеждением, что проснется как раз в нужное время. И Цыганок не проспал. Часов у него не было, но в окно светила луна. Серебряный шар, окантованный желтоватым кругом, висел как раз возле трубы котельной. «Пора», — решил Цыганок. Он на цыпочках ходил от кровати к кровати и подсовывал солдатам под одеяла обмундирование, шепча на ухо каждому: «Скоро подъем по тревоге, одевайся незаметно. Почему-то все понимали его с полуслова. Только Волошин не понял, он протер глаза, попытался вскочить на ноги, но Цыганок остановил:

— Не дури, Пашенька, одевайся под одеялом.

Волошин покорно взял брюки.

А Цыганок уже прикидывал, кого бы еще осчастливить. Во сне прочмокал губами ефрейтор Околицын. «Санька и без того первым оденется», — понимающе определил Цыганок и лег на кровать. Желтая корона луны предвещала морозный день. Но не об этом подумал Цыганок, он определил: вот-вот в казарменную тишину ворвется слово «тревога».

«Вот пройдоха, все он знает. Надо предпринять какие-то меры», — думал Узлов о Цыганке, глядя на Шахова, склонившегося над книгой. Узлов пытался вообразить картину сбора батареи. Вот он бежит к казарме. Солдаты уже на улице. Он строит взвод, смотрит — нет в строю Волошина, где-то замешкался Цыганок... В парк он приводит взвод последним. Подполковник Крабов, наклонившись к Громову, что-то шепчет, кивая головой в сторону Узлова. «Вышло по-моему», — скажет замполстрой. И все — и солдаты, и офицеры, и секретарь партийного бюро, и сам Громов — поймут: нельзя доверять ему взвод.

Невеселые мысли лезли в голову. Узлов не ожидал, что командир полка предоставит ему полную самостоятельность в управлении взводом. А тут еще сбор по тревоге. Шахов, наверное, знает об этом, но молчит. Узлов резко поднялся, задел плечом гитару, она издала дребезжащий звук.

— Что ты будешь делать, когда все книги перечитаешь?

— Стихи сочинять, — ответил Шахов, не меняя позы.

— Для этого талант нужен, Игорек.

— Твой дядя сочиняет же.

— Положим, мой дядя стихи не сочиняет, а делает, или, как он сам говорит, составляет.

— Не мешай, Дима, займись чем-нибудь или ложись спать.

— Значит, я баюшки-баю, а ты будешь готовиться к завтрашнему делу. Спи, Узлов, все равно тебе быть битому. А я не хочу, чтобы Крабов на меня пальцем показывал: видите, кому доверили взвод!

Шахов захлопнул книгу, устремил свои спокойные глаза на Узлова.

— Ты о чем? Дрейфишь? Не вижу причины. К занятиям подготовился — справишься.

— Разве не знаешь — завтра сбор по тревоге.

— Кто тебе сказал?

— Цыганок.

Шахов захохотал.

— И ты поверил? Этот баламут такое может сказать, что потом всем полком не разберешься. Ты это учти, за ним такое водится, глаз с него не спускай.

Когда легли спать, Узлов сказал:

— Может, нам только кажется, что Цыганок баламут, в нем есть что-то и хорошее.

— Есть, — коротко отозвался Шахов. — Есть, — повторил он.

Среди ночи Узлов неожиданно поднялся, включил настольную лампу, достал из тумбочки книги, загремел стулом. Шахов высунул голову из-под одеяла.

— Ты что, Дима?

— Спи, брат, не мешай догонять порядочных людей.

Перед рассветом Шахов вновь проснулся. За столом уже не было Узлова, и его кровать была пуста.

— Сумасшедший, — улыбнулся Шахов и потянулся к часам: до подъема оставалось еще полтора часа. — Заело пенсионера. Ну-ну, старайся.

## VI

Капитан Савчук прибыл в артиллерийский парк в то время, когда там уже находились Громов и Бородин. Минуту спустя сюда пришел Крабов. Он отозвал в сторону Савчука и озаченно спросил:

— Как твой народ, не подведет командира?

Савчук посмотрел на часы: вот-вот должен прибыть личный состав батареи. Капитан опасался за лейтенанта Узлова... Формально Савчук сейчас не отвечал за личный состав батареи, Громов взял на себя все его обязанности. Но разве прикажешь сердцу? И не успел Савчук ответить Крабову, как на освещенной электричеством дороге, ведущей в парк, показались солдаты первого взвода. Узлов, придерживая рукой бинокль, бежал впереди. У ворот он подравнял строй и ускоренным шагом вошел на территорию парка.

Крабов покачал головой:

— Что-то тут не чисто, товарищ капитан, не чисто, раньше всех прибыл.

— Случаи всякие бывают, — ответил Савчук, наблюдая, как лейтенант докладывает командиру полка, и внутренне радуясь этому.

Громов, выслушав Узлова, распорядился, чтобы тот проверил, все ли необходимое захватили с собой солдаты.

— Ручаюсь, товарищ подполковник, полный порядок. — Дмитрию хотелось, чтобы командир полка как-то отметил, что он первым со взводом прибыл на место сбора. Но Громов спокойно сказал:

— Выполняйте указание, товарищ лейтенант.

— Есть! — Он обошел строй, придирчиво осматривая каждого. Не найдя ничего такого, что можно было бы поставить в укор солдатам, занял место на правом фланге.

Прибыли второй и третий взводы. Мимо пробежал Шахов. Дмитрий бросил ему вслед:

— Игорек, а мы уже тут. — Узлов был доволен, что солдаты так дружно собрались по тревоге и он первым оказался в парке, все воспринималось им так, словно он был в ответе за поступки людей батареи. Шахов при повороте поскользнулся, чуть не упал. «Ах, как он неловко, торопиться надо не спеша», — вспомнил Узлов поговорку, которой часто пользуется Громов. Водитель бегал вокруг тягача и никак не мог завести мотор. «Свечу, свечу посмотри»; — мысленно подсказывал Узлов. Он готов был помочь шоферу, но — стоял в строю. Ему казалось, что сам командир полка слишком вяло отдает распоряжения офицерам. А Бородин, о чем-то беседуя с ефрейтором Околицыным, ведет себя так, будто собрались в кинотеатр, а не на полевые занятия. Обратил он внимание и на Цыганка, замыкавшего левый фланг. Солдат показался ему скучноватым. Узлов, желая как-то ободрить Цыганка, подошел к нему, спросил: — Холодно?

— Теперь уже все позади, теперь, товарищ лейтенант, порядок, мы взяли верх.

...Батарея была выстроена в линию поорудийно. Громов вызвал к себе командиров

взводов. Савчук пристально следил за действиями командира полка.

— Учись, Петр Захарович, наука старших — родная сестра академии, — посоветовал Бородин Савчуку.

К решению Громова лично провести тактико-строевые занятия с первой батареей офицеры отнеслись по-разному. Одни видели в этом желание командира полка найти наиболее результативные формы работы с подчиненными — так думали Сизов и Бородин. Другие считали, что Громов по неопытности взялся за это, — так тайне рассуждал Рыбалко, опасаясь, что Громов может допустить ошибки, и тогда пойдут нехорошие разговоры о командире полка. Наконец, были и такие, которые усмотрели в этом корысть, — так рассудил Крабов, хотя не раз скрепя сердце признавался себе: «А ведь он, пожалуй, наведет порядок».

Громов знал о таких пересудах, шутиливо спрашивал у Бородина: «Как, секретарь, дело на меня еще не завел?» Бородин отвечал: «Не волнуйся, командир, вздохи бывают разные, и оглядываться на каждый из них не следует».

...Громов окинул взглядом дымящуюся поземкой холмистую степь, дорогу, убегающую темной лентой к горам, по которой он поведет батарею, начал ставить задачи взводам:

— «Противник», прикрываясь мелкими группами пехоты с танками, отходит в западном направлении, одновременно выдвигая резервы из глубины своей обороны...

Лейтенант Узлов не сводил глаз с командира полка. Громов пытался избежать его взгляда, но ничего не получалось: куда бы он ни поверачивал голову, через секунду-другую подполковник снова видел два неподвижных карих кружочка. Почему-то замечались одни глаза, немного грустные и в то же время выражающие непонятный восторг.

— Я со взводом управления следую в голове колонны, — заключил Громов и почувствовал страшную усталость, и не от напряжения, которое ему потребовалось, чтобы продуманно и последовательно изложить задачи, а больше оттого, что все время видел узловские глаза. Он задержал лейтенанта, спросил:

— Что это вы так на меня смотрели?

— Запоминал ваш приказ, товарищ подполковник.

— Ну-ну, желаю успеха, — сказал Громов и, подойдя к Крабову, сказал: — Заметили, как лейтенант Узлов слушал приказ? Старается. Думаю, мы не ошиблись, назначив его командиром взвода. Первым по тревоге прибыл в парк.

— Неслыханное дело! — покачал головой Крабов. — Сразу в герои попал.

Бородин засмеялся:

— Подвел, значит. Вот так Узлов!.. Он еще себя покажет.

— Будем ждать, товарищ майор, — отпарировал Лев Васильевич с оттенком официально-сти. Он не ехал на занятия. Громов, пожал ему руку, открыл дверцу штабной машины.

— Ждать можно долго, а мы не из таких, вернее, нам нельзя. Прошу, капитан, — пригласил он к себе Савчука и крикнул Бородину: — Значит, как договорились, будете в первом взводе!

Цыганок толкнул в бок Волошина и, стараясь перекричать шум моторов, выкрикнул:

— Пашулькин, держись, с нами партийный бог!

Сержант Петрищев предложил Бородину сесть в кабину.

— Нет, мое место в кузове, сегодня выступаю в роли взводного агитатора. — Он легко перемахнул через борт.

Цыганок покосился на Околицына.

— Такой видный парень, а не справился с комсомольским поручением. Получается так: агитировать труднее, чем стрелять из орудия.

— Что вы, Околицын хороший агитатор, никто его не освобождал от поручения. Это я так, пошутил, — сказал Бородин.

— Разве? — удивился Цыганок. — Вот бы никогда не поверил, что пошутили, товарищ майор.

— Почему?

— Потому что вы — партийный секретарь. Вы серьезный человек.

— Вот как! — захохотал Бородин. — Знаете, вы мне напоминаете одного солдата... На учениях это произошло. К генералу прикомандировали молоденького ординарца, первогодка. Служит он у генерала день, второй, третий, а на четвертый солдата отзывают в батарею. Друзья спрашивают: «Ну как, крепко тебе досталось от генерала?» Солдат ответил: «От генерала? Какой же это генерал! Говорит мне: «Пожалуйста, Петя, принеси мне поесть». Или: «Петя, садись, чайком побалуемся». Один раз даже сыночком назвал. Батько мой так со мной не обращался. А вы говорите: «Генерал». Видите, как он думал о генерале. Молодо-зелено, вот и думал так, — заключил Бородин.

— Побаивался, значит! — по-своему рассудил Цыганок.

— Нет, просто думал: коль генерал, значит, надо бояться его, — возразил Околицын. — А того не понимал, что генерал такой же советский человек, как и все мы, он солдату отец, товарищ боевой, если ты стараешься — похвалит и чайком угостит, если ошибся — поправит, ну а если заартачишься против службы — накажет. Тут уж обижайся на себя.

Цыганок смахнул с бровей снег, протер глаза, глубокомысленно подхватил:

— Все они такие, командиры: сержант ли, офицер или генерал — им не балуй в службе.

Потому что служба для военного — хлеб насущный. А что, не так?! — И, не встретив возражения, Цыганок начал рассказывать, как с ним разговаривал Громов в артиллерийском парке.

— Сапоги я добровольно сдал, потом получил за милую душу наряд вне очереди. И насколько не обиделся. Служба... Не балуй, солдат, коли ты присягнул на верность народу...

Бородин, пряча улыбку, не мешал высказаться солдатам, ему приятно было сознавать, что начатый им разговор задел за живое.

В кармане ефрейтора Околицына лежал текст подготовленной беседы. Молодой агитатор готовился к ней старательно и теперь ждал момента, чтобы обстоятельно рассказать, как нужно вести себя на марше. Но болтливый Цыганок не туда гнул, да и секретарь партбюро затеял не тот разговор. Чтобы как-то остановить Цыганка, он крикнул:

— Присягнул, а сам норовишь, как бы самоволку совершить. Мы на поруки взяли тебя. Соображаешь?

Цыганок с обидой в голосе попытался оправдаться:

— О самоволке я давно забыл. Бесчувственный ты, Саня, разве не замечаешь — я тихонько перевоспитаюсь...

Солдаты заспорили. Лица их раскраснелись. Околицын забеспокоился. Вдруг упрекнул его Бородин: что же ты, агитатор, позабыл о запланированной беседе? Он наклонился к Бородину, спросил:

— Как же, начинать или нет?

Майор взял его руку, крепко стиснул:

— Так и должно быть, очень хорошо!..

...В начале занятий ничего особенного в действиях Громова Савчук не видел. Командир полка (как и он, Савчук, раньше делал) отдавал распоряжения, команды, и батарея, повинувшись его воле, продвигалась по заданному маршруту. При подходе к замерзшему озеру Глухое (прошлым летом Савчук, Крабов и Гросулов часто здесь рыбачили) Громов по радию передал сигнал «Воздух» и приказал увеличить скорость. Батарея расчленилась, дистанция между тягачами стала больше.

— Сигнал «Воздух» отменить! — распорядился Громов. Через три-четыре минуты взводы приняли прежнее положение. Громов что-то отметил на планшете, вновь подал сигнал воздушной тревоги. Савчук посмотрел в бинокль: тягачи увеличили скорость, растягивались по глубине колонны. Отметил мысленно: «Красиво управляет».

Дорога вела в лощину, потом круто пошла в гору. Командирский тягач, преодолев крутой подъем, выскочил на самую вершину вала. Здесь стоял указатель с надписью: «Заражено». Громов заметил, как Савчук насторожился: видимо, капитан беспокоился, какое же решение

примет командир полка. Сейчас необходимы быстрые распоряжения. Громов спокойно наклонился к переговорному устройству и негромко, но четко подал команду:

— Газы! Накидки! Уменьшить скорость, увеличить дистанцию!

Темп учений нарастал. Теперь Савчук увидел в действиях Громова то, чего он раньше не замечал, — строгую последовательность в отработке учебных задач и какое-то непонятное для него, Савчука, хладнокровие: ко всему, что происходило вокруг, он относился спокойно. Капитану казалось, что подполковник очень медленно отдает распоряжения, а люди в то же время укладываются в нормативы, успевают в срок выполнять команды.

Выслав в рощу, видневшуюся в полукилометре от наблюдательного пункта, имитационную команду и сообщив Шахову основное направление стрельбы, наименьший прицел, Громов начал наблюдать за развертыванием огневых взводов. Он стоял в кузове тягача, время от времени прикладывая бинокль к глазам. На холмистой местности плясали снежные вихри. Савчук догадался: это на предельной скорости мчатся тягачи к огненным позициям. Он посмотрел на часы: уложатся ли в отведенное время его подчиненные? В азарте опять забыл, что сейчас батареей управляет не он, а Громов. Один тягач запетлял по черной плешине и остановился на самом видном месте. Из кузова выскочил офицер. Это был Узлов. Савчук узнал его и невольно вскрикнул:

— Узлов!

— Спокойно, капитан, — сказал Громов. Он попросил у Савчука спички, но не стал закуривать, поднял бинокль, хотя и без того достаточно хорошо было видно, как вокруг тягача суетились артиллеристы, стараясь сдвинуть машину с места. Их объезжали другие расчеты, несясь на бешеной скорости по снежной целине. Узлов бросился в кабину. Через минуту он снова выскочил оттуда и вместе с солдатами начал толкать тяжелый тягач. Но тщетно: машина буксовала. Секундная стрелка на часах бежала так быстро, что Савчук не мог молчать:

— Чудики доверили взвод.

Громов поправил ушанку на голове, в сердцах бросил:

— Чудики разные бывают, капитан. Ничего, сдюжат заминку.

Узлов — это видно было хорошо — снял с себя шинель, бросил ее под колеса машины. Тягач, вздрогнув, сорвался с места. Громов передал коробок со спичками Савчуку, сказал:

— Видите, уложились в отведенное время. В бою надо быть спокойным, расчетливым. Главное — рассудок не терять. Терпение, капитан, не каждому дано, но стремиться к этому надо.

Савчуку стало неудобно за свою нервозность. ...На занятой позиции батарее пришлось находиться около часа. Потом все повторилось сызнова: головная походная застава, используя огонь орудий, сбила «противника» с занимаемой позиции и двинулась вперед. Громов приказал начать выдвижение макетов танков, обозначающих атаку «противника». Батарея с ходу приняла боевой порядок. Тягачи ушли в укрытие.

Шахов готовил данные для ведения огня. Он находился в наскоро открытом снежном окопе. К нему подошел Узлов.

— Дима, ты что, под машину попал? — спросил Шахов.

— Это я, Игорек, с негодем боролся.

— С каким?

— Да с тем, что тянул меня на пенсию, — засмеялся Узлов.

— Значит, мосты взрываешь к пенсии?

— Глупости, Игорь! Один умный партиец сказал: не пройдет и двадцати лет, как люди начнут стыдиться слова «пенсионер». А мне только двадцать четвертый пошел... — Он зябко повел плечами и погрозил в сторону, где стояли тягачи: — Уж я этому водителю прочитаю сегодня лекцию, как готовиться к выходу в поле. На ледок наскочили — и тягач забуксовал, а у этого разгильдяя никаких подручных материалов не оказалось, шляпа!

...Ефрейтор Околицын уже несколько раз порывался провести беседу, но обстановка так быстро менялась и люди так заняты каждый своим делом, что все паузы длились не более пяти — десяти минут: разве за это время можно что-нибудь рассказать? Да и мешал Бородин: секретарь не отступал от него ни на шаг и занимал огневинок какими-то случаями, интересными и даже смешными, но, по убеждению Околицына, незначительными.

Волошин, ежась на ветру, глухо буркнул себе под нос:

— Все спешат... А куда? Лейтенант Узлов испортил себе шинель. Кому учения, а кому простуда.

— Вы так думаете? — спросил Бородин и почему-то посмотрел на Цыганка. Тот хихикнул:

— Пашка?... Он никак не думает, он просто видит.

— Видим мы все, а понять то, что видим, не каждый из нас может, — отозвался Петрищев, следя за местностью, откуда должны появиться танки «противника».

— Верно, — подхватил Бородин, почувствовав, что именно сейчас и нужно рассказать о поведении лейтенанта Узлова, что лучшего материала для агитатора, как этот случай, и не найти.

— Я читал рассказ, который называется «Секунда». Очень мне запомнился. — Бородин сел на лафет, достал из кармана папиросы.

«При чем тут рассказ?» — подумал Околицын, досадуя на секретаря, что он и на этот раз, видно, помешает провести запланированную беседу.

— На фронте было это, — продолжал майор. — Кончились патроны у нашего пулеметчика. Он говорит подносчику: «Валяй за патронами, одна нога там, другая здесь. Понял?» — «Будет сделано», — ответил ему подносчик. Побежал. На обратном пути встретил друга. Тот говорит: «Остановись, Миша, дай прикурить». Миша зажег спичку. Секунда на это потребовалась. И что же вы думаете? За эту секунду фашист догадался, что у нашего пулеметчика нет патронов, выскочил и швырнул гранату. Ноги отшибло бойцу. И как потом клял себя Миша! Ведь он опоздал всего на одну секунду... Наш Узлов не подвел батарею. Он вовремя занял огневую позицию. Вот так, товарищ Волошин. Простуда тут ни при чем.

Никто не отозвался. Лейтенант Узлов, махая руками, подпрыгивал возле своего окопчика: видимо, ему действительно было холодно. Первым это понял Околицын. Он было рванулся к лейтенанту, чтобы предложить ему свою шинель, но тут Узлов подал команду:

— По ме-ста-ам, приготовиться!

Цыганок хлопнул по плечу Волошина:

— Ну, божья простуда, поднимайся. Сейчас мы с тобой будем мокренькими...

Околицын припал к прицелу. Он увидел, как из рожи, подпрыгивая на неровностях, движутся танки, но подумал о Бородине: «Складно у секретаря получается. Я ту секунду тоже не забуду».

...Бой закончился под вечер. Было еще светло. Тусклое холодное солнце опускалось к горизонту, окрасив горы розовым цветом.

Батарея в походной колонне ожидала сигнала, чтобы тронуться в обратный путь. Командиру полка подали «газик». Подошел Бородин. Громов сказал Савчуку:

— Разбор занятий сделаем завтра. Поехали, секретарь.

Шофер включил печку, и в машине потеплело.

— Ну как, Степан Павлович, подучил агитатора? — Громов отвернул воротник полушубка и повернулся к Бородину, предлагая закурить.

— Кое-что он понял... Подумать только, целую лекцию намеревался прочитать на марше! А виноваты в этом мы, командир: все норовим по каждому случаю речь закатить часика на два, да обязательно, чтобы большая аудитория была. Вот взводные агитаторы и берут с нас пример... Учить надо людей.

— Пробуем, пробуем, секретарь. Не знаю, как со стороны-то получилось?

— Капитан Савчук доволен, да и командирам взводов хорошая зарядка. Узлова надо отметить...

— Подождем. Поступок-то его смахивает на мальчишескую лихость. Согласен?

— А что вы Савчуку говорили об Узлове?

— Он что, рассказал?

— Я же секретарь партийной организации. Передо мной народ — как на исповеди. — Бородин расстегнул полушубок — тепло и до него дошло. — В общем-то я согласен с вами, Сергей Петрович, не надо отмечать, но как-то все же следует поднять у него дух, сказать о нем доброе слово. Рапорт ему еще не вернули?

— Жду, пока сам за ним придет, если не забыл.

— Ну что ж, тоже верно.

Въехали в село. Бородин предложил Громову зайти к нему на квартиру. Он открыл дверцу, прыгнул на утопанный снег и показал на ворота:

— Четвертый год здесь живу. Привык, вроде бы так и надо. А вообще-то, Сергей Петрович, пора нам соорудить домишко для офицерского состава. Хозяйственным способом: деньги государственные, материалы — тоже. — Он рассмеялся. — Так же в некоторых-то частях строят.

С пригорка по тропинке, ведущей к домику Водолазова, спускалась женщина. Первым ее заметил Громов. Что-то знакомое было в походке этой женщины. Бородин перехватил взгляд командира полка, пояснил:

— Прораб со стройки. Скоро ты с ней познакомишься, командир.

— Каким образом? — спросил Громов, не в силах оторвать взгляда от женщины: чем больше он смотрел на нее, тем больше утверждался в мысли, что где-то видел ее.

— Квартиру выделишь мне, тогда отвечу, каким образом, — пошутил Бородин.

Женщина поскользнулась, выронив из рук портфель. Она заметила офицеров. Бородин помахал ей ушанкой. Она была сравнительно далеко, и Громов не смог четко рассмотреть ее лицо, но опять показалось, что женщина ему знакома.

Бородин натянул ушанку на голову, в шутовом тоне сказал:

— Наташа Гурова. Думаю жениться на ней, командир.

— Гурова... — прошептал Громов.

Открылась калитка, и Павлик с разбегу повис на шее отца, целуя его в щеки и губы. Женщина, подняв портфель, стояла на прежнем месте. «Неужели она? — гадал Громов. — Как могла... в такую даль?» Он сел в машину, вспомнил, как в академии слушатели шутили по поводу нагорненского гарнизона: «Меньше

взвода не дадут, дальше Нагорного не пошлют», и снова пытался убедить себя: «Нет, нет, в такую даль не могла приехать, здесь люди ходят не по ковровым дорожкам. Просто показалось мне», — решил он. Но, сев в машину и отъехав немного, повернулся к заднему стеклу: женщина и Бородин шли навстречу друг другу напрямую, через сугробы. «Нет, это не она», — покачал он отрицательно головой. Но через минуту, закулив, спросил себя: «А если она? Всяко может быть... Жизнь меняется, а с нею и мы».

## VII

Матвей Сидорович Околицын родился и вырос в Нагорном. На его глазах проложили сюда, к горам, железную дорогу, построили электростанцию. Тогда, накануне войны, поговаривали, что в многочисленных отрогах горного хребта обнаружили редкий металл, очень нужный для оборонной промышленности, что будет строиться завод. Начали строительство с рабочего поселка. Но тут подкатил тревожный 1941 год, и все заглохло. Потом началась стройка. Каждый день приезжают новые люди, а председателю одни хлопоты. От колхозного клина отрезали триста гектаров под строительство завода. Триста умножить на двадцать центнеров, получается — отняли шесть тысяч центнеров зерна. Да, а когда-то жилось вольготно, легче председателествовало: землищи уйма, только распахивай да сей. А теперь вот наделился Околицын распахать участок за старой греблей, и не вышло, запротивилась колхозная молодежь: как же вода, огороды, гуси, утки?... Еще один сторонник водоема объявился. Водолазов! На общественных началах взялся верховодить бригадой землекопов, без трудодней. Точно при коммунизме. Сидел, сидел дома и нате — Сибирь-матушку решил благоустроить. Эх, Михаил Сергеевич, не знаешь ты здешних условий. Уйдет вода под землю, как ушла прошлый раз, в тридцатом году. «Не смотри на жизнь однобоко!» Стал бы ты на мое место, не знаю, как бы зазвучала в твоих руках семиструнка. Опасается, совестится. Или уезжал бы от нас, бога ради, в Москву, что ли, или в Воронеж, как будто все туда норовят отставники. Чудной какой-то ты, полковник: из армии удрал, а тут шумишь, не навоевался, что ли, в войсках-то?

Мысли Околицына текли неровно, суматошно. Вчера на колхозном собрании крепко высекли за однобокость во взглядах на жизнь. Он не обижается, правильно критиковали.

Околицын остановился, чтобы взглянуть на старую греблю. На фоне выпавшего за ночь снега виднелись машины, суетившиеся возле них люди. Околицын даже заметил

Водолазова, одетого в шинель и папаху. Возле него — маленькая женщина. Это, конечно, фельдшерница. «В такую рань подняла народ!» Околицын не сомневался, что это она постаралась увести на греблю полдеревни, учителя и те вышли. Но в глубине души был доволен, что так вот получилось: две землеройные машины и один бульдозер прислал Громов по просьбе Водолазова, — значит, не с голыми руками вышли колхозники.

Околицын ходил по дворам, отыскивал свободных людей и посылал их на подкрепление Водолазову. Он вошел во двор Сазоновых. С Дмитрием Дмитриевичем Сазоновым в молодости они были друзьями, вместе ходили к девчатам. А теперь он, Околицын, — председатель, Дмитрич — ночной сторож, старается жить так, словно посторонний человек в колхозе. «А ведь деловой, подлец. Вон как отстроился». В хлопотах, в вечной занятости Матвей Сидорович и не заметил, как все это округлилось у Сазоновых. «Турну я его сейчас на греблю, пусть помогает Водолазову», — поднимаясь на веранду, рассудил Околицын.

— Мотя, каким ветром? — заулыбался Сазонов, встречая председателя.

— Здорово, Дмитрич. Ух ты, раздобрел! — ткнул кулаком в живот Околицын.

— Да что мы тут остановились, пойдём-ка в кухню.

Дмитрич поставил на стол тарелку с мочеными яблоками. Матвей Сидорович откусил яблоко, нехотя пожевал, отодвинул тарелку.

— Живешь-то как?

— Не шибко, Мотя.

— Врешь!

— Да где уж мне обманывать. С виду вроде хорошо, не хуже других. А тут, — Сазонов постучал себя в грудь, — непорядок, Мотя. — Он перешел на шепот: — Старуха моя развод просит. Понимаешь?

Это было неожиданным для Околицына: его душил смех. Но Дмитрич сделал такое скорбное лицо, что Матвей Сидорович только руками развел:

— Да что она, сдурела?

— Выходит, что так. Баба, она до гроба остается бабой. Говорит: надоел ты мне, старый пень, и дня не хочу с тобой жить.

— Скандалите?

— Деремся, как петухи.

— Вот тебе и на! А все говорят, что у тебя тишь да гладь, да божья благодать...

— Это же со стороны, — поспешил возразить Дмитрич. — Со стороны смотреть, Мотя, все идет хорошо. Не зря говорится: чужая душа — потемки. — Он взял яблоко, покрутил в руках и положил на место. — Раз бабе шлея под хвост попала, ее ничем не ублажишь: она своего добьется. Не пойму, чем я перед ней провинился.

Сегодня ушла на ферму и слова не сказала, будто чужой. Одним словом, война, Мотя, не на жизнь, а на смерть. А тут еще приемыш... Люблю я его, а помочь ничем не могу. Доктор, наш квартирант, взялся лечить...

«Хитрит он или правду говорит?» — подумал Матвей Сидорович и поинтересовался:

— Чем он его лечит?

— Заставляет ходить на лыжах, бегать вокруг двора, капли какие-то дает. Чудной какой-то лекарь. Книг у него тыща, и, видать, надолго поселился у меня.

— Может, и ненадолго. Армию-то сокращают, Дмитрич, — вдруг оживился Околицын. — А это значит, что больше средств пойдет в народное хозяйство. Да мы тогда враз построим коммунизм!

— Не знаю, не знаю, — насупился Сазонов. — Лично для меня, Мотя, и социализм нынешний очень хорош. Кто знает, как там, при коммунизме, будет, а ноне мне хорошо. И законы хорошие. Возьми, к примеру, колхозную жизнь: отработал на артель минимум трудовых — и порядок, никто тебя лодырем не назовет, никто из колхоза не гонит в шею. Или вот насчет приусадебных участков. Очень приличный закон: есть семья — получай участок, можешь иметь определенное количество домашней живности. Две семьи — два участка, домашнюю живность опять же имеешь полное право удвоить. А ты мне про коммунизм говоришь. А может, там таких законов вовсе не будет. Социализм меня вполне устраивает... Да и тебя, Мотя, он не обижает. Председательствуешь ты уже двадцать пять лет. Тебе почет и уважение. А коммунизм, он, может быть, и не даст этого тебе как председателю. Да и будут ли тогда председатели, это еще бабушка надвое сказала.

Матвей Сидорович впервые видел Сазонова таким разговорчивым. На людях Дмитрич вообще скуп на слово. Но мало кто знал, что Дмитрич с самим собой очень словоохотлив и от этого испытывает большое удовольствие. Втиснется в дощатую сторожку, обнимет ружьишко и начнет мечтать, планировать, спорить. Иногда очень азартно, до самозабвения. И так как при этом он присутствует один, в спорах всегда одерживает верх.

— Значит, ты, Дмитрич, выходит, против коммунизма?

— Что ты, Мотя! Я не против коммунизма. Я за нынешний социализм. Понял?

— Ничего не понял, — ответил Околицын. — Пожалуй, хватит болтать. Одевайся — и марш на греблю в распоряжение Водолазова. Лопату не забудь взять. — Он выскочил во двор. Хлопнул калиткой и, обернувшись назад, окинул взором добротный дом, постройку, сад, Сыча, сидящего на цепи возле будки, и в сердцах бросил: — Как обарахлился!..

## VIII

Мечта Цыганка получить увольнительную и повидать Санькину зазнобушку — он встречался с Лидой всего один раз, еще когда работал в отделе продовольственно-фуражного снабжения, и она ему очень приглянулась тогда, — эта мечта сбылась. Утром, после завтрака, старшина построил солдат. Все повторилось, как и обычно происходит при увольнении из расположения части, — осмотр внешнего вида, напоминание о том, как следует вести себя вне части, вручение записок...

Цыганок торжествовал: Околицын не шел в увольнение, и он уже воображал, как зайдет в колхозный клуб, увидит Лиду, пригласит танцевать, она будет смеяться, как и в прошлый раз, скажет: «Если захочу, я всех вас, военных, взбешу». Но он не из пугливых, знает, что ответить. А когда возвратится в казарму, разыграет Саньку: «Зарабатывай второй отпуск, иначе — Лида моя».

Так воображал он, стоя в строю с увольнительной запиской в кармане. Но в это время в казарме появился подполковник Громов. Он поздоровался с солдатами, спросил о самочувствии и сказал:

— Есть одно интересное дело. Все вы знаете, какое усилие проявляет наша партия, чтобы поднять производство сельскохозяйственных продуктов в стране. Наш подшефный колхоз просит помочь им завершить строительство. Летом водоемом и мы будем пользоваться. Ведь хорошо в жару искупаться, на катере прокатиться. Колхозники просят нас помочь им. Сегодня у них воскресник. Водолазов организует. Может быть, мы поддержим своего бывшего командира? Дело это добровольное. Кто согласен?

— Работать? Работать — это можно, я пойду, — первым ответил Волошин.

Цыганок, конечно, не мог уступить Павлу. Так он вместо клуба попал в числе других добровольцев на сооружение водоема, где и встретился с Лидой. Он не отходил от нее ни на шаг, старался показать, какой он трудолюбивый. Лида была в меховой шубке, в теплых брюках, пимах, и личико ее, озорное, мальшеское, горело румянцем. Но вот беда — поговорить с ней как следует мешал Цыганку лейтенант Узлов. Цыганок, отчаявшись, нахально подмигнул лейтенанту, жестом показал, чтобы оставил их вдвоем. Понял или нет Узлов, но он отошел в сторонку, к экскаватору: что-то забарахлил двигатель.

— Как там мой Санечка? — спросила Лида у Цыганка. — Осенью он должен вернуться в колхоз. Отпустят?

В ответ Цыганку хотелось крикнуть: «Нужен мне ваш Санечка, как прошлогодний снег!»

Но промолчал, лишь некстати улыбнулся. А Лида побежала к Водолазову... Потом снова подвернулась минутка, когда она оказалась возле Цыганка одна.

— Вечером в клубе будешь? Потанцуем? — предложил он. Лида захохотала, волосы выбились из-под беличей шапочки. До чего ж она в этот миг казалась Цыганку красивой!

— Санечка придет, тогда и я приду, — ответила Лида.

«Бешеная», — ревниво подумал Цыганок, когда вечером, поужинав, как обычно, он начал с Околицыным изучать теорию работы на дальномере. После длительного пребывания на холоде Цыганку не очень-то хотелось ломать голову над способами определения корректур, над многочисленными формулами, которыми пестрели все странички книги. Но теперь отступить было нельзя, перед всеми офицерами заявил: дальномер изучу.

Все формулы похожи друг на друга и в то же время совершенно разные. Промашку дашь при работе на приборе, и огневики пошлют снаряды за «молоком», а может и похуже быть — трахнут по дороге или по населенному пункту.

— Допустим, что огневая позиция находится в точке О, наблюдательный пункт — в точке Н, цель — в точке Ц. — Это диктует Околицын. Голос ефрейтора кажется Цыганку глухим, далеким. — С наблюдательного пункта дальномером измерена дальность до цели Д... Цыганок, почему не записываешь?

Околицын стоит у классной доски с мелком в руке. Какое-то время, прежде чем ответить ефрейтору, Цыганок молча смотрит на него, в душе завидуя и бравой выправке, и широким плечам, и тому, что у Околицына симпатичная мордашка с живыми глазами, а на правой щеке еле заметный след оспинки, который так идет этому ладному парню, счастливчику: служит последний год, осенью уволится из армии, и Лида, конечно, будет рада. К тому времени в колхозе появится свое озеро, и они вдвоем сядут в лодку, и пошла Сибирь-матушка любоваться да целоваться! А ему, Цыганку, еще служить и служить вдали от Одессы, и, возможно, старшина батареи еще не одним нарядом одарит его за какую-нибудь провинность, а может быть, и не одарит, потому что он, Цыганок, осваивает вторую профессию, не отстает в учебе, и, видимо, сам Рыбалко уже переставил его фамилию со средней полки повыше...

— Я имею право немного подумать? — вопросом ответил Цыганок.

— О чем?

— О перпендикулярной оси, на которой будем измерять отклонение ветра... Диктуй, Саня.

— Спроектируем точку. — Околицын диктует не спеша, четко выговаривает «иксы» и «зеты».

Костя знает — прежде чем прийти в учебный класс, ефрейтор долго и, возможно, мучительно (у него ведь семь классов образования) готовился, чтобы вот так легко и доступно помогать ему постигать основы определения корректур.

Через час Околицын сказал:

— Дальше я и сам плохо понимаю, на этом закончим.

— А у меня только аппетит появился. Честно говорю. — И Цыганок начал упрашивать продолжить занятие.

— Сходи к лейтенанту Шахову, он все объяснит. Скажу по секрету: сам я обязался освоить профессию дальномерщика неспроста. В армию поступает новая техника. Работать на ней без знания математики нельзя. Понял, какая перспектива? Впоследствии можно техником стать.

— Хитрый ты человек, Саня, — сказал Цыганок, пряча в карман записи. — Очень хитрый, знаешь, на какую мозоль наступать солдату. Рядовой Цыганок — техник! Звучит, а? — Он поднялся и решительно направился к двери, но, открыв ее, заколебался.

— Передумал? — спросил ефрейтор.

— Если задержусь там, старшина не взгреет?

— До отбоя два часа, успеешь проконсультроваться. Иди, я доложу старшине, где ты находишься.

— Маловато, Саня. Уж такой у меня аппетит.

— Достаточно. Лейтенант — бог математики, быстро растолкует.

От казармы до офицерского общежития десять минут ходу. Цыганок затратил около трех минут. Обежал вокруг здания, остановился в раздумье. За оградой, на пригорке, светились огни колхозного клуба. Цыганок, сощурился глазами, прошептал:

— Дальность цели — семьсот метров... Успею, она ведь ждет Саньку, а явлюсь я: здравствуй, бешеная, позволь на пару танцев?

У проходных ворот дежурил Волошин. «Не пропустит, задержит, ихтиозавр!» — затревожился Цыганок.

Волошин поправил на груди автомат, потребовал увольнительную.

Цыганок начал шарить по карманам.

— Будь она неладна, потерял, Пашенька. — Увольнительная у Цыганка была, но срок давно истек, и он не решился показать ее Волошину.

— Вертай назад!

— Пашенька, слово друга: отпустил меня заместитель командира орудия ефрейтор товарищ Околицын на два часа. Да мне больше и не надо. Посмотрю, потанцую, у них сегодня вечер. Не будь собакой на сене.

— Вертай назад!

— Побойся бога, не грехи, Пашенька!

— Стрелять буду! — крикнул Волошин, снимая автомат.

Цыганок круто повернулся, зашагал прочь, ворча:

— Темнота разнесчастная! Все вы, сектанты, такие: как по мишени стрелять — бог запрещает, а в человека готовы очередью ахнуть.

Цыганок направился в офицерское общежитие.

На стук в дверь отозвался лейтенант Узлов. Встретил приветливо:

— Заходи, заходи... Садись, — показал на диван. — Это что за знаки ты мне делал там, на гребле?

— Удачи желал, товарищ лейтенант.

— Какой такой удачи?

— По части той девушки. Красивая она.

— Красивая?

— Очень. В Одессе трудно такую сыскать. Возьмите нашу Дерibasовскую улицу. По вечерам полным-полно народу. Идешь, смотришь и налево и направо. И что вы думаете? Не встречал такой...

Узлов понял: солдат что-то хитрит и уж слишком вольно держится с ним. «С Шаховым ты, братец, не вольничал бы». Узлова вдруг охватило чувство обиды за то, что так вот относятся к нему солдаты, вроде бы не признают в нем офицера. А ведь он может потребовать, быть таким же, как и Шахов. Тактико-строевые занятия подтвердили это, на их разборе Громов отметил, что он управлял взводом грамотно и энергично.

— Докладывай, по какому делу пришел, — сказал Узлов сухо и требовательно, прерывая повествование Цыганка. Солдат вскочил с дивана, вытягиваясь в струнку.

— Я пришел к лейтенанту Шахову.

— Значит, не ко мне!

— Нет, к командиру взвода.

— Та-ак, — произнес Узлов и про себя до-сказал: «Не ко мне. Выходит, к Узлову нет смысла ходить». На кровати лежала гитара. Он взял ее, потрогал струны: — Шахов в штабе полка, вернется не скоро. Ясно вам?

Цыганок продолжал стоять, ему не хотелось идти в казарму, и в то же время вид лейтенанта и строгость в словах как-то пугали: он не решился сказать, зачем пришел.

— Дело какое? Может быть, я разберусь? — Узлов повесил гитару на гвоздь и, повернувшись к солдату, повысил голос: — Что молчите, отвечайте!

Цыганок недоверчиво покосился на Узлова, достал из кармана брошюру:

— Я дал слово второй профессией овладеть, стать дальномерщиком, товарищ лейтенант.

— Вы — второй?! — удивился Узлов, хотя знал о взятом обязательстве Цыганка, но не верил, что этот солдат серьезно отнесется к делу.

— Да, второй, — повторил Цыганок.

— Это невероятно! Вы же и основной-то профессией как следует не владеете, устройство затвора еле сдали на четверку. И это — имея такое образование!

— Ничего, товарищ лейтенант, я сразу на два фронта.

— Интересно. Зачем же вам потребовался Шахов?

— Все шло хорошо, половину книги усвоил. Способы определения корректур при малом и среднем смещении не пойму. Неделю целую зубрю, а в голове никакой ясности, формулы не осилю. А уж так хочется разобраться в них! — выпалил Цыганок, довольный тем, что заинтересовал Узлова.

— Покажите, что вам непонятно.

Солдат раскрыл книгу и ткнул пальцем в заголовок:

— Вот этот раздел.

Узлов начал читать. Знакомые параграфы, формулы. В училище он преуспевал, изучая работу инструментальной разведки. И любил он в поле повозиться с приборами, чертить, высчитывать, производить корректуры огня. Все это давалось ему легко, и тем не менее он знал, что не каждому артиллеристу под силу эта работа, требующая от человека сообразительности и хорошего знания математики.

— Товарищ Цыганок, вы серьезно решили изучить дальномер? — спросил Узлов, скрестив руки на груди.

— А как же! У меня девять классов... Ефрейтор Околицын с семьей, а тянется почище меня, еще и другим помогает. Нынче такая линия, товарищ лейтенант, с одной профессией — это нет... не солдат. Выходит, как однорукий: отшибут руку в бою, а второй-то нет... Правильная линия, товарищ лейтенант. Я понимаю. Надо всегда быть двуруким.

«Да что же это происходит! — хотелось вскрикнуть Узлову. — Этот плутоватый солдат вроде учит меня. Погоди же, сейчас я проверю, насколько ты грамотный и насколько понимаешь эту линию».

Лейтенант бросился к столу, открыл ящик и, достав лист бумаги, повелительно сказал:

— Садись и слушай внимательно. — Он, почти не задумываясь, продиктовал довольно сложные данные для определения корректур дальности и направления. Цыганок углубился в расчеты. Узлов, поглядывая на солдата, тихонько прохаживался по комнате.

«Черт знает что — линия, — продолжал рассуждать он. — Что ты в ней понимаешь?..

С одной профессией — это не солдат, выходит, как однорукий... Ишь как научился ворочать языком! Посмотрим, посмотрим».

Он остановился позади Цыганка, бросил взгляд на формулы, аккуратные, четко выведенные цифры, быстро определил: решает задачу правильно, и не мог удержаться от похвалы:

— Молодец! А я сомневался.

— Все могут ошибаться. Но ошибка ошибке рознь. Вот, например, товарищ лейтенант, как сапер ошибается. Читал я один рассказ... — пустился было в рассуждение Цыганок, но Узлов, не слушая его, сказал:

— Говори, что непонятно. Это? — спросил он, раскрывая книжку. — Ничего сложного. Смотри сюда. — Узлов перевернул лист бумаги и на оборотной стороне начал выводить формулы. — Понял?

— Понял, товарищ лейтенант.

— В следующий раз обращайся ко мне в любое время. Помогу. — Узлов взял гитару, сел на диван, вполголоса запел:

Не видно в небе месяца,  
В домах огни не светятся,  
Лишь песня соловьиная  
Звучит в ночной тиши...  
Про верность лебединою  
Послушай, ненаглядная,  
И все мои сомнения  
Признаньем разреши...

— Мне надо идти, скоро вечерняя поверка, — заторопился Цыганок.

Но Узлов не отозвался. Он пел задумчиво, и было заметно, что мысли его бродят где-то далеко-далеко. Цыганок вздохнул и, не повторяя вопроса, тихонько вышел из комнаты, но тут же вернулся. Узлов еще пел, все так же тихо, задумчиво. Цыганок дослушал песню, сказал:

— Товарищ лейтенант, помните сбор по тревоге? Красиво получилось! Всех опередили. Это я придумал, перед самым подъемом аккуратно рассовал всем обмундирование под одеяла, и ребята заранее оделись, лежа в постели. Вот оно как было-то.

— Зачем вы мне об этом рассказали? — спросил Узлов. — Вас надо наказать, вы допустили грубейшее нарушение порядка!

Цыганок этого не ожидал. Он тихо промолвил:

— Нарушение... Всегда у меня так получается: думаешь, как лучше сделать, а выходит фактическая карусель. Да-а, служба. Академик и тот, наверное, не сразу может стать хорошим солдатом. Подтянусь, товарищ лейтенант.

Когда Цыганок ушел, Узлов, лежа в постели, долго удивлялся поступку солдата, пытаясь правильно оценить его, но так и уснул, не придя ни к какому решению. Во сне Узлов увидел дядю. Поэт читал стихи про зори тихие и про



умытую росой травушку-муравушку. Потом откуда-то появился Цыганок и погрозил дяде банником, и тот сразу умолк... И еще какая-то чертовщина снилась.

## IX

Полк готовился к выезду в зимние лагеря: Громов наметил отработать там комплекс боевых стрельб. Хозяйственники вытаскивали из складов запыленные палатки, печки-временки. Огневики и разведчики с утра и до вечера были заняты тренировками в парке и в учебных классах. В полку уже забыли, когда выезжали на длительное время в поле. Боевые стрельбы проводили обычно так: выскочат батареи на полигон, отстреляются и к вечеру снова в казармы.

По распоряжению Громова лейтенанту Узлов была предоставлена полная самостоятельность в подготовке взвода к боевым стрельбам, и он так увлекся, что на время забыл и о своем рапорте, и о том, что он — всего-навсего дублер Шахова. После занятий Узлов, возвращаясь в общежитие, всегда шел мимо винтовочного полигона, останавливаясь на минутку, вслушиваясь в перестук глухих выстрелов. По звуку он определял почерк шаховской работы, и ему становилось немного грустно, от чего — он и сам не знал...

Был субботний день. Узлов поручил сержанту Петрищеву вести взвод в казарму, а сам прямо из парка направился в помещение винтовочного полигона. Но здесь Шахова не оказалось. Узлов решил сходить в клуб. В фойе его встретила жена Крабова — Елена: она поджидала участников художественной самодеятельности, чтобы провести очередную репетицию.

— Вы мне как раз нужны, — сказала она, беря из рук Павлика изрядно потрепанный сборник пьес. — Лейтенанта Петрова отзывают в штаб артиллерии, а он у нас репетировал роль слепого сына. Мне Бородин говорил, что вы в училище увлекались самодеятельностью.

Узлов отшутился:

— О, нет!.. Роль злодея я бы еще сыграл, товарищ Крабова, но в современных пьесах злодеев не выводят. Говорят, все злодеи в нашей стране задохнулись без соответствующей атмосферы.

— Я серьезно предлагаю, товарищ Узлов. — Елена раскрыла сборник. — Вот познакомьтесь с текстом. У вас лицо выразительное, немного грима — и будет то, что нужно.

— А усы?

— Усы можно сбрить. Они вам не идут, верное слово, не подходят. Читайте, читайте, — настаивала Елена. Она посадила Павлика в кресло и ушла в комнату начальника клуба, чтобы позвонить в подразделения.

— Ты чей будешь? — спросил Узлов у Павлика.

— Папин.

— А фамилию свою знаешь?

— Знаю, Бородин. Мой папа майор.

— Понятно. Значит, твой папа партийный бог?

— Бога нет, — сказал Павлик. — Хотите, ракеты покажу? Они в тетиной сумке. Вы не бойтесь, они игрушечные, не стреляют.

— Нет, не надо, — сказал Узлов, удерживая Павлика. — Потом, в следующий раз.

Он прочитал список действующих лиц. «Иван, слепой сын Матрены, — повторил мысленно. — Слепой, потерял зрение на войне... Н-нда. В жизни есть люди с хорошим зрением, а дальше своего носа не видят, слепые по разуму. Может быть, и я такой?» Он бросил сборник на стол.

— Скажи тете Лене, что я еще найду, — наказал он Павлику, уходя в общежитие.

В комнате на столе лежали письмо от тети Нелли и записка Шахова. Игорь писал: «Дмитрий! Я срочно уехал в Нагорное, на артиллерийский склад. Если удастся, останусь в городе, схожу в кинотеатр. Приезжай, буду ждать в бильярдной. Письмо это мне передал почтальон. Опять от Заречного!»

Узлов распечатал конверт.

«Здравствуй, дорогой Димочка! — писала тетя. — Свершилось чудо! Твой дядюшка уехал в Сибирь, в творческую командировку. Он будет читать новые стихи на какой-то стройке в горах. Заречный среди сугробов и гор! Это чудненько. Постарайся встретиться. Дядя повез тебе новые книги молодых талантов — повесть и сборник стихов. Эти вещи я не читала, Федор Семенович от них в восторге, а другие говорят: дрянь. Вполне возможно, что и дрянь.

Готовишься ли ты к вступительным экзаменам? Или передумал? Димочка, наверное, нелегко тебе стрелять из пушек на лютом морозе, в снегах сибирских, в тайге непролазной?

Вот и все. Обнимаю и целую».

Да, это было письмо тети Нелли. Она всегда так писала — немного сумбурно, заканчивала как-то уж очень неожиданно. Узлов мог бы на слух определить, что это писала тетя Нелли. Ему нравились ее письма.

За перегородкой, в комнате Громова, надрывно звонил телефон. Звонил до тех пор, пока кто-то не громыхнул дверью и не взял трубку. По голосу, еле доносившемуся, Узлов определил, что этот «кто-то» — сам командир полка. Чтобы не стать невольным подслушивателем разговора Громова, лейтенант наспех оделся, вышел в коридор.

«Разве найдешь его, — подумал о дяде Узлов. — Сибирь — это тысячи километров, сотни новостроек... Смешная ты, тетя Нелля...» Он

решил не ехать в Нагорное, а пойти в клуб, посмотреть репетицию. Узлов отыскал сапожную щетку, почистил сапоги. Когда разогнулся, в окошко увидел подошедшую к штабу крытую брезентом машину. К ней с чемоданом в руке спешил командир второго огневого взвода лейтенант Петров. Позади скрипнула дверь. Узлов быстро повернулся: перед ним в наброшенной на плечи шинели стоял Громов, держа в руках маленькую записку.

— Товарищ Узлов, к вам приехал дядя. Ждет вас в гостинице, вот номер комнаты. Поезжайте вместе с лейтенантом Петровым. Оказывается, дядя поэт... Заречный. Читал его стихи, неплохо будто бы пишет, неплохо... Поезжайте, поезжайте. Да, может быть, вы пригласите дядю к нам, в полк? Примем хорошо, послушаем. Как, приедет?

— Не знаю, товарищ подполковник. Постараюсь уговорить. Об армии он не пишет уже лет десять. Не знаю, что он может прочитать...

— Стихи, — сказал Громов, улыбаясь одними глазами. — Хорошие стихи волнуют любого человека, независимо военный он или штатский. Постарайтесь уговорить на завтра.

— Слушаюсь, товарищ подполковник!

Громов усмехнулся:

— Я вам не приказываю, лейтенант, прошу. Поняли?

— Понял, товарищ подполковник.

— Желаю удачи, — добавил Громов, открыв дверь в свою комнату.

Отыскав в бильярдной Шахова, Узлов потащил его в гостиницу, расположенную через две улицы от кинотеатра.

— Ты скажи, зачем идем туда? — попытался Шахов, упираясь.

— Дядя приехал, ждет в гостинице.

— Твой?

— Да, мой.

— Заречный?

— Он самый.

— Не пойду, — отрезал Шахов. — Опять начнет тебе морочить голову. Нет уж, пусть делает это без меня.

Узлов начал упрашивать Шахова, сообщил о письме тети Нелли, о просьбе Громова пригласить дядю в полк. И Шахов согласился.

Они вошли в номер, когда Федор Семенович стоял посередине комнаты и репетировал чтение стихов, выразительно жестикулируя руками.

— А-а, мои дорогие мальчики! Пришли! — Он бросился обнимать племянника. Долго тискал его, целуя в щеки и в губы. Плотный, с небольшой пролысиной, в изящном темном костюме, с галстуком «бабочка», дядя походил на эстрадного артиста. — Ну, мальчики, прежде всего — прошу к столу. Сейчас мы позвоним в ресторан.

Федор Семенович схватил телефонную трубку и начал перечислять, что принести в номер. По мере того как он называл блюда и вина, у Шахова все больше расширялись глаза, и, когда у поэта на левой руке оказались все пальцы загнуты, а он продолжал заказывать, Шахов покачал головой, сделав Узлову знак на дверь. Тот понял его, но только пожал плечами.

Положив трубку, Федор Семенович вновь обнял Узлова:

— Так-то, Димочка. Вот я и в Сибири. А ты думал, не приеду? Приехал, привез интересные новинки. Повесть — вещичка первой свежести в литературе. А, что я говорю! Потом, это потом, сначала поужинаем.

Официант, молодой парень, с прической гимназиста, накрыл на стол. Федор Семенович налил ему фужер коньяку.

— Это вам, братец, за оперативность, — сказал он и, глядя, как официант, не морщась, выпил коньяк, крикнул: — Ах, как чудненько!

Когда же парень вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь, Федор Семенович прокомментировал:

— Чудище, такими дозами глотает! Видали, и не поморщился. — Наполнил рюмки и продолжал: — Ну, гусарики, знаю, пить вам много нельзя, вот по маленькой прошу поднять.

Узлов выпил до дна, Шахов только пригубил.

Едва закусил черной икрой, Федор Семенович снова наполнил рюмки:

— Теперь за мое выступление на стройке. Буду читать новые стихи. Выпьем за успех.

На этот раз выпил и Шахов. В голове чуть зашумело, и он, выслушав рассказ поэта о сюжете новой повести, спросил:

— Федор Семенович, а что вы будете читать строителям?

— Сейчас узнаете... Хорошо, что пришли. Это же замечательно! Первыми услышите мои стихи. — Он достал из чемодана кожаный портфель, извлек из него рукопись. — Вот первое стихотворение — «Жизнь Фомы на небеси». Двести строк.

Заречный читал выразительно, эффектно. Видимо, он любил это стихотворение и вкладывал в чтение всю душу. Узлов хохотал, Шахов улыбался. Образ Фомы был живым, поэт насытил речь своего героя меткими фразами, бичующими чиновников небесного царства...

Прочитал Федор Семенович еще два стихотворения. При этом хохотал Шахов, а Узлов почему-то ни разу не улыбнулся, сидел мрачный и лепил из хлеба какие-то фигурки.

— Чертова поэзия! — не удержался Узлов, когда дядя занял свое место за столом. — Ничего не понял. А ты, Игорь, понял что-нибудь?

— Очень смешно, — сказал Шахов, отодвигая от себя наполненную Заречным рюмку.

— Гусары, это аллегория! — не совсем веселым голосом воскликнул Федор Семенович. — Я вижу, военные плохо разбираются в литературе... Мальчишки, я вам должен сказать о том, что вот такой прием показа жизненных явлений скоро станет в нашей литературе доминирующим. Потом вспомните мои слова.

— Чертова поэзия! — повторил Узлов. — Ну зачем все это — «Сон доярки Фроси», «Жизнь Фомы на небеси»? Странно! Это было уместно в прошлом веке. Но сейчас-то зачем эти аллегии? В «Тихом Доне» люди похлеще Фомы говорят...

— Димочка, ну что ты трогаешь «Тихий Дон»? Талантливая вещь. Но ведь время сегодня другое, время новаторства, время поисков.

— А почему же другие поэты пишут просто, ясно, понятно, без гробов и того света?

— Димочка, тебе надо еще много учиться, чтобы понять всю сложность нашего времени, — сказал Федор Семенович тоном наставника. Это обидело Узлова. Он поднялся, намереваясь немедленно уйти. Заречный потрогал золотое кольцо на указательном пальце. — Значит, стихи не понравились? — Он грусто улыбнулся и попросил Узлова остаться на минутку. Шахов вышел. Федор Семенович положил руки на плечи Узлова. — Вот что, Дмитрий, советую не уходить из армии. Порохом пахнет в воздухе... Видишь, какие стихи начал писать. Это все оттого, что не знаю, о чем писать... Мира пока нет. Теперь иди, у вас ведь строгий порядок.

— Командир нашего полка просил, дядя, выступить у нас.

— Подполковник Громов?

— Да.

Федор Семенович взял пустую рюмку и начал водить ею перед глазами из стороны в сторону.

— Нет у меня для военных подходящих стихов, — тихо произнес он. — Я — маятник. Туда-сюда... тик-так... Паршиво... Чего ты ждешь? Иди, Дмитрий, в полк, я тебе позвоню...

Узлов направился к двери, но не ушел. Он резко повернулся, с минуту молча смотрел на Заречного. Федор Семенович еще держал в руке пустую рюмку, глядя на рукопись. Лицо его было хмурым, раздраженным.

— Зачем вы, дядя, пишете такие стихи? Кому они нужны? Это времянки, побрякушки, их прочтут только обыватель. Посудачит, сплетничает и тут же забудет. Стоит ли писать для обывателя?

Федор Семенович сощурил глаза.

— Учишь?... Меня, Дмитрий, учишь? — Заречный сел, взял рукопись. — Значит, не то, говоришь?

— Не то, дядя.

— Не то, — покачал головой Заречный. — Да, да, не то... Пожалуй, ты прав.

Он смотрел на Узлова широко открытыми глазами и говорил, говорил, говорил о каких-то не совсем понятных для Узлова абстракционистах, требующих похерить реалистическое искусство и снять идейную баррикаду, разделяющую мир буржуазный и мир социалистический.

Узлову казалось, что дядя что-то преувеличивает, сгущает краски. Он слушал его с грустью, и ему хотелось, чтобы дядя поскорее выговорился, так как Шахов может уйти один в городок.

Наконец Заречный умолк. Узлов сказал:

— Я пошел. До свидания, дядя.

Федор Семенович проводил его в коридор. Пожал руку.

— Всю ночь буду писать стихи. Я напишу хорошие стихи. Ты веришь мне? — Он не дождался ответа, убежденно подчеркнул: — Напишу!

Из города лейтенанты возвращались пешком. Шахов завел разговор о Заречном, о том, что Федор Семенович показался ему на этот раз менее уверенным, хотя он и старался показать себя бодреньким. Узлов молчал. «Маятник, — думал он о дяде. — Похоже. То уходи из армии, то оставайся... тик-так... Эх, дядя, чувствую, нет у тебя твердого убеждения, отсюда и тик-так». Посмотрел на звездное небо, сказал:

— Хочу забрать свой рапорт. Посоветуй, как мне это сделать. Может быть, о нем давно забыли, но все же эту бумажку надо взять.

— Обязательно, — подхватил Шахов. — Иначе может случиться так, как с майором Акуловым. Акулова перевели на Дальний Восток перед твоим приездом. Служил он старшим офицером на батарее. Работящий, каких свет не знал! Обидели его напрасно. Тот в пылу рапорт на стол — увольте, освободите. Не освободили и не уволили. Рапорт попал к Гросулову. Тот взбеленился: «Я ж его назначил старшим офицером на батарее, а он мне такое пишет». И эту бумажку — в сейф. Капитан стреляет, трудится. Время идет. Говорят Гросулову: «Капитан Акулов отменно служит, надо повысить в должности». Начальник штаба артиллерии открывает сейф, берет рапорт и машет им перед носом того, кто такое предлагает: «Этот фокус-мокус видели? Не пойдет». И снова рапорт в сейф, ключиком клац, клац.

Год проходит. Гросулову опять напоминают: «Заслуживает». Полковник поглаживает нос, лезет в сейф: «Видели? Обидел он меня. Кто Акулова старшим сделал? Я. — И рапорт на замок — клац, клац. — Не могу».

Акулов все же майором стал, дивизионом командовал, а Гросулов нет-нет да и открывал сейф, показывал бумажку: «Видели?» Понял, какая это бумажка? Громов, мне думается, этого не сделает, но лучше забрать.

— Верно. Но я боюсь сам идти к командиру полка, вдруг так же получится, как ты говоришь, клац-клац замком. Может, попросить Рыбалко, он член партийного бюро, поможет.

— Да, да, Максим Алексеевич поймет тебя, Дима, он похлопочет, — с нарочитой серьезностью сказал Шахов, думая про себя: «Уж этот все вспомнит».

— Иду сейчас же, — сказал Узлов. — Старик хотя и зол на меня, но я уломаю, — добавил он и решительно свернул с дороги, направляясь к дому, в котором снимал квартиру Рыбалко.

Дверь открыла Устя. Она зябко повела плечами, спросила:

— Вы к кому?

— Максим Алексеевич дома?

— Сейчас. — Библиотекарша скрылась в глубине коридора, постучала куда-то. — Старшина, выйди, к тебе пришли.

— Пусть заходят, — услышал Узлов голос Рыбалко.

— Проходите, он там, — показала Устя на обитую дерматином дверь.

Рыбалко стоял у небольшого верстака и что-то выпиливал. Все стены небольшой продолговатой комнаты были увешаны различным инструментом и металлическими предметами. В правом углу лейтенант заметил миниатюрный сверлильный станок, на деревянной подставке возвышался старый артиллерийский прицел, слева во всю стенку — стеллажи, заполненные различными предметами, среди которых Узлову бросились в глаза два примуса. На торцовой стене висела географическая карта мира, испещренная разноцветными пометками. Несмотря на тесноту и обилие предметов, в помещении были порядок и чистота. Озадаченный увидевшим, Узлов стоял некоторое время в оцепенении, не решаясь что-нибудь вымолвить.

— Что раздумываете? Проходите и садитесь, — не поворачиваясь к лейтенанту, кивком головы указал Рыбалко на табурет. Узлов присел, ожидая, когда старшина отложит работу.

Рыбалко возился с каким-то изогнутым вкривь и вкось металлическим предметом. Одевший в поношенную синюю блузу, с взъерошенными волосами, с папиросой в зубах, старшина напоминал кустаря-одиночку. Рукава засучены по локоть, кисти рук в небольших ссадинах, плечи чуть приподняты.

«Эх, старина, и чего ты тут маешься, шел бы в колхоз тракторы чинить или на какой-нибудь завод, в цех. Уж ты-то пенсию выслужил», — подумал Узлов, разглядывая испод-

лобья Рыбалко. Раньше к старшине он относился скептически, иногда в разговорах старался подковырнуть старого служаку: «Вы, Максим Алексеевич, последним уйдете из армии. Все будут землю пахать, а вы... ать-два, ать-два». Вспомнив это, Узлов вдруг почувствовал робость.

— Максим Алексеевич, что это вы мастерите? — вкрадчивым голосом спросил Узлов.

— Цацку для таких вот, как вы, — улыбнулся Рыбалко, вытирая ветошью руки. Он загасил папиросу, положил ее в пепельницу, присел на край верстака, тихо произнес: — А я думал, что вы, товарищ лейтенант, уже на вокзале, билет покупаете на поезд.

— Зачем он мне? — Узлов поднял голову, насторожился.

— Как зачем? Рапорт ваш возвратился из штаба округа, и на нем резолюция командующего: «Таких стилиг в армии нельзя держать ни одного дня».

— Не может быть?! Шутите... А почему я стилига? — спросил Узлов, вытирая платком со лба пот: очень уж неожиданным оказалось сообщение старшины.

— Есть стилиги по одежде: сорочка с двадцатью карманами, брюки с ширинкой на заднице, ботинки «осторожно — наколешься». А есть стилиги изнутри, любящие покривляться, показать себя, что они умнее всех, а на самом деле набитые болваны.

«Пошла губерния писать. И черт меня дернул прийти к нему». — Узлов поднялся и, намереваясь как-то сменить тему разговора, подошел к карте, спросил:

— Максим Алексеевич, что это за штука?

— Сами видите, что ж спрашивать? — Рыбалко легко соскочил с верстака. — Это моя военная биография. Черные линии — дороги, по которым я отступал вместе с полком, красные — пути, по которым мы наступали, — пояснил старшина, снимая блузу.

— А вот этот восклицательный знак? — ткнул Узлов указательным пальцем в жирное слово «Берлин».

— Тут меня фашист осколком пометил. Так вот, чтобы не забыть, и поставил на карте восклицательный знак. Иногда в суতোлке дел закружишься и забудешь про свои раны, а придишь домой, посмотришь на эту карту и все вспомнишь... Тебе этого не понять.

— Почему же, я не балбес, разбираюсь, — возразил Узлов. — Была война, тяжелая война. Отец мой где-то сложил голову.

— Была! — Рыбалко шагнул к карте и загородил ее своею широкой спиной. — Была! Как легко сказалось: «была». Разве она уже кончилась?! — Он нервно сунул руку в брючный карман, торопливо закурил. — Я еще ни одной ночи не спал с чувством, что кончилась

война. Лягу, закрою глаза, а уши сами по себе настораживаются, и кажется мне: вот-вот раздается выстрел, заговорят пушки. Нет, не кончилась война, это передышка, временное затишье. Враги хитрят, подтягивают тылы, пополняют боекомплект, собираются с силами. — Рыбалко схватил лежащую на верстаке газету и потряс ею перед лицом Узлова. — Почитайте, что пишут. Вот Западная Германия вооружается. Она создает морской флот. Гитлеровские генералы требуют себе атомное оружие... А вы — «была»!

— Милитарист ты, Максим Алексеевич! — примирительно усмехнулся Узлов. У Рыбалко округлились глаза, он готов был вновь вспыхнуть. Но сдержался. — Не понимаю я вас, Максим Алексеевич, — посмотрев на примуса, сказал Узлов.

— Это для меня не открытие. Многие не понимают.

— Вот мастерскую открыл, примуса чинишь.

Рыбалко резко постучал мокрым кулаком в стену.

— Ирина Даниловна! — крикнул он. — Поди сюда.

Открылась дверь. Вошла незнакомая Узлову женщина.

— Я же вам сказал: чинить не буду. И заберите их отсюда немедленно. — Он отдал примуса женщине, захлопнул за ней дверь. — Поняли?

— Понял, — тихо произнес Узлов и задумался. «Вот ты, брат, какой», — хотелось ему сказать.

— Ну что вы так на меня смотрите? — И вдруг улыбнулся, поглаживая усы.

Узлов, воспользовавшись переменной настроением у Рыбалко, поспешил сказать:

— Максим Алексеевич, я пришел к вам за помощью. Не можете ли вы поговорить с майором Бородиным, чтобы мне вернули рапорт.

— Ха! — весело воскликнул Рыбалко. — Это замечательно! Но за рапортом вы сами пойдете. За счастье надо бороться, тогда оно будет крепким.

— Пробую, Максим Алексеевич.

— Знаю, я все знаю, и как вы первым по тревоге привели свой взвод. Только не могу понять, кто это вам сообщил о тревоге? Уж не Цыганок ли? Эта прокуда всегда держит нос по ветру, — незлобиво заметил старшина, но тут же насупился, как будто что-то припоминает: — Вы за Цыганком зорче смотрите. Способный он солдат, грамотный, но с причудами, может такой фортель выбросить, что потом на всю армию прогремишь.

— Значит, вы не согласны? Член партийного бюро, вам это легче сделать, Максим Алексеевич, — настаивал Узлов.

— Нет, товарищ лейтенант, и не уговаривайте. Сами действуйте, без ходатаев, так вернее и прочнее... Хотите, вместе поужинаем? — предложил Рыбалко. — Есть пельмени.

Узлов отказался. Надел шапку и направился к двери. Рыбалко остановил его:

— Товарищ лейтенант, а что вас так беспокоит рапорт? Бумажка... Главное ведь — служба.

— Спасибо за совет, товарищ старшина. Рапорт меня не волнует. До свидания.

...Шахов еще не спал. Дмитрий молча разделся, лег в постель.

— Был у Рыбалко? — спросил Шахов, пряча улыбку.

— Был.

— Ну и как?

Узлов не сразу ответил. Он представил сейф Гросулова. Полковник помахал перед ним бумажкой: «Вот это видели?...»

— «Да, да, Максим Алексеевич поймет...» — сказал Узлов, подражая Шахову. — И ты не остановил. Ведь знал же, что усач ни за что не согласится. Настроение только испортил.

## X

Громов просматривал план отстрела огневых задач, пытаясь представить, как все это получится там, на полигоне. Но ему не удавалось сосредоточиться... Еще утром, когда Громов закончил политические занятия в группе сержантов (Бородин настоял, чтобы командир полка тоже вел одну из групп политических занятий: «Лучше людей будете знать. Я занимаюсь с группой солдат, превеликое удовольствие получаю»), Бородин поинтересовался, намерен ли он в зимних лагерях «попробовать на зуб» шаховский метод безвильного поражения цели. «На винтовочном полигоне, как вам известно, — добавил Бородин, — этот метод вполне созрел». Громов ответил уклончиво: «Надо еще раз посмотреть, подумать». Другого сказать он не мог: сознавал, что предложение ценное, однако оно ни в коей мере не обогатит артиллеристов теми знаниями и опытом, которые потребуются им в ближайшем будущем. Ответ покорило Бородину, и они поговорили в повышенном тоне... Это и мешало сейчас Громову сосредоточиться при рассмотрении плана стрельбы.

«А шут с ним, остынет, когда узнает, почему тяну», — подумал Громов о Бородине, откидываясь на спинку стула. Он провел рукой по щеке, под пальцами зашуршало.

— Э-э, брат, не годится, надо сходить в цирюльню, — улыбнулся Громов. Поднялся с намерением пойти в парикмахерскую, но кто-то постучал в дверь.

Это был Узлов. Лейтенант доложил, что обращается по личному вопросу с разрешения командира батареи капитана Савчука. Узлов стоял посреди комнаты, держа руки по швам. «А усы ему не идут», — подумал Громов, буд-то впервые видел перед собой лейтенанта.

— По личному? Ну давайте выкладывайте, — сказал Громов с неохотой: часы приема по личным делам, установленные им, прошли.

Узлов покосился на сейф, стоявший в углу, негромко сказал:

— Если можно, товарищ подполковник, я прошу, возвратите мне рапорт.

— Какой? — не сразу понял Громов.

— Тот самый, в котором я просил уволить меня из армии.

Громов поднялся, порылся в ящике стола, сказал:

— Этот, что ли?

— Да, да, товарищ подполковник.

— Берите.

Узлов, расстегнув шинель, положил в нагрудный карман рапорт и удивился тому, что так просто обошлось дело.

— Спасибо, товарищ подполковник. Разрешите идти?

— Это и все?

— Все, товарищ подполковник.

— Идите...

И опять Узлов подумал: «Так просто». Два дня он готовился к этому шагу, перебирая в голове многочисленные варианты длинных объяснений на случай, если Громов начнет укорять его, вспоминать прошлое. И вот рапорт в кармане, и командир полка отдал его с видом совершенного безразличия.

— Значит, можно идти? — повторил Узлов, все еще не решаясь сдвинуться с места. Громов уже вновь занялся штабными документами и не сразу ответил на вопрос лейтенанта. Опершись локтями о стол, он неподвижно смотрел в одну точку. На его щеках и раздвоенном глубокой вмятиной подбородке поблескивали рыжеватые волоски, и от этого Громов показался Узлову уставшим.

— А зачем вам понадобился рапорт?

— Для порядка, товарищ подполковник... чтобы не осталось никаких следов...

— Ну-ну, без следов так без следов. — Громов начал одеваться. Зазвонил телефон. Узлов, взявшись за дверную ручку, все еще не решался выйти из кабинета.

— Знаю, знаю, — говорил Громов в трубку. — Подождем, не все еще готовы к такому методу поражения целей...

Разговор затягивался. Узлов, поняв, о чем идет речь, хотел было выйти и бежать к Шахову, чтобы сообщить ему неприятную весть, но Громов опустил трубку, сказал:

— Значит, говорите, для порядка. Это хорошо, лейтенант. Порядок в жизни — великое дело. Я тоже для порядка решил просить командующего назначить вас командиром второго взвода, вместо лейтенанта Петрова. Но Бородин говорит, что вы не справитесь, взвод средненький. Я согласился с секретарем. Однако выход нашли. Посоветовались мы тут: я, Крабов, Проценко, Савчук, Бородин — и решили укрепить второй взвод, перевести туда расчет сержанта Петрищева. Солдаты там цепкие, смекалистые, до знаний жадные... Как вы на это смотрите? Согласны принять второй взвод?

Узлов не сразу ответил: для него это было неожиданностью, он никак не мог понять, что кто-то думает о нем, кто-то старается определить его судьбу и в конце концов кому-то он нужен... Громов смотрел на него веселым, добрым взглядом. И не было в этом человеке ни капельки наигранности, официальности, той официальности, которая порою вызывает сомнения в искренности услышанных слов.

Громов говорил о дяде, о том, что Заречный звонил, просил извинения, что не сможет сейчас приехать в полк, что он за последнее время отошел от армейской темы, но обязательно напишет хорошие стихи о людях в шинелях, которые, дай бог каждому, так высоко держат честь советского гражданина, в любую непогоду стоят лицом к линии фронта.

«Конечно, дядя мог так сказать... мог, — подумал Узлов. — Сказать — не горы сдвинуть». Мысли о дяде быстро улетучились, и вновь он взглянул на Громова: командир полка рисовал на папиросной коробке какую-то фигурку. Узлов присмотрелся: получился малыш, смешной карапуз в шубке и огромных валенках.

— Так как же, согласны принять второй взвод? — Громов положил папиросы в карман.

— Спасибо, товарищ подполковник. Я буду стараться. Разрешите идти?

— Идите. Да, свой рапорт не уничтожайте, храните его на память. Договорились?

— Слушаюсь, товарищ подполковник.

Парикмахерская была на территории военного городка, возле проходной будки, в отдельном домике. Выйдя из штаба, Громов заметил Бородину. Майор вел за ручку Павлика и, видимо, тоже направлялся в парикмахерскую. Мальчик, семена ножками, круто запрокидывал голову, что-то говорил отцу.

— К брдобрею? — поравнявшись с Бородиным, спросил Громов. Он наклонился к Павлику, тихонько похлопал по розовой щечке: — Как дела, Павлик?

— Хорошо, — бойко ответил мальчик и, освобождая свою занемевшую ручонку из отцовской, похожей на боксерскую перчатку,

похвалился: — У меня скоро будет мама. Она купит мне взправдашнюю ракету...

Бородин схватил сына на руки и с нарочитой строгостью прикрикнул:

— Я же тебе говорил, что это военная тайна.

— Женишься? — насторожился Громов. — Кто же эта Дульциня?

— Позову на свадьбу, увидишь.

— Женись, женись, потеплеешь.

— Я без того теплый, — засмеялся Бородин.

— Папа сильный, его никто не поборет, — неожиданно пролепетал Павлик и устремил на Громова свои темные глазенки, полные детской, неподдельной веры в силу отца.

— Слышал? — воскликнул Бородин. Крупное матового цвета лицо Бородина, на мгновение утратив грубые черты, которые делала его с виду несколько суровым и суховатым человеком, озарилось, приобрело привлекательность, которой нельзя было не позавидовать.

«От такого жена не уйдет, — промелькнула мысль в голове Громова. — Что и говорить, видный мужчина. Да что мне до этого?» — отгоняя прочь невеселые думы, Громов старался храбриться, убедить себя, что ему вовсе нет дела до того, на ком женится Бородин. Но Громова так и подмывало узнать имя женщины. И он спросил:

— На той, что в меховой шубке повстречалась нам, когда возвращались с занятий?.. Командир обязан знать, на ком женятся его подчиненные, — полушутя сказал Громов. Бородин не ответил. У входа в парикмахерскую он круто повернулся к Громову и, поднимая вверх руку с вытянутыми указательным и средним пальцами, произнес:

— Стрельба без вилки! Это же здорово! Согласитесь! — И, пропустив вперед себя сына, переступил порог.

Мастер Гриша встретил их суетней. Он забегал по помещению, покрякивая на свою помощницу Нюру, которая принялась стричь Павлика. Других клиентов не было. Гриша, взбив мыльный порошок, посмотрел на себя в зеркало и обратился к Громову:

— Садитесь, товарищ подполковник. Вчера я приобрел новую бритву на толкучке, с рук купил. Посмотрите... Хы-хы, — дыхнул он на лезвие, любуясь разноцветными отблесками, появившимися на металле. — Прошу садиться.

— Давай, секретарь, ты первым, — предложил Громов Бородину. — Тебе ведь надо спешить на свидание. — Сказал и спохватился: «Э-э, брат, да ты начинаешь волноваться. Неужоже, Серега, так».

Бородин сидел спиной к Громову. Большая, крепкая голова майора лежала на высоко поднятом штативе, и маленькому, щупленькому

Грише приходилось подниматься на носки, чтобы достать бритвой виски майора. Мастер долго приспособливался, забегая то с правой, то с левой стороны. В эту минуту Гриша напоминал Громову лилипута, суетящегося вокруг Гулливера. А Бородин сидел молча, спокойно, загаживая своей широкой фигурой все зеркало. Когда Гриша, намылив Бородину лицо, приготовился пройтись бритвой по второму разу, тот легонько отстранил мастера, повернулся к командиру полка:

— Соглашайтесь, со стороны коммунистов обеспечена полная поддержка.

Громов отрицательно покачал головой. Бородин поднатужился и высвободился из кресла. Сорвав с себя салфетку и вытерев лицо, молча, размашистыми шагами, направился к вешалке...

— Павлик, пошли!

Гриша взял в руки салфетку, ничего не понимая, пожал острыми плечами:

— Я же по второму заходу не брил, товарищ майор!

— Второй заход потом. Получите с меня, — бросил Бородин деньги на стол и начал одевать Павлика.

«Ну, баталья начинается», — подумал Громов, выходя из парикмахерской и готовый на улице охладить секретаря. О, он поговорит с ним. В конце концов разве можно так нервничать?

Они пошли вместе. Бородин нес сына, прижавшегося головкой к теплой упругой щеке отца, от которой на этот раз пахло мылом, а не одеколоном, как привык всегда чувствовать Павлик, когда он забирался к отцу на руки.

Солнце спряталось за облака, оттенки на западе горизонт большим, размашистым фиолетовым мазком. Со стороны казарм ветром доносило:

Звериной лютой злобой  
Пылают к нам враги...

«Да это черт знает что!» — продолжал сердиться Громов, но уже чувствовал, что подходит и, наверное, не сумеет проявить строгость к этому человеку. Ему вдруг вспомнились напутственные слова генерала Захарова, когда тот беседовал с ним при первой встрече. «Прочнее опирайтесь на партийную организацию, — советовал командующий. — Все мы находимся в одной упряжке: и командиры и поллитработники. Только безнадежный одиночка не может этого понять...» «Одиночка», — повторил про себя Громов, словно это про него было сказано. Чтобы как-нибудь освободиться от неприятного чувства, сказал:

— Побрились... — И уже смелее: — Ну как новая бритва, не беспокоила, Степан Павлович?

Бородин искося взглянул на Громова, не сразу отозвался. Он пересадил Павлика на другую руку, вытер платком сыну нос, спросил:

— Какая бритва?

— Да ты что, разве не слышал, что говорил Гриша?

— Я думал о другом, командир.

— Обо мне, конечно: вот, мол, какой Громов, не учитывает мнения общественности! Так, что ли?

— Да нет, зачем же так?.. — Бородин опустил сына на землю, широко развел руками: — Какое это ценное предложение! — Он заговорил горячо, проникновенно, и снова его лицо сделалось симпатичным.

«Вот за что она полюбила его», — подумал Громов и, сам испугавшись этой мысли, поторопился спросить:

— Высказался?

— Все, командир.

— Ну, а теперь скажи: куда нас с тобой черт принес?

За спором они не заметили, как свернули с дорожки, ведущей к штабу полка, и пришли в расположение первой батареи, к самой казарме. У входа в помещение, окруженный солдатами, стоял лейтенант Узлов и рассказывал что-то веселое. Слышался громкий хохот, а Цыганок, хлопая себя по бедрам, кричал:

— Точно, сапоги я сдал!

— Пришли мы, командир, туда, куда надо, — улыбнулся Бородин и хотел было что-то еще сказать, но в это время раздался голос Узлова:

— Смирно!

Солдаты пропустили лейтенанта вперед. Узлов приближался быстро, сильно выбрасывая ноги вперед, стройный, с широко развернутой грудью.

Громов приготовился выслушать рапорт лейтенанта. Пока подходил Узлов, он успел вообразить, как сейчас обступят его офицеры батареи и начнут снова убеждать в ценности предложения Шахова, а Бородин будет стоять в сторонке с улыбкой на лице. И получалось так, что он, Громов, — невольный зажимщик ростков нового.

Узлов доложил, что взвод находится на перерыве и сейчас будет построен для следования в учебный городок на практические занятия по материальной части.

— Стройте, — сказал Громов и искося взглянул на Бородина. Тот перехватил его взгляд, нахмурился, отошел в сторонку и начал наблюдать за действиями Узлова.

«Ну вот и ничего не случилось», — подумал Громов, когда взвод скрылся за углом казармы. Павлик, заметив Крабову, направляющуюся в клуб, вырвался из рук Бородина и, крича: «Тетьа Лена», побежал к ней. Громов

посмотрел вслед мальчику, и ему стало как-то не по себе. Сказал Бородину:

— Да-а, вам надо жениться, секретарь, сын без присмотра... Это никуда не годится.

Подошла Елена, держа Павлика за руку.

— Товарищ подполковник, женсовет ждет вашего решения, — сказала Елена после того, как поздоровалась.

— Какого решения? — спросил Громов. — О чайной?

— Да. Солдату тоже хочется посидеть в непринужденной обстановке, выпить стакан чаю, подышать домашним уютом. Разве это плохо? — Елена поправила на Павлике шапку, продолжала: — Только и слышишь от солдат: «Прицел, угломер». И разговаривают они не словами, а цифрами: «Правее — четырнадцать ноль-ноль! Левее — один ноль-ноль».

— У каждого человека, Елена Ивановна, своя музыка жизни, — сказал Громов. — Математика для артиллеристов — хлеб насущный, и хорошо, что они не забывают о нем.

«Сухарь, сухарь, — промелькнуло в голове Елены. — Еще посуше моего Льва Васильевича». Она сняла перчатки, поправила выбившиеся из-под меховой шапочки волосы, возразила:

— Но есть общая музыка, товарищ подполковник, эстетика жизни. О ней тоже не следует забывать.

«Два-ноль в ее пользу», — отметил про себя Громов. Настойчивость Елены ему понравилась, и он повернулся к притихшему Бородину:

— Секретарь, решили: пусть оборудуют чайную, поскольку это относится к общей музыке...

Когда ушла Елена, Громов вместе с Бородиным направились в клуб посмотреть комнату, которую облюбовал женсовет.

В фойе стояло пианино. Громов разделся, бросил шинель на кресло и приготовился играть. Его руки легко побежали по клавишам. Бородин, слушая Громова, немного завидовал ему. Степан рос в деревне. Отец работал в колхозе трактористом, мало уделял сыну времени. Все в поле, в поле, а зимой — в мастерских МТС. Степан был предоставлен самому себе. Кое-как окончил семилетку, и тут началась война. Отец ушел на фронт и вскоре погиб под Смоленском. Бородин добивался, чтобы его послали в ту часть, в которой служил отец. Но обстоятельства сложились так, что он вначале попал в артиллерийское училище и только в сорок четвертом прибыл в действующую армию. Старшим лейтенантом закончил войну. Пробовал поступить в академию, но получил отказ: не хватало образования. Рос он по служебной лестнице с невероятным трудом: учился заочно в десятилетке, затем в вечернем университете, приходилось в ущерб службе уделять

много времени самообразованию... Не до музыки было.

Музыкальную школу кончили или самоучкой? — Бородину казалось, что Громов имел большую возможность получить всестороннее образование.

В академии посещал музыкальный кружок, — ответил Громов.

Комната, которую женсовет просил отвести под солдатскую чайную, была довольно большая, но заваленная старыми стендами, какими-то ящиками, фанерой, досками.

Подходящее помещение, — рассудил Громов, — хлам выбросить, и пусть женщины осуществляют свою инициативу. Елена, она, видать, настоящий человек. А ты, Степан, как полагаешь, напористая! Смотри, как бы Лев Васильевич не приревновал, уж больно часто она приглашает тебя то на обед, то на ужин. — Громов засмеялся, но смех получился неестественным, и подполковник, будто бы застеснявшись этого, поспешил сказать: — Пойдем, секретарь, я тебе еще одну вещичку сыграю.

На этот раз Громов не только играл, но и пел. Голос у него был чистый, приятный. Когда он захлопнул крышку, Бородин сказал:

Сергей Петрович, вот вы советуете мне быстрее жениться, а сами-то вы как, вроде бы женатый холостяк?

Громов вздрогнул: вопрос был слишком прямой и откровенный, и теперь уже не догадка, а твердое убеждение овладело им: «Да, это была Наташа. Каким ветром занесло ее сюда?»

Вам, Сергей Петрович, надо сходить к ней, поговорить. Адрес могу дать.

Чей адрес, к кому сходить? — Голос Громова чуть дрожал, а на лице Бородин заметил красные пятна.

К Наталье Гуровой.

Значит, вы все знаете?

Да.

И вы ее любите?

Командир, вам надо сходить к Наталье Гуровой до отъезда в лагерь, — уточнил Бородин.

Я не пойду, Степан, не пойду.

Зря...

К чему вы это говорите?

К тому, что нам вместе служить, а она рядом, здесь, на стройке работает прорабом участка.

Громов отрицательно покачал головой.

Это не может повлиять на службу, даю вам честное слово. Сейчас, — Громов взглянул на часы, — четырнадцать часов по московскому времени. Через час вы проводите семинар взводных агитаторов, а мне пора на тренировку, и никакая Гурова не мешает нам готовиться к выезду в зимний лагерь. Поняли?

Громов надел шинель и, застегивая на пуговицы, направился к выходу.

Да-а, вот ты какой, командир, — прошептал Бородин и вдруг грохнул кулачищем по столу: — Поживем — увидим!

В учебном корпусе тренировались орудийные расчеты. Громов понимал, что от их умения зависит меткость и эффективность огня подразделений, и поэтому лично интересовался тренировкой расчетов, да и сам иногда становился за орудие то в роли командира расчета, то номерным.

Он вошел в помещение никем не замеченный. Возле орудия, склонив головы к газете, сидели Петрицев, Околицын, Цыганок и Волошин. Громов присел на снарядный ящик и начал наблюдать за солдатами. «Шесть лет прошло, все перегорело, какой может быть разговор с ней», — продолжал он рассуждать о Наташе, пытаясь убедить себя в том, что ничего, собственно говоря, не произошло.

Цыганок хлопнул ладонью по газете, сказал Волошину:

Эх, Пашенька, понял ты, о чем тут идет речь? Сам профессор духовной академии добровольно отказался от священного сана. Профессор! А ты кто?

Волошин заерзал на станине, нахмурил веснушчатое лицо.

Брехня, — возразил он.

Не веришь?! — вскрикнул Околицын. — Вот же темнота. Пойми ты: никакого бога нет, есть атмосфера и космос.

А что за этим космосом? — буркнул Волошин.

Планеты, — поспешил ответить Петрицев. — И может быть, такие, как и наша Земля, и, возможно, с такими живыми существами, как мы с тобой.

И артиллерия там есть? — хихикнул Волошин.

А что? — подхватил Околицын. — Если там водятся капиталисты, то вполне возможно, что и есть. Армию кто придумал? Частная собственность.

Сказки, — упорствовал Волошин.

Вот чертяка! — возмутился Цыганок. — До чего же ты, Паша, тяжелый элемент! — И стал уговаривать Волошина: — Ты пойми, товарищ сержант скоро уволится в запас, он решил сделать наш расчет комсомольским. Если сержант этого не сделает, то какой же он комсорг, коли в собственном расчете не может воспитать такого ихтиозавра, как ты... Пожалей Петрицева, Пашенька. Мы же ему так накомыляем по шеям за твою темноту и невежество, что он, бедный, с синяками уедет на гражданку. Что о нем там подумают, глядя на

эти синяки и шишки? Скажут: ну и солдат, ну и артиллерист. Разнесчастный ты, Петрицев, человек...

Обо мне так не скажут, — возразил сержант.

Да я к примеру говорю, товарищ сержант, для убеждения этого снежного человека, — примирительно пояснил Цыганок. И опять к Волошину: — Ты уже научился прилично выполнять команды, заряжаешь неплохо. Осталось тебе, Паша, немного — научиться думать по-человечески. В комсомол примем, честное слово примем. Примем, товарищ агитатор?

Пусть он сначала честно скажет: в бога я не верю, — настаивал Околицын.

Скажи, Паша: не верю. Два слова: не верю. Ну, повторяй за мной: не верю, — старался Цыганок.

Ты сам-то почему не в комсомоле? — спросил Волошин у Цыганка.

Я вступлю. Уже и заявление написал. Считаю, я в комсомоле. А вот ты, Пашенька, находишься в состоянии первобытного человека и религиозную повязочку на глазах носишь. А на кой хрен она тебе нужна? Из-за нее света не видишь. Точно говорю. Санька, читай дальше, как там отец Осип постригся в коммунисты. Поймет Пашка, не медведь.

Волошин насупился, тяжело вздохнул:

Написать все можно.

Петрицев взглянул на часы.

Обещал прийти командир полка, — сказал он. — Громов академию кончал, он все знает.

Командир полка улыбнулся. Люди верят в его силы и знания... Это было и приятно и боязно. Боязно потому, что не приходилось иметь дело с такими людьми, как Волошин, даже никогда не мог подумать, что в армии могут быть такие солдаты. Правда, он слышал, кто-то рассказывал о подобном случае. Но это было где-то: не то во Львовском гарнизоне, не то в полку, расквартированном в Бараничах, и прозвучал случай, как анекдот. Теперь же перед ним сидел живой человек, видимо крепко отравленный религиозным дурманом, и он, Громов, по убеждению солдат, может разубедить... Громов кашлянул в кулак, поднялся, делая вид, что ничего не слышал.

Петрицев подал команду, и расчет приступил к тренировке.

Дайте-ка я за наводчика поработаю, — сказал Громов. Он давно уже так близко не соприкасался с прицелом, допускал ошибки. Петрицев робко поправлял его.

А вы смелее, смелее, вы сейчас мой командир. Требуйте! — воодушевлял сержанта Громов. Цыганок поглядывал на Петрицева, многозначительно улыбался, щуря свои плутоватые глаза. Волошин заряжал. Он выполнял

свои обязанности так, как будто вокруг никого не было, и все, что происходит, касается одного этого суетящегося подполковника. Волошину казалось совершенно диким, что командир полка, такой большой начальник, так исправно и старательно выполняет команды сержанта, за просто обращается с Цыганком, которого Волошин считал своим лютым врагом, хотя никогда не высказывал это вслух. («Стерплю, терпеть — не грех».)

Когда Громов поменялся с Петрицевым ролями, командиром расчета он действовал уверенней и четче.

Товарищ подполковник, вы, наверное, когда-то были командиром расчета? — поинтересовался Околицын.

Командовал и расчетом, и взводом, и батареей, — ответил Громов, — теперь вот — полком... Дня через два поедем в лагерь, готовьтесь, товарищи. Предстоит трудное дело. В палатках будем жить, по-фронтовому. Как, товарищ Волошин, холодов не боитесь?

Солдат пожал плечами, тихонько пробасил:

Сказывали, полк распушают, а теперь в лагерь едем. Я письмом домой написал: ждите, армию распушают...

И на этот раз, поговорив с солдатами, Громов еще раз убедился в том, что для всего полка необходима боевая встряска, и выезд в зимний лагерь будет именно такой зарядкой.

...На улице уже было темно. Зимние холодные звезды, похожие на яркие хрусталики, мерцали по всему небу. Дул северный ветер, и поземка дымками колыхалась на гребнях сугробов. Возле помещения, пристроенного к артмастерским, стояли часовые, одетые в овчинные тулупы. «Так надо, жизнь полка продолжается, и люди должны чувствовать себя бойцами каждый день, каждый час, каждую минуту», — размышлял Громов. Он и сам не заметил, как оказался за проходными воротами. «Куда я иду? — спросил себя. — А-а, поговорю, поставлю точку». Он знал, где живет Волошинов, и спешил, спешил навстречу ветру. Миновав перекресток дорог, Громов вдруг остановился: «Какую точку? Кто она сейчас для меня?» И повернул назад. Теперь ветер подталкивал его в спину, а серые струи снежной пыли, обгоняя, вихрились впереди.

## XI

Захаров взвесил рукопись на ладони.

Ощутимо, — подмигнул он Субботину, сидевшему на диване.

Сколько страниц? — поинтересовался Субботин: Захаров просил начальника политотдела прочитать рукопись в течение трех-четырех дней.

— Получилось сто пятьдесят. В редакции сократят до ста, там народ зоркий, воду умеют отжимать. Помню, как-то послал в газету статью, размахнулся на два подвала, а поместили боковушку. Прочитал раз, прочитал второй — молодцы журналисты, ни одного лишнего слова. Аж позавидовал я ребятам из газеты, умеют работать...

Захаров передал рукопись Субботину, и они начали обсуждать фамилии кандидатов на новые должности: штаты ракетной части уже имелись, со дня на день ожидали поступление новой техники.

— Командиром предлагаю назначить подполковника Громова, — предложил Захаров. — Думаю, что он пойдет на эту должность.

— Не возражаю, — согласился Субботин. — Заместителем по политической части можно рекомендовать майора Бородин, работает в две тяги — секретарем партбюро и замещает замполита, необходимую закалку получил. Командующий утвердит...

Захаров не возражал. Остальные кандидатуры решили обсудить вместе с Гросуловым и начальником штаба округа. Полковник Гросулов находился в артиллерийском полку — с группой специалистов из Москвы планировали на месте, как лучше разместить ракетную технику.

На столе лежал список офицеров, намеченных к увольнению в запас. Первым в нем значился полковник Сизов. Субботин открыл форточку, закурил. Захаров знал, что начальник политотдела и раньше был против того, чтобы Сизова включали в список кандидатов на увольнение, но Бирюков все же включил.

— Опять будешь возражать? — Захаров подчеркнул красным карандашом фамилию Сизова.

— Сизов просто влюблен в штабную работу! Нет, Николай Иванович, рука не поднимется. Поговорите вы с ним еще раз. Нельзя таких офицеров увольнять из армии.

— Значит, вы категорически против?

— Да, против.

Генерал взял список, подержал его в руке, сказал:

— В какой раз мы с вами обсуждаем список?

— В третий.

— Придется и в четвертый. Хорошо, я сейчас же поеду в полк, поговорю с Сизовым. Вы довольны?

— Дело не во мне, в человеческой судьбе, товарищ генерал.

— Хорошо, хорошо, согласен. Пожалуйста, прочитайте рукопись. Видите, я уже заготовил конверт для отсылки. — Генерал показал большой серый конверт с крупной надписью: «Москва, Министерство обороны Союза ССР».

Субботин ушел. На улице бушевала пурга. Гул за окном напоминал океанский прибой. Когда-то еще в юности Захаров мечтал о морской службе. Родился Николай Иванович в глухой сибирской деревушке Мостовая. В юности, глядя на бескрайние поля, на дрожащие в знойном мареве курганы, Захаров грезил о море, нередко воображал себя на корабле, который то карабкался на крутой гребень волны, то падал в темную холодную пучину. Замирало сердце, даже мурашки ползли по телу. Но ему нравилось мечтать: после таких грез чувствовал себя героем, шел к своему хозяину, жестокому деспотичному кулаку, у которого батрачил, и, заложив за спину руки, широко расставив ноги, говорил: «Слухай, Савва рыжий, я тебя ничуть не боюсь. Если хочешь, даже могу поколотить. Я нынче сильный. Поколотишь, что ли?» Рыжий кругляш заискивающе улыбался: «Что это ты, Миколай, болтаешь, аль чарку где опрокинул? Не балуй, скоро в Красную Армию пойдешь служить. Вот там свою лихость и показывай. А меня за что же бить, нешто я тебя плохо кормлю?.. Торопись, Миколай, чтобы пашеничка не уронила зерно».

Тарахтела лобогрейка, Захаров обливался потом, высокие хлеба пенились, горбились, как море... Может быть, поэтому он, глядя сейчас в окно, сравнивал разбушевавшуюся метель с шумным океаном...

— Ехать надо, Субботин прав, дело — в человеческой судьбе... и в государственном подходе к кадрам, — вслух рассуждал генерал. Он позвонил Громову, поинтересовался, там ли Гросулов. Громов ответил, что полковник уехал час назад.

— Вечером я приеду к вам, — сказал Захаров. — Пусть полковник Сизов задержится в штабе, мне надо с ним поговорить...

Едва Захаров положил трубку, вошел Гросулов и с ходу начал рассказывать, как Громов готовится к выезду в лагерь, о том, что весь полк поднят на ноги и идет настоящая кутерьма.

— Организация плохая? — спросил Захаров, поглядывая на лежащее на столе нераспечатанное письмо от жены. Он взял конверт, сунул в боковой карман тужурки. — Беспорядка много?

Гросулов вертел в руках трубку. Захаров поморщился:

— Курите, Петр Михайлович.

— Нет, не в этом смысле, — сказал Гросулов. — Порядок есть... Конечно, мы должны учить войска действовать в любых условиях. Этого требует от нас руководящий принцип боевой подготовки, но, по-моему, товарищ генерал, напрасно вы им разрешили выезд в лагерь. Пурга, метель...

— Вдруг что-нибудь случится? — прервал Захаров полковника. — Тогда отвечать придет-

ся. Так, что ли, Петр Михайлович?.. Что же это за офицер, который боится ответственности, риска! — Широкие плечи генерала расправились, он поднялся и позвонил в гараж, чтобы подали машину.

— Не в этом смысле, — поправился Гросулов. — Полк доживает последние дни. Они там обязательства пересмотрели, кружки математиков, физиков организовали, каждый норовит изучать артиллерийские приборы...

Захаров внимательно слушал Гросулова.

— Так, так, — повторял он. Его лицо то светлело, то покрывалось тенью недовольства, то вдруг казалось безучастным к тому, что общал полковник, то с хитроватым лукавством светилось улыбкой.

— Все это хорошо, полк живет, Петр Михайлович. Пусть хлебнут немного фронтовой обстановочки, это им на пользу. Не будем же делать остановку, чтобы пересесть на другую технику. На ходу, на скаку — вот это по-солдатски.

— Что ж, если вы одобряете, Николай Иванович, думаю, что артиллеристы не подведут. Правда, командир полка молодой, но заместитель опытный... Подполковник Крабов долгое время работал в штабе артиллерии. Прекрасный охотник, рыбак...

— Лучше вас? — улыбнулся Захаров, зная слабую струну Петра Михайловича.

— Разрешите и мне отправиться в лагерь? — Гросулов все же опасался за исход стрельб.

— Зачем? Какая необходимость?

— Громову требуется помощь, подсказка.

— Подсказка, — покачал головой Захаров и приблизился к Гросулову. — Был со мной такой случай, Петр Михайлович. Приезжаю в одну роту, встречаюсь с командиром, кажется, по фамилии Самойленко, высокий, с красивым лицом офицер, стараюсь научить его, как с людьми работать, как решение составлять. Говорил я, наверное, плохо, во всяком случае, неинтересно, излагал общеизвестные истины. Вижу, Самойленко морщится, что-то его беспокоит. Спрашиваю: «Что с вами, капитан?» — «Сапоги сильно жмут», — отвечает. «Ну что ж, идите смените сапоги, потом кончим наш разговор».

Ушел капитан. Я побыл в роте, потом заглянул в штаб батальона. Смотрю: никого нет. Присел, курю, тогда я тоже часто курил, как вы. Вдруг за стеной, в соседней комнате, слышался голос Самойленко. «У тебя нет, слушаем, здесь сапог?» — обращается он к кому-то. Тот отвечает: «Нет, а зачем тебе?» — «Да, понимаешь, какая петрушка получилась. Встретил меня полковник и начал нотацию читать, вроде того что дважды два четыре, а от трех отнять два будет обязательно один. «Это вы учтите», — говорит. Слушал я полковника, обидно стало: да неужели я дитятко малое, я же капитан, пять

лет команду ротой и вроде бы неплохо справляюсь с обязанностями. Говорю полковнику: «Сапоги жмут, нет терпенья». А он: «Идите, замените, потом поговорим». А сапоги у меня на два номера больше. Черт меня дернул, выслушал бы и ладно, не оглох бы». — Захаров внезапно оборвал рассказ, прошел за стол и сел на свое место. — Давно это было, а по сей день помню, как только услышу фразу «сапоги жмут», вспоминаю Самойленко.

— Значит, не ехать? — то ли спрашивая, то ли утверждая, сказал Гросулов.

— Не ехать. Надо подчиненных приучать к самостоятельным действиям: ошибется командир — поправим. Готовьте подробный доклад о размещении ракетной техники. Завтра мы его обсудим... Прошу вас, Петр Михайлович, по пути скажите Бирюкову, чтобы зашел ко мне.

Кадровик явился быстро и, как всегда, с папкой в руках.

— Что вы скажете о полковнике Сизове? — спросил Захаров, надевая бекешу и папаху.

— Фактическая чистота, товарищ генерал.

— Это как же понимать?

— Три кита, значит, — анкета, листок по учету кадров и автобиография без единого пятнышка.

— Ну а если говорить без «китов»? — насупился генерал, уже зная, что Бирюков слишком увлекается анкетными данными и потому судит о людях прежде всего по их личному делу.

— Без «китов», товарищ генерал, этому человеку надо уходить на покой: годы и образование не на уровне современных требований, — как по-писаному отчеканил Бирюков.

— Значит, не растет? Отстал?

— Застыл, товарищ генерал, на увольнение кандидат номер один.

— Номер один, — повторил Захаров. — Ну что ж, посмотрим, какой это номер один... Поймите наконец: человеку, можно сказать, собираются приговор подписать, а вы — три кита да три кита...

— Без личных дел, товарищ генерал, нельзя, порядок такой.

— Знаю, знаю, я не против... Но ваши киты — чистейший формализм, выбросьте их на свалку.

— Слушаюсь, товарищ генерал, — с какой-то особой привлекательностью расправил плечи подполковник.

«В училище, что ли, его послать, пусть молодежь обучает строевой выправке», — подумал о Бирюкове Захаров, когда вышел на улицу. Урча, выплыл из снежной пелены вездеход. Генерал открыл дверцу кабины и сел рядом с водителем. Машина, вздрогнув подобно лошади, когда ее неожиданно ударят кнутом, рванулась навстречу бурану.

За городом снегопад был плотнее. Он несся с таким шумом и посвистом, что не слышно было, как работает двигатель. «Может, отменить выход полка? — подумал Захаров и поморщился, словно от зубной боли. — Ну и ну, придет же такое в голову». Захаров расстегнул бекешу, достал письмо жены.

«Николай, мой дорогой генерал! Вот уже прошло полгода, как ты уехал из Заполярья, а от тебя идут одни телеграммы. «Все хорошо, соскучился, скоро вызову». Конечно, ты занят, у тебя новая должность, новые хлопоты, много дел! Я это знаю и чувствую. Сегодня исполнилось тридцать лет, как мы поженились, Николай, ты понимаешь, тридцать!»

Эту дату я отмечаю одна. Машенька обещала приехать на праздник, но у нее не ладится с диссертацией, решила посидеть в праздничные дни, чтобы подогнать работу, и она не приехала. Часто думаю о нашей прожитой жизни. (Это, наверное, оттого, что одна, без тебя.) Минувшие годы мне кажутся какой-то чудесной сказкой. Иногда смеюсь над этим: какая же тут сказка?! Помнишь, как ты служил на десятой заставе, как я вначале плакала? То было суровое время. Банды нарушали границу, налетали на заставу. Стычки каждый день. Ты ночи не спал. И один раз свалился: была температура сорок. Я все помню. Ты лежал и бредил. Пограничники приходили к тебе за советом, за указаниями. Только на пятые сутки к нам добрался врач. Он сказал: крупное воспаление легких и помочь ничем не может, что надо срочно госпитализировать. Хорошо, что он тогда ошибся. А к вечеру на заставу вновь напали басмачи. Поднялась страшная перепалка, появились раненные. Я стала их перевязывать, а когда возвратилась в твою комнату — тебя не было там. Врач сказал, что ты ушел руководить боем и что он не мог тебя удержать. Ох, как я тогда плакала. Мне казалось, что ты уже умер или убит. Ой, дура была!..

Но ты возвратился веселым, только сильно бледным. Я тогда заметила, что у рта пролегла тоненькая морщинка, а на левом виске появились первые сединки... Я помню все...

Через год мы переехали в комендатуру. На твои плечи легла другая, еще большая работа. Тут у нас родилась Маша. Ты и по сей день не знаешь, как я ее рожала. Николай, мой дорогой генерал! Ты гонялся за басмачами, целый месяц гонялся за ними в горах, потом там тебя ранили, и ты был отправлен в госпиталь. Я узнала об этом накануне родов. Вдобавок к этому на участке комендатуры нарушили границу регулярные войска противника. Я лежала на кровати и держала твою фотокарточку. Вдруг слышу — пальба, потом ударили пушки. Снаружи отшибло угол в нашем доме, рухнула стена, но обвалилась она не внутрь, а наружу. Я

лежу и все смотрю на твою фотокарточку. Потом начались схватки. Я боялась, что мы с ребенком попадем в руки врагу, кое-как сползла с кровати, на четвереньках уползла к реке, в заросли. Там и появилась на свет наша дочь. Ее принимал какой-то старик, спасавшийся от перестрелки. Когда все было сделано, он поцеловал меня в лоб, спросил:

— Где муж?

— В бою, — сказала я.

— Да как же это он может так? — Старик долго ворчал, пока не пришли солдаты и не унесли меня на медпункт.

А ты про это не знал. И хорошо. Ты очень тяжело перенес ранение. А помнишь, как мы встретились? Ты обнял меня, и долго моя голова лежала у тебя на груди. Я чувствовала, как билось твое сердце, как дрожали твои руки, как упала твоя слеза мне на волосы. Мне было хорошо. И я тогда подумала: «Век бы мне слышать стук этого сердца». Наконец ты спросил:

— Ирина, где наш ребенок?

Мы подошли к кровати, и ты увидел ее, долго рассматривал, а я рассматривала тебя: прибавились морщинки, прибавилась седина. Но ты мне был дорог бесконечно.

Тебе, конечно, все это известно, но не сердись, вспоминаю потому, что одна и вообще, ты же знаешь, я люблю вспоминать о прошлом.

Там, где ты сейчас служишь, наверное, город приличнее нашего, и метели и морозы не такие, как у нас.

Да, чуть не забыла. Что ж это, сударь, ты скрыл от меня, что у тебя здесь, в Заполярье, была неприятность. А я вот все узнала и теперь еще больше горжусь тобой: ты ведь все что-то ищешь, а это значит: в тебе еще много молодости и смелости».

## ХИ

Сизов слышал, что генерал лично беседует с офицерами, подлежащими увольнению в запас, и был убежден, что Захаров будет говорить с ним именно об этом. А что он, полковник Сизов, может сказать генералу? То, что ему не хочется уходить из армии? Но ведь он понимает: кадровики по существу правы. Военное училище Сизов окончил в 1938 году, был на курсах по переподготовке офицерского состава, самостоятельно учится на протяжении всей службы в армии, но ведь это к делу не подшивали. Как-то зашел разговор о выдвижении Сизова на должность командира. Посмотрели личное дело и положили на место: не имеет высшего военного образования. Вот так-то...

— Знаете, о чем я сейчас подумал? Все же легонькую, простенькую мы наметили тактическую обстановку. — Громов хотел было свер-

нуть рабочую карту, но передумал, ожидая, что скажет начальник штаба.

— Я разрабатывал задачу, строго придерживаясь уставных положений. Здесь соблюдены все нормы и расчеты, — не сразу ответил Сизов.

— Вот и волнуют меня эти пределы и разделы. А вас, Алексей Иванович, волнуют? — Громов пристально посмотрел на начальника штаба и, не дожидаясь ответа, заключил: — По глазам вижу, что волнуют.

Приоткрылась дверь. Дежурный по штабу, не переступая порога, бросил:

— Товарищ подполковник, командующий прибыл!

Громов бросился встречать Захарова, уже успевшего подняться на крыльцо.

— Товарищ генерал, подполковник Громов. Разрешите доложить?

— Ведите в кабинет, там доложите, — сказал Захаров и первым переступил порог.

Генерал разделся, повесил бекешу, потирая руку об руку, заметил:

— Тепло у вас, Громов... Докладывайте, я слушаю.

— Полк готов к выезду в зимние лагеря, наметили произвести отстрел следующих огневых задач...

— Один вопрос, — остановил Громова генерал. — Кто первый подал мысль выехать в лагерь?

— Все мы тут посоветовались и решили выехать, товарищ генерал, — доложил Громов.

— А как смотрит начальник штаба? — Генерал прошелся по комнате и, остановившись у стола, сощурил глаза, глядя на плановую таблицу стрельб. — Доложите, Сизов, что вы тут наметили.

Полковник легко изложил содержание отстрела огневых задач. Захаров внимательно слушал Сизова, следил за кончиком карандаша, которым начальник штаба очерчивал условные обозначения. Генерал сел на стул и начал закуривать, предлагая папиросы остальным. Заметив на столе схему огневых позиций, Захаров заинтересовался ею.

— Мне кажется, — сказал он, — огневые позиции батарей слишком уплотнены.

— Согласно нормам, предусмотренным уставом, — опередил Громов начальника штаба.

— Уплотнены, — повторил генерал. — Плотные боевые порядки, видимо, опасны в современном бою. Это вам надо учитывать, товарищи. Как бы вы, полковник Сизов, стали планировать наступление в настоящем бою, заранее зная, что противник намерен применить против вас новые средства борьбы? Так же, как сейчас, или по-другому?

— Нет, товарищ генерал, так бы я не планировал... — робко начал Сизов.

Захаров рассмеялся.

— Вот как! Учить так, а воевать этак. Ну, знаете, это пахнет самообманом и еще чем-то похуже.

— Разрешите внести поправки? — сказал Громов.

— Не следует. Наспех тут ничего не получится. Эти вопросы надо серьезно изучать и решать их с глубоким знанием дела. Ясно одно — смотреть вперед, учитывать новое, и все это лежит на наших плечах, на наших... Сильнее будем — враг не посмеет развязать войну, — заключил Захаров после небольшой паузы.

За окном опускалась ночь, плотная, беспокойная. На разные голоса завывала метель, слышались сильные порывы ветра. Гудело в дымоходе, прерывисто и тяжело.

— Вот что, Громов, вас я не буду задерживать, работайте по своему плану. А начальник штаба пусть останется, мне надо с ним поговорить. Только не здесь, не в штабе. Может быть, вы, Сизов, пригласите меня на квартиру? Как, найдется местечко переспать?

— Найдется, товарищ генерал.

— Ну и отлично.

...Сизов занимал отдельный домик из двух комнат и небольшой кухоньки. В квартире, довольно уютной и хорошо обставленной, царил порядок и уют, который обыкновенно создают трудолюбивые и любящие семью женщины. Сизов провел Захарова в комнату с письменным столом, диваном, двумя книжными шкафами, географической картой и какими-то фотографиями на стенах.

— Садитесь, товарищ генерал. — Сизов немного волновался: первый раз в жизни на квартиру пришел командующий, и полковник старался держать себя как можно более официально. Подыскивая, что же еще сказать генералу, он предложил: — Товарищ генерал, ужинать будете?

— Это уж обязательно, — согласился Захаров. Сизов куда-то ушел, плотно прикрыв за собой дверь.

Оставшись один, Захаров вновь начал рассматривать комнату. На столе лежал раскрытый военно-теоретический журнал. Захаров, взглянув на страницы, заметил: чья-то рука подчеркнула несколько строк, а на поле, против подчеркнутого места, замечено: «Пуля дура — штык молодец. Старо!»

Пришла хозяйка, маленькая, крепко сложенная женщина с седеющими волосами, но удивительно молодыми глазами, которые придавали ее лицу какую-то особую прелесть. Подавая Захарову руку, она просто и свободно сказала:

— Анна Петровна Сизова.  
— Николай Иванович Захаров, — поднялся генерал, из вежливости добавил: — Извините, что побеспокоил. Служба — ничего не попишешь.

— Хорошо, что зашли, — так же просто, как со старым знакомым, продолжала разговаривать Анна Петровна, стоя посреди комнаты. — Я вот иногда Алексею Ивановичу говорю: «Алеша, сколько людей приезжает в полк, и ты никого не пригласишь к себе в гости, все тащишь их в эту холодную и неуютную комнату для приезжих». А он мне: «Не принято у нас это делать». Скажите: «Не принято!» А что же тут такого, если офицер пригласил к себе на квартиру приезжего офицера? Не понимаю! Посидите, чаю попьете и лучше узнаете друг друга, без этого официального: «Слушаюсь», «товарищ полковник», «никак нет», «разрешите доложить».

— Аня, — предупредительно произнес, вернувшись, Сизов и сморщил сухое лицо.

— Вот полюбуйтесь, Николай Иванович, уже злится. Нарушила субординацию. — Она громко рассмеялась, отчего ее лицо еще больше похоросило.

— Разделяю ваши взгляды, Анна Петровна, — заметил Захаров. — Вы глубоко правы.

Вскоре был подан ужин. Анна Петровна неожиданно поставила на стол бутылку белого вина. Сизов метнул на нее недовольный взгляд. Но Захаров поспешил сказать:

— Вот это хорошо. Я продрог в пути!

— Мужчикам полезно выпить по стопочке. Они после этого становятся мягче с женами и разговаривают куда интереснее, — не обращая внимания на гримасы мужа, говорила Анна Петровна.

— Вот как! — воскликнул Захаров, заметив, что и Сизов несколько повеселел, сбросил с лица выражение официальности и сдержанности, которые иногда делают людей неловкими и смешными.

Когда начали пить чай, Анна Петровна завела разговор о последних новинках художественной литературы.

— Я книголюбка. Да нельзя мне иначе, в школе преподаю литературу.

— А вы, Алексей Иванович, много читаете беллетристики? — поинтересовался Захаров.

— Очень, — ответила жена. — Запоем. Наверстывает упущенное.

— Аня, ну зачем так? — Сизов отодвинул в сторону пустой стакан, о чем-то подумал и сдержанно сказал: — Читаю, как и все. Мало-мало пишут об армии. Когда шла война, кое-что появилось, раздался последний выстрел, и писатели забыли нас. Военные остались в сторо-

не, как будто уже и не существовала армия. Конечно, я понимаю, тема эта сложная... Сейчас как будто бы пишут об армии больше, но все о первом периоде Отечественной войны. Переживания да страдания описывают, мучеников изображают, лагерников героями делают. Ну что ж, были герои и в плену, и в тюрьмах. Таков уж советский человек, облик свой нигде не потеряет. Только мне хотелось бы прочитать хорошую книгу о сегодняшней жизни наших солдат. Нынешние люди в погонах — очень интеллигентный народ. А какой сложной техникой они управляют, подумать только — инженерные знания для этого требуются! Или я не так говорю? — вдруг спросил Сизов.

— Продолжайте, продолжайте, думаю, что вы правы, — сказал Захаров, боясь, как бы Сизовым вновь не овладела та скованность, которая замечалась в начале разговора. Но полковника будто подменили, весь вечер он не умолкал. Генерал понял, что Сизов знает не только новинки художественной литературы, но и знаком с достижениями науки и техники, начитан и в специальной военной литературе. Слушая начальника штаба, он невольно вспомнил слова Бирюкова: «Сизов? Он идет на пределе, грамотности не хватает». Подумал: «Чепуха, какая чепуха!»

Поблагодарив хозяев за ужин, он прошел в комнату, где уже была приготовлена для него постель. Когда лег, долго не мог уснуть.

Откуда-то из мрака выплыло лицо Ирины: «Вот я сейчас в Заполярье одна... Машенька не приехала на праздник... Часто думаю о нашей прожитой жизни... Ты занят, новая должность, новые хлопоты».

Захаров перевернулся на другой бок.

На улице от ветра тяжело застонали ставни. Но Захаров этого не слышал: он спал, как всегда, здоровым и крепким сном. Когда открыл глаза, в комнате было светло. Со стены смотрел на него портрет капитана в полевой форме. Этот снимок Захаров уже где-то видел. Генерал стал вспоминать и вспомнил: видел он его напечатанным в газете. Захаров поднялся. Теперь портрет был у него на уровне глаз.

— Сизов! Да ведь мы служили в одной армии! — прошептал Захаров. Он повернулся к столу: все так же раскрытым лежал журнал. Захаров взял его в руки и еще раз прочитал заметки на полях: «Пуля дура — штык молодец. Старо!» Он уже не сомневался, что это было написано рукой Сизова. — Нет, он еще послужит, — произнес генерал, жмурясь от яркого солнечного света. И на душе стало так хорошо и легко, будто сбросил с плеч тяжелый груз, который до этого мучил и давил его.

### XIII

Стрельбы длились третьи сутки, и ничего необычного в них не было: менялась тактическая обстановка, ставились новые огневые задачи, как и в прошлый год, когда Шахов еще не исполнял обязанностей старшего офицера на батарее. То было летом, и работать было легче, не так, как сейчас, когда кругом снег, снег, ориентиров очень мало, трудно сделать привязку батарее... И, видимо, командир пока не разрешит применить метод безвилочного поражения целей, хотя Бородин утверждает, что Громов не такой человек, чтобы отменять решение: уж коль он дал «добро» — отступить не будет. «Добро» было получено на партийном собрании перед самым отъездом в лагерь. Это было очень шумное собрание. На нем присутствовали и беспартийные солдаты, сержанты и офицеры. Цыганок, только что принятый в комсомол, на удивление всем, выступил первым. «Был я вроде ржавого котелка, — сказал он, — теперь ржавчина отскочила... Лейтенант Узлов говорит, что я вполне могу работать при нем планшетистом. Вот и прошу попробовать меня на стрельбах планшетистом, а Волошин пусть становится на мое место, замковым, хватит ему таскать снаряды».

— Так и будет! — громко сказал Узлов. Его поддержали Громов, Бородин... Брала обязательства: стрельбы провести с высокими показателями. Уже под конец собрания Громов, выступая второй раз, объявил, что взводу Шахова будет разрешено испытать метод безвилочного поражения закрытых целей.

После собрания вновь тренировались в закрытом винтовочном полигоне. Потом Бородин утром, когда артастера делали последнюю проверку орудий, провел заседание партийного бюро. Опять обсуждали детали безвилочной стрельбы. Произошла довольно затяжная перепалка между подполковником Крабовым и майором Бородиным. Совершенно неожиданно заместитель командира полка по строевой части бросил Бородину:

— А не кажется ли вам, Степан Павлович, что вы чуток не своим делом занимаетесь?

— Как это не своим?! — удивился майор.

— Много тратите сил на боевую подготовку. Думаю, что от этого не выигрывает воспитательная работа, а, наоборот, проигрывает.

— Я не святой, могу ошибаться. Вы скажите конкретно, где, когда и в чем я попал в белый свет, как в копеечку! Может быть, вы считаете, что я не обязан тормозить людей, чтобы они лучше стреляли, быстро и экономно поражали цели? Я руководствуюсь вот этим. — Бородин схватил лежащий на столе Устав внутренней службы и потряс им в воздухе. — Это для меня закон. Вот что в нем записано: «За-

меститель командира полка по политической части обязан: участвовать в разработке плана боевой и политической подготовки полка; организовывать и проводить политическую работу, направляя ее на сплочение личного состава вокруг Коммунистической партии и Советского правительства и успешное выполнение задач боевой и политической подготовки, на поддержание постоянной боевой готовности полка...»

— Все это верно, — сказал Крабов. — Однако я полагаю, что стрельба не входит в функции работы партийного бюро.

— Лев Васильевич, но ведь командир решил — моя обязанность мобилизовать коммунистов на выполнение этого решения. А потом, есть ли в полку такие дела, которые не касались бы партийной организации?

— Конечно, нет, — подтвердил Громов.

Крабов умолк, но по выражению лица было заметно, что остался при своем мнении. Когда выслушали разведчиков-специалистов, когда выступил и он, Шахов, когда приняли короткое решение и начали расходиться, Крабов подошел к Бородину, сказал:

— Ты пойми меня, Степа, я не против, но, думаю, чуток рановато. Зима, плохая видимость... Хорошее дело можно загубить.

— Ах вот ты о чем! Так бы и говорил. — Бородин показал ему бюллетень погоды. — Ожидается приличная видимость. А потом, Лева, погоду делают люди. Это надо понимать, люди — мы, все тут...

«Да, люди, — подумал Шахов, — но все же было бы лучше, если бы завтра солнце светило».

Над горами неподвижно висели тяжелые облака, временами набегал ветер, кружил по полю снежные вихри.

Батарея только что заняла новые огневые позиции. Шахов продолжал выполнять свое привычное дело. Хотелось лучше осмыслить, «переварить» тактический замысел стрельбы, еще и еще мысленно «ощупать» местность. На это отводилось очень мало времени. Шахов, не отрывая бинокля от глаз, одним дыхом выпалил:

— Первое орудие основное. — Сделав небольшую паузу, тем же звенящим в морозном воздухе голосом добавил: — Основному тридцать ноль-ноль...

— Тридцать-ноль! — эхом отозвался Петрищев.

— Готово! — доложил наводчик Околицын.

— Первое готово! — сообщил командир орудия.

— Второму — веер...

— Третьему...

Команды слышались отовсюду: справа и слева. Когда был построен параллельный веер и



установлен единый угломер батареи, началась проверка ориентирования орудий в основном направлении и определение наименьших углов. Теперь можно было чуть-чуть передохнуть. Шахов подошел к Узлову. Узлов рассматривал испещренный цифрами блокнот командира орудия. Сливив переведенные углы по таблице, Узлов вылез из окопчика и начал пританцовывать от холода.

К огненным позициям подкатил «газик» командира полка.

Шахов доложил Громову:

— Товарищ подполковник, первая батарея готова к отстрелу огневых задач.

— Подходяще, значит, торопились не спеша. — Он задержал свой взгляд на Узлове: ему показалось, что лейтенант повзрослел по сравнению с тем, каким он видел его на партийном собрании.

Громов проверил установки, ему понравилась работа огневики. Уходя, он отозвал в сторону Шахова:

— Стрелять будете первыми, хорошо получится, разрешим второму взводу.

Шахову хотелось крикнуть: «Слушаюсь!» Но в груди что-то сперло, и он тихо сказал:

— Постараемся, товарищ подполковник.

— Капитан Савчук даст вам подробный инструктаж.

Громов объехал огневые позиции, проверил готовность к стрельбам, возвратился на командный пункт в сумерках. В палатке было душно-вато. В печурке потрескивали поленья. Громов собрался поставить чайник, но одному не хотелось приниматься за ужин, и он, накинув на плечи полушубок, вышел покурить, в надежде, что скоро подойдет Бородин, и они вместе поужинают...

Задумчиво стояли деревья. Невесомо и безучастно падали на землю мохнатые снежинки. Было безветренно, и немота царствовала далеко вокруг, словно все погрузилось в крепкий и долгий сон, нарушить который, пожалуй, не в состоянии ничто на свете.

Громов стоял, прислонившись плечом к стволу старой сосны. Видимо, там, над верхушками высоких деревьев, гулял ветер, потому что в плечо отдавала небольшая дрожь, и он улавливал слабый, дремотный гул, впрочем не мешающий его мыслям. В воображении рисовались картины прошедших стрельб, тяжелый труд подчиненных ему людей, изнурительная работа полигонной команды — а ей, пожалуй, досталось больше всех: убраны горы снега, прорыты километры траншей, сколочены и построены из досок и фанеры десятки мишеней, обозначающих и подвижные и неподвижные цели. И все это на ветру, при морозе... Досталось, конечно, и разведчикам, и вычислителям, и огневикам.

Стрельбы идут нормально, а главное — люди приободрились, повеселели и как-то по-другому смотрят на свое дело, с большей ответственностью. Ему нравилась деловая нетерпеливость Крабова: он всюду поспевал, вовремя высказывал дельные советы, причинял командирам подразделений те «беспокойства», без которых они, наверное, не смогли бы так четко выполнять свои обязанности. Контролируя работу огневики первой батареи, Крабов обморозил себе щеку. Когда ему сказал об этом Узлов, первым заметивший на его лице подозрительную белизну, он с присущей ему сухостью в голосе сказал: «На фронте не то встречал. Смотри за собой, лейтенант, не то раскиснешь на морозе». Крабова побаиваются, видимо, не без оснований: часто у таких людей бывает недоброе сердце.

Лес по-прежнему безмолвствовал. Сгущались сумерки, а Бородин где-то задерживался. Громов просунул руку в рукава, застегнул пуговицы — стало теплее. Он вновь закурил, присел на еловый пенек. Уже взошла луна, и теперь, глядя вдаль, Громов видел отдельные палатки, от которых тянулись кудрявые безмятежные дымки и тут же таяли в холодном воздухе. По дороге к складу, урча, прошел тягач, груженный дровами. Из кабины выскочили трое солдат, среди них Громов узнал Волошина. Он залез в кузов и начал бросать поленья. Работал быстро и сноровисто. Кто-то крикнул: «Павел, покура!» Волошин ответил: «Этим мы не балуемся». — «И водку не пьешь?» — «Чего еще... глупости», — отмахнулся солдат, продолжая разгрузку.

Громов вспомнил рассказ Бородина о том, как он узнал, что Волошин — верующий человек, как солдат просил, умолял никому не говорить об этом. Но, как ни старался Бородин сохранить эту тайну, о ней теперь знает весь полк. Волошин еще больше замкнулся, и никакая разъяснительная работа не действует на него.

Громов все собирался лично побеседовать с Волошиным, но не находил свободного времени, неотложные дела не позволяли это сделать. «Может быть, сейчас?» — подумал Громов и, не колеблясь, позвал в палатку солдата.

...Волошин сидел на стуле и мял в руках ушанку. Он не знал, зачем вызвал его командир полка. Солдат начал прикидывать, что могло послужить причиной такого неожиданного дела. Перебрав в уме все события дня, он наконец спохватился: утром лейтенант Узлов проверил его, как он знает обязанности замкового (когда брали новые обязательства, Волошин под напором всего расчета согласился освоить работу замкового, и сержант Петрищев в свободное время долго занимался с ним). Узлов сказал: «Завтра займешь место Цыганка». «Зна-

чит, по этому поводу», — решил Волошин, чуть приподнимая веки.

Громов не знал, с чего начать разговор. Наконец спросил:

— Усвоили обязанности замкового?

— Я снаряженный.

— Завтра ваш взвод будет стрелять. Справитесь? — Громов заметил во взгляде солдата тревогу и беспокойство, а руки вновь теребили ушанку.

— Я подносчик снарядов.

Громов обошел вокруг стола.

— Газеты читаете?

— Уставы...

— А газеты?

— Что в них?.. Слушаю политинформацию, с меня хватит.

— Та-ак. — Громов сел на свое место. — В кино ходите?

— Отпустите меня... Верующий я, и моя душа при мне останется, — тихо произнес Волошин, уперев взгляд в дверь.

— В бога веруете? — с подчеркнутым удивлением спросил Громов. — Шутите, наверное, товарищ Волошин?

— Отпустите... коли других вопросов ко мне нет. Запрет с религии снят, не трогайте меня, отпустите.

«Орешек», — подумал Громов. Он вспомнил, что знал из книг по антирелигиозной пропаганде, начал убеждать солдата. Говорил горячо и долго. Павел все тем же спокойным голосом повторил:

— Отпустите, коли других вопросов нет...

«Поговорил, а еще командир», — упрекнул себя Громов, когда ушел Волошин. Он набросил на себя полушубок и тоже поспешил из палатки. «Ты же — командир, — рассуждал Громов. — Командир!» Это слово воспринималось им как нечто всесильное: и приказ четкий, повелительный и умный, и добрый совет, и материнская ласка, и уставная строгость армейской жизни, и отцовская забота о людях, чутких ко всему, что окружает их. «Власть — вот что такое командир. — Сравнение понравилось подполковнику, и он продолжал развивать эту мысль: — Советский командир, Сережа, — власть самая умная, самая справедливая, самая человеческая и пунктуально последовательная в своих поступках, деяниях. Советский командир и приказывает и слушает, он учит и сам учится, он управляет людьми и сам идет в одной колонне с ними, как бы труден путь ни был, — через горы, леса, в зной и стужу, в огонь, в воду, хоть на смерть — управляй и иди в одной колонне, ибо для командира, Сережа, нет «я» и «они», есть — «мы», солдаты Советской Отчизны, люди одних взглядов, братья по духу и цели... Славное это слово «командир» и емкое, до чего же емкое!»

Пошел редкий снег, шалил в лесу ветер, угадывалось приближение пурги, и мысли Громова перекинулись к стрельбам: «Безвильчатый метод... Видимость плохая... Отменить? Решай, ты — командир, в твоей власти все, и ты в ответе за все. А ошибаться командиру нельзя, нет, нет, его ошибка, как цепная реакция, повлечет за собой ряд других, ведь поступки подчиненных тебе людей — это твоя воля, твой приказ...»

— Командир! — услышал Громов за спиной голос Бородина. Майор приближался к нему напрямик, через сугробы, утопая по пояс в снегу. Он протаранил рыхлый намет и глыбой подкатился к Громову, весь заиндеветший и от этого лохматый. — К метеорологам заходил. Обещают кратковременный буран. Но к утру пройдет, видимость будет хорошей... Сизов и Крабов укачали на вездеходе к полигонникам, возвратятся не скоро.

Они вошли в палатку, и Громов начал открывать судки с ужином. Бородин поставил чайник на плиту, потом принялся что-то доставать из чемодана, тихо насвистывая мотив «Подмосковных вечеров». Громов еще находился под впечатлением мыслей о должности командира, о Волошине. Он повернулся к майору и увидел в его руках четвертинку водки.

— По стопочке, командир, перед ужином. В таких дозах алкоголь безвреден. — Бородин поставил на стол кружки.

— Наливай, не возражаю.

Бородин ел быстро, энергично работая скулами. Широкое калмыцкое лицо его порозовело. — Ты чего скис? — спросил он у притихшего Громова. — Или тревожат завтрашние стрельбы? Все будет хорошо, Сергей Петрович! Верю: наше начинание облетит всю армию. Помни мое слово — так будет.

— А если не получится? — непроизвольно сорвалось с уст Громова.

— Тогда, считай, нам по серьгам обеспечено. Гросулов так нас обласкает, что тошно станет, — засмеялся майор.

— Шутить, Степан!..

— Нет, ты, как командир, первый получишь серьги. Правда, иногда в таких случаях командиры пытаются спрятаться за спины политработников: они, мол, выдержат, языкастые.

— Точно, — в тон Бородину сказал Громов, — спина у тебя, секретарь, широкая, загородишь, и меня никто не тронет.

— Если надо будет, прикрою.

— Грудью за командира пойдешь?

— А почему бы и нет? За хорошую власть люди жизни отдают.

— Власть, говоришь?

— А что? Я так понимаю роль командира. И партия и народ так понимают. Не согласен?

— Согласен, — сказал Громов и выложил Бородину все, что думал о Волошине и о себе часом раньше. Бородин прилег на раскладушку, заложив руки под голову.

— Волошин — особая статья. Коммунисты с ним работают. Баптисты постарались обуглить его душу так, что дальше ехать некуда.

— Ведь человек-то он наш, солдат.

— Солдат, — повторил Бородин и надолго умолк. Громов еще налил чаю. Он пил вприкуску, обдумывая, как все же наконец сказать Бородину о том, что твердо решил не ходить к Гуровой и что эта женщина однажды жестоко обидела его и едва ли она способна «перевоспитаться».

— Степан, ты уснул?

— Партийные работники не спят, командир. Им не до сна. Соображаю, как нам организовать семейный вечер по возвращении с полигона... Приедем в гарнизон, приведем технику в порядок, солдатам дадим денек-другой отдохнуть. Елена для них постановку подготовила, теперь у них и чайная есть. А мы, офицеры? Располземся по квартирам, и каждый в одиночку будет переживать свои радости и неудачи... Так не пойдет, командир. — Он поднялся и схватил чайник. — Офицерский бал надо устроить.

— Музыка, танцы, закуска и пол-литра на троих? — улыбнулся Громов.

— Возможно, и так.

— Да ведь за это нас с тобой высекут.

— Кто?

— Начальство.

— Не высекут, командир, если все будет хорошо и в норме.

— А какая она, норма: сто граммов, две-сти? У нас иногда как на это смотрят: водка была? Была. Пьянка! Получай по загривку. А в сущности, если разобраться, вино только присутствовало, а торжествовала-то дружба, теплота человеческая.

— Вот так и сделаем. Согласен?

— Поддерживаю.

Бородин быстро оделся.

— Ты куда?

— На узел связи. Начальнику клуба позвоню. — Он нырнул в темноту. Дохнуло холодом, пропел с присвистом ветер.

Во взводной палатке Волошин застал одного Цыганка.

— Все ушли на огневые позиции, а я вот печку топлю, — сказал Цыганок, укладываясь спать.

Волошин разделся, присел подле ящика, на котором ярко горел пузатый фонарь «летучая мышь», начал рассматривать свои руки. Извлек занозу из правой ладони, вспомнил, что в вещмешке лежит непрочитанное письмо от бабуш-

ки. Довольный тем, что Цыганок прикорнул, что никто не помешает прочитать письмо, сунул руку в мешок, ощутил какой-то твердый предмет, похожий на маленькую книжку, достал и глазам своим не поверил: на темно-синей обложке золотым тиснением было написано: «Карманное богословие».

«Откуда?» — Павел повернулся спиной к Цыганку, прочитал на титульном листке: «Краткий словарь христианской религии». Это было так неожиданно и так удивительно, что Павел тут же решил: «Всевышний послал за терпенье награду».

— Костя, — позвал Волошин, чтобы удостовериться, уснул ли Цыганок, не заметил ли находки. Цыганок ответил мощным и протяжным храпом. Листая трясущимися руками, не вникая в смысл написанного, Волошин торопливо читал отдельные строчки: «Авраам — прародец верующих... носил рога... обрезал себе крайнюю плоть... бог велел ему принести в жертву». «Адам... Бог создал его порядочным негодяем, имевшим глупость в угоду своей жене отведать яблоко, которое его потомки до сих пор еще не сумели переварить». «Когда говорят, что бог гневается, это значит, что у священника печень не в порядке». «Архангел Гавриил от лица бога-отца обратился к деве Марии, собираясь ее осенить, или же покрыть». «...Чужих жен он делал своими наложницами и предавал смерти их мужей». «...С тех пор как евреи распяли его сына, он стал жаждать лишь жареных евреев». «Иисус Христос для блага рода человеческого принес в мир меч». «Моисей запросто беседовал с господом, стоявшим к нему спиной». «Бог проклинает тех, кто мыслит несогласно со священниками...»

Волошин устал читать, расслабленный волнением, лег на соломенный матрас, на душе у него было нелегко.

Вдруг захохотал Цыганок, словно бы и не спал...

Как-то Устя привезла из города новые книги, в том числе «Карманное богословие» Поля Гольбаха. Рыбалко за один вечер прочитал эту небольшую книжечку, внешне очень похожую на псалтырь. Блестящая и остроумная критика религии французским просветителем вскоре оказалась в тумбочке Волошина: Рыбалко рассчитывал, что солдат обязательно прочитает книгу. Но первым ее обнаружил Цыганок, хотел было сразу сообщить об этом командиру батареи, думая, что это молитвенник, но не удержался от соблазна, тайком прочитал и понял: «Это в самый раз для Волошина, от такой сатиры Пашка вмиг образумится». Он-то и положил книгу в вещевой мешок Волошина.

— Ты чего ржешь? — Волошин поднял голову. «Уж не подсмотрел ли?» — мелькнула у него мысль.

— Один одесский еврей говорил мне, что имя Адам по древнееврейскому языку означает «красный». Вот я и думаю, коли Адам красный, — значит, создан не богом. — Цыганок опять засмеялся. Волошин закрыл уши ладонями, лег вниз лицом. Он лежал долго, пока не собрался весь взвод.

Спать легли, не погасив фонаря. Прислушиваясь к завыванию ветра, Павел нащупал в кармане письмо. В голове ожили картины домашней жизни... Когда ему исполнилось шесть лет, умерла мать. Отец начал ходить в церковь. На фронт попал уже под конец войны. Домой не вернулся — погиб под Тильзитом. Убитая горем бабушка вдруг зачастила в дом, в котором жил проповедник Гавриил. Потом к ним пришел он сам, лысый старик. Был мягок в разговорах, как его пухленькая рука, которой гладил Павлика по голове. «Разделяю вашу скорбь, Семеновна, — говорил он бабушке тихим, успокаивающим голосом. — Царство божье близко, оно не за горами».

Он появлялся в доме часто. Кончилось тем, что бабушка начала посещать молитвенный дом, а затем водить туда Павлика. Первые дни Павлик испытывал страх: люди до испуга повторяли слова лысого старика, слова непонятные и далекие. Было очень страшно, хотелось рассказать учительнице, но бабушка запретила, пугая карами господними. Сектанты привозили бабушке дрова, продукты, чинили избу. По вечерам Гавриил беседовал с Павликом. Всегда ласковый, аккуратный и неторопливый, старик рассказывал о загробной жизни, о том, как подготовиться к встрече с Христом, который всегда при дверях... Павлик полюбил проповедника, перестал ходить в школу, старательно выполнял десять заповедей...

...Волошин распечатал конверт и, с трудом разбирая бабушкины каракули, читал:

«Дорогой внучок! Нынче я ходила в дом братства. Проповедник Гавриил читал новую проповедь. Ужас как было трогательно. Мы плакали. Гавриил выпрашивал у меня твой адрес. Он собирается послать тебе новую проповедь, которую услышал от бога и начисто записал ее для братьев. Гавриил советует тебе никогда не забывать, что человек человеку брат, и будет миру мир, не поднимай ружья на человека, огонь бранного поля — бесовская потеха. Я живу хорошо. Пенсию получаю, как и допрежь. Гавриил советует сжечь это письмо. Помни, что Христос при дверях».

Волошин скомкал письмо, бросил в печку. Пламя, вспыхнув, осветило мясистое, с рыжеватыми бровями и припухшими юношескими губами лицо солдата. «Огонь бранного поля — бесовская потеха», — промелькнуло в его мозгу, и он почувствовал щемящую тревогу в душе.

Цыганок толкнул его в бок, спросил:

— Что пишут родные?

— Это от товарища.

— Плохой он у тебя.

— Хороший.

— От хороших товарищей письма не сжигают.

— А зачем следил? Плохой ты человек.

— Вот и неверно! На гражданке девушки всегда говорили, что я приличный парень. Не веришь?

— Разговорчики! — предупредил Узлов и погасил фонарь. — Всем спать богатырским сном...

«Огонь бранного поля — бесовская потеха», — мысленно повторил Волошин слова письма, и его сердце сжалось до невероятной боли: завтра он должен встать к орудию, на место Цыганка, прикоснуться к этому огню. «Грех-то какой! — мучался он. — Грех-то... Противься!»

Он приподнялся на локти, всматриваясь в полутьму. Солдаты спали. Кто-то неистово храпел, заглушая шум ветра, доносившийся снаружи... Неожиданно в темном углу Павел увидел Гавриила. Видение тянуло к нему руки, беззвучно шевеля тонкими губами: «Противься!» Волошин надел шинель, вышел на улицу. Возле кухни заметил часового, шарахнулся в сторону, в чащобу и сугробы, упал и пополз навстречу метели. Он полз долго, а видение, преследуя его, все кричало: «Противься!» Остановился на полянке: кругом была тишина. Но стоять на месте не мог, зашагал безотчетно, сам не зная куда, гонимый одним словом: «Противься!» Уже перед рассветом почувствовал, что идти дальше не может, упал возле большого сугроба, разгреб руками. Под снегом оказались ветви, пахнувшие хвоей. Засыпая, он увидел Христа при двери, и мягкое, ласковое тепло охватило его душу, ему стало хорошо и покойно: не было ни Громова, ни Бородина, ни Цыганка, донававшего его пуще других, он один парил над землей с мыслями о Христе.

Буря утихла на заре. К десяти часам утра уже ярко засветило солнце, заметно потеплело. Местность просматривалась далеко-далеко, каждый бугорок, холмы и рощицы виднелись как на ладони, белизна как бы сократила расстояние. С непривычки Громов даже удивился.

— Отчего это так? — спросил он Сизова, наблюдая за полем.

— Сибирский апрель, — ответил Сизов. — Экая красотища!

— А вы, Алексей Иванович, наблюдательны.

— Десять лет служу в здешних местах, можно сказать, коренной сибиряк. — Сизов

подал Громову схему расположения целей. — Все на своих местах, можно начинать, товарищ подполковник.

Громов пробежал взглядом по схеме: работа начальника штаба его удовлетворила. Он связался по селектору с начальником полигонной команды, приказал быть в готовности, поднять мишень номер один. Это была довольно трудная цель, и для ее поражения обычно затрачивали пятнадцать — двадцать снарядов. Теперь взвод лейтенанта Шахова должен уничтожить ее гораздо меньшим количеством снарядов. Почему-то верилось, что так и получится. Для наблюдения выставлены лучшие разведчики, вся местность разбита на мелкие квадратики, которые занумерованы порядковыми числами. Огневики, наверное, с нетерпением ждут команды.

Громов приготовил секундомер.

— Готовность три минуты! — скомандовал он начальнику полигонной команды и сразу припал к биноклю. Наблюдательный пункт находился впереди батареи, на высотке, с которой хорошо просматривалась местность. Скрытая от огневых взводов небольшая грядой, до самого горизонта расстилалась широкая, похожая на гигантскую чашу впадина. Там и сям чернели одиночные деревья, старые, заброшенные кошары, ближе к селу, возле лесного выступа, виднелся колхозный сарай.

Громов положил на столик бинокль, снял наручные часы с календарем. «Двадцать пятое апреля, — невольно отметил Громов. — Не станет ли это число для нас памятным?» — подумалось ему, и он хотел сказать об этом Сизову, но тот показал на секундомер, и Громов дохнул в мембрану селектора:

— Поднять цель номер один! — снова припал к биноклю. Мишень, обозначающая тяжелый танк, сначала двигалась медленно. Огневики, конечно, ее не видели, их глазами были разведчики и капитан Савчук, находящийся на передовом наблюдательном пункте.

Прогрелось два выстрела. Это ударило основное орудие сержанта Петрицева. Разрывы вспороли снежную целину возле танка, уже разбившего достаточно высокую скорость. Потом наступила минутная пауза. А цель двигалась, делая головкружательные зигзаги, неизменно приближаясь к рубежу, с которого, по условиям учебной задачи, танк произведет выстрел тяжелым снарядом, и тогда... Громов понимал, что произойдет, если такое случится в настоящем бою. Сейчас же просто рухнут все расчеты лейтенанта Шахова и сам он, Громов, испытает горечь неудачи, а с ним вместе и Савчук, и Бородин, и многие другие, кто горячо поддерживал рождение этого начинания, а потом... потом, возможно, придется прятаться за спину партийного секретаря, когда начнут расследовать, как все это случилось... «Нет, Степан,

хотя у тебя и широкая спина, меня прикрыть нельзя, я — командир и ответ буду держать первым».

Грохнул залп из четырех орудий. Когда рассеялся дым и Громов все никак не мог понять, что же произошло с мишенью, в переговорном устройстве прозвучал голос капитана Савчука.

— Цель уничтожена.

Громов посмотрел на секундомер.

— Алексей Иванович, это победа! Здорово, черт возьми! — И уже спокойно попросил Шахова сообщить количество израсходованных снарядов...

...Стрельбы продолжались. Узлов ожидал своей очереди, ему хотелось отстреляться не хуже первого взвода, но он волновался: отсутствие Волошина он скрыл от командира батареи, боясь, что взвод снимут с огневых позиций. Замковым он поставил водителя тягача. Савчук передал исходные данные. Приняв координаты у Шахова, Узлов продиктовал их Цыганку. Тот произвел контрольные расчеты. Основное орудие сделало пристрелочный выстрел.

— Хорошо, — похвалил Шахов. Узлову не терпелось перейти на поражение цели. А Савчук почему-то медлил с переходом на поражение. Но это только казалось Узлову, и он едва успел взглянуть на Цыганку, приготовившегося принять данные для контрольного исчисления, как Шахов скомандовал установки для залпового огня. Узлов громко выкрикнул их командирам орудий и поднял руку, чтобы скомандовать «Огонь», но не мог этого сделать раньше того, как Цыганок подтвердит расчеты. С поднятой рукой он стоял не более двух-трех секунд, показавшихся ему долгими минутами, даже успел в мыслях отчитать Цыганку за медлительность: «Ликбезник ты, а не геометр, получишь на орехи». Когда Цыганок подтвердил данные, когда Узлов взмахнул рукой, когда грохнули орудия и дым осел на нехоженный снег, и Шахов еще стоял в окопчике, принимая от командира батареи результаты стрельбы, Узлов все же упрекнул Цыганку в медлительности, но тот показал на секундомер:

— Меньше нормы, товарищ лейтенант.

— Цель уничтожена, отбой! — крикнул Шахов, и тотчас же окрестность огласилась сухим трубным сигналом, на вышке взметнулся белый флаг, оповещающий о повсеместном прекращении огня.

Полк возвращался в городок. Впереди колонны в «газике» ехали Громов и Бородин. Они молча слушали, как поют солдаты. Песня была про походы, про то, что солдаты всегда в пути... И Бородину и Громову не хотелось нарушать молчание: уж больно песня хороша,

и надо дослушать ее до конца. Но кончалась одна песня, запевалы начинали другую.

— Песни неистоимы... как жизнь, — первым отозвался Громов.

— Это точно, — подхватил Бородин. — Поработали хорошо, почему же и не спеть?

— Да, да... все хорошо, если бы не ЧП... Придется, секретарь, Узлова обсудить на партийном бюро. За хорошую стрельбу — спасибо, но за укрывательство такого случая надо взыскать.

— Согласен, командир. Чертов сектант, подлил нам ложку дегтя. По серьгам заработали. Не смогли воспитать, не смогли предупредить — так вот начнут хлестать нас за этого Волошина.

— Человек пропал, не иголка.

— Понимаю... Я все думаю, как мы проглядели Волошина. Видно, из-за нашего незнания этих самых Библий, Евангелий, молитвенников не нашли ключ к его сердцу... Вот ты, командир, читал их когда-нибудь? — спросил Бородин.

— Нет.

— Вот и плохо. Идеологию врага надо знать, чтобы предметно разоблачать ее. Как-то я говорю Волошину: религия — опиум для народа. А он мне в ответ цитирует десять заповедей — «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй»... Разве, говорит, это не разумные утверждения? Может быть, он соврал мне, я-то откуда знаю. Поискал литературу, переворачивал антирелигиозные книжки, думал, что там будет сказано об этих заповедях. Нет, вокруг да около, одна философия да голые утверждения, что попы подлецы. Я и сам знаю, что попы подлецы, коли отравляют душу людям. А слышал я, что Библия полна описаний бесчеловечных убийств, говорят же: в десятигласовии Моисея прямо пишется: «И сказал господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их господу богу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева господня». Или, к примеру, заповедь «не укради». Она прямо защищает интересы рабовладельцев. В том же десятигласовии Моисея прямо говорится: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Одним словом, не поднимай руки на эксплуататоров. Вот бы ткнуть Волошину носом в эти заповеди: слушай, на какое зверство твой бог толкает Моисея. Но он ведь словам не поверит, нужна литература. Была бы моя власть на то, я бы вооружал всех пропагандистов Библиями, пусть со знанием дела разоблачают попов, очищают мозги тем, кто в их сети забрел по своей темноте... Эх, Волошин, подлил ты нам изрядную ложку дегтя,

— Успокойся, Степан, Волошина ищут, да леко он не уйдет, отыщется. Случай, конечно, паршивый, и нам отвечать придется.

А солдаты пели:

Что мы защищаем, что мы бережем  
Нашим ратным делом, воинским трудом?  
Стройки нашей Родины у великих рек,  
Чтоб народ советский счастлив был вовек.

#### XIV

— Савушка, а Савушка, проснись! — Дмитрич легонько тормошил Савелия за плечо. Приемыш, как всегда, спал крепко; широкое, одуловатое лицо с густыми бровями было бездумно, и весь он лежал перед Дмитричем тяжелый, будто отлитый из металла. Сазонов на минутку задумался. Савушку лечит Дроздов, дает какие-то капли, занимается с ним физическими упражнениями... Дмитрич мало верит в полезность усилий квартиранта. Но Савушка будто бы стал смотреть на жизнь веселее. Это и радовало Сазонова, и тревожило. Тревожило потому, что не знает Дмитрич того, как еще обернется для него выздоровление Савушки, сейчас он податлив и удобен, послушен: что ему скажешь — все сделает, куда ни пошлешь — пойдет, поступит так, как сказано. А что будет потом?..

За окном едва брезжил рассвет. Прогорланил петух в курятнике. На веранде гремел лыжами Дроздов. Он ждал Савелия. Сазонов вздохнул:

— А мне-то что от того? — Ему не хотелось отпускать Савушку, потому что придется, как все эти дни, самому убирать в коровнике, поить и кормить скотину. Савушка возвратится с прогулки лишь к завтраку, и сказать доктору совершенно невозможно — до чего же этот человек свирепый, так отчитает, что потом заикаться начнешь. Уж скорее бы он переселялся в городок. Военные дом заложили, строятся. Смешно: их распушают, а они строятся, пальбу устраивают кажинный день... В такую-то стужу!.. Смешные люди!

Савушка открыл глаза, потянулся до хруста в костях, скрипнув, зашаталась под ним кровать. Вскочил, как и не спал. В белых исподниках, ночной сорочке метнулся к настенным часам. Чиркнул спичкой, упрекнул Дмитрича:

— Чего же не разбудил раньше?

Сазонов промолчал. Он смотрел, как быстро одевается Савушка, и сокрушенно качал головой, чувствуя на душе какую-то тревогу.

— Опять пойдешь, значит?

— Пойду, папаша, режим.

— Так, так... А я, значит, корми и пои. Ведь я ночь не спал, дежурил.

— Мать поможет.

— Мать! — возразил Дмитрич. — Нужны

мы ей... в гробу, в белых тапочках. Уйдет она от нас.

— Неправда, папаша, брехня.

— Эх, суслик, помолчал бы.

— Савелий! — позвал с веранды Дроздов.

— Иду. — Савушка с шумом открыл дверь. Дмитрич в сердцах пнул ногой скамейку, наполняя дом грохотом, увидел в окошко, как Савушка и доктор крепят лыжи, процедил сквозь зубы:

— Мне-то что?! Ре-жи-им!.. Сурок, промолчал бы! Не твоего ума планы... Дарья! — позвал Дмитрич жену.

Дарья показала из кухни, вытирая руки о старенький фартук. Против Дмитрича она казалась совсем низкорослой. Ее серое, исполосованное морщинами лицо было украшено на редкость живыми для ее возраста глазами. «Как же я ее буду бить? — шевельнулась мысль. — От одного раза помрет». Такую драму Дмитрич планировал на крайний случай. Если не разведут подобру-поздорову, тогда он, чтобы убедить людей в подлинности семейной распри, намеревался избить Дарью при народе.

— Что тебе, Митя?

— Второй участок надо оформлять, иначе опоздаем, Савушка прозреет.

— Каким же образом, Митя?

— Договорились, что же спрашиваешь?

— Не разведут, Митя.

— Разведут... Подеремся, поверят.

— Страшно, Митя. Неужто рука поднимется? Господи!

— Земли передают совхозам. Спешить надо, пока в артели значимся. В совхозах не очень-то балуют приусадебными участками, получай рубль и иди в столовку щи хлебать. На рубль не обернешься, и на рынок его не повезешь. Соображаешь?..

— Страшно, Митя.

— Для порядка побью, тогда и закон на нашей стороне, — сказал Дмитрич. Он взял счеты, начал подсчитывать, как пойдут дела, когда будет два приусадебных участка.

— Боязно, — прошептала Дарья, собираясь доить коров.

Все кругом еще спало, только со стороны стройки доносились какие-то непонятные шумы, вспыхивали отсветы автогенов. Преодолев небольшой подъем, Дроздов остановился у дуба с широкой кроной, оглянулся. Савушка, кряхтя и что-то шепча себе под нос, медленно взбирался на пригорок. Чуть слышно гудели ветви многолетнего дерева. Ожидая Савушку, Дроздов вслушивался в шепот дуба... Летом нещадно палит солнце, омывают дожди, сечет град, суховеи жгут его ветки, зимой морозы, метели, а он стоит себе столько лет! «Как не-

справедлива природа к человеку», — подумал Дроздов и постучал палкой по твердой коре: бум, бум — только и могло ответить дерево.

— Бум, — усмехнулся Владимир, слыша за спиной тяжелое дыхание Савушки. — Устал?

— Есть маленько, — признался Савушка. Он был выше Дроздова, шире в плечах, но держался так, словно его давил тяжелый, непосильный груз. Ходил медленно, оставляя на земле отпечатки ног. Сейчас Дроздову показалось, что Савушка стоит на лыжах легче, чем раньше, и он подумал о том, что надо бы написать академику Априну о своих наблюдениях. Савушка заметно крепчает, физическая нагрузка исцеляет парня.

До леса оставалось около десяти километров. Савушка знал: там их конечный маршрут, возле копны из ветвей. В лесу, как всегда, тихо, после усталости приятно бывает лежать на мягких ветвях и смотреть, как доктор о чем-то думает. В такие минуты у капитана резко очерчиваются складки на лице, а взгляд далекий-далекий, и Савушке от этого становится немного боязно, но он не мешает доктору молчать...

...Над головами нависал козырьком слой снега. Тонкой струйкой к ногам стекала снежная пыль. Усталость прошла, Савушка зябко поежился, прижимаясь к ветвям.

Дроздов сказал:

— Раздевайся до пояса!

— Зачем? — дрогнувшим голосом спросил Савушка. Но все же доверчиво начал расстегивать телогрейку. — И сорочку снимать?

— Снимай...

— Замерзну, доктор.

Дроздов растер снегом его тело докрасна и велел быстро одеваться, потом заставил побегать вокруг копны. Савушке стало тепло, приятно.

— Ха-ха-ха!.. Колдун ты, доктор! — кричал Савушка, радуясь, как ребенок. Вдруг он заметил солдатские кирзовые сапоги, видневшиеся из-под копны, потянул за каблук.

— Ноги, доктор, ноги! — закричал Савушка. — Человек тут.

Волошин находился в полуобморочном состоянии. Дроздов привел его в чувство. Волошин попытался встать, но тут же упал, идти он не мог. Он пролежал под копной целые сутки, то просыпаясь, то вновь впадая в забытие... Его положили на волокушу, сделанную из лыж и ветвей. Волошин лежал смиренно, скрестив руки на груди. Он не верил, что видит живых, настоящих людей: для него они были призраками, явившимися во сне, и его правая рука все тянулась, чтобы опереться о землю, вскочить и бежать, но сделать он этого не мог, сил не хватало.

«Николай! Дорогой мой генерал! Опять я одна. На днях уехала Машенька. Она успешно защитила диссертацию. Сколько радости было: в семье появился ученый! Но радость моя была недолгой, да и была ли она, я сейчас уже не знаю.

Маша возвратилась домой под вечер, во взгляде ее было что-то таинственное. Я сразу это заметила.

— Доченька, ты хочешь что-то сказать мне? — спросила я.

— Да, мама, — сказала она, разливая чай.

— Говори, не бойся.

— Не обидишься, мамуля?

— Постараюсь, — сказала я.

Она подошла, крепко обняла меня и говорит:

— Я попросилась в Хабаровск. Меня посылают туда научным сотрудником. Ты рада, мама?

Что я могла сказать? Я знала, что передо мной стоит не просто моя дочь, а научный сотрудник, государственный человек.

— Хорошо, поезжай. — Вот и все, что я сказала.

А через три дня она уехала. Я не сразу сообразила, что осталась одна. А когда поняла, страх охватил. Это были тяжелые минуты. Лучше о них не вспоминать. Я старалась успокоить себя и успокоила. Теперь мне лучше. Вот сижу и пишу тебе письмо, и вновь передо мной проходят тропки нашей совместной жизни. Я сказала «тропки», но какие же это тропки? Это целые дороги, магистрали! Разве может на тропках встретиться то, что мы видели!

Ты, наверное, кое-что уже забыл? Это свойство мужчин — быстро забывать и горе и радость, а женщины помнят все, особенно женщины-матери.

Мне часто вспоминается июнь сорок первого года. Ты тогда служил на западной границе, и мы: я, Маша и Володя — жили с тобой. Тебя вечно перебрасывали с одного места службы на другое. Только ты устроишься, только мы успеем приехать, как снова перебрасывали. Но на этот раз мы вместе находились целый год. О, какое это было счастливое время!

И вдруг война! На глазах у меня ты повел бойцов и командиров в бой. И тут же, на глазах у меня, ты был тяжело ранен осколком от разорвавшейся бомбы. Я с санитарями перевязывала твои раны. Но в это время вновь налетели фашистские самолеты. Они были жестоки и неумолимы, бомба упала в наш дом.

— Дети! — крикнула я и лишилась сознания.

Пришла в себя только в санитарном поезде. Ты лежал рядом, забинтованный и бледный. У ног твоих стояла Маша. Но в вагоне не ока-

залось нашего сына Володи. Он погиб под обломками дома.

Этого я не забуду никогда!

А что же ты?

Едва зарубцевались твои раны, ты убежал из госпиталя, пришел ко мне (я тогда остановилась с Машей у одной женщины, жившей рядом с госпиталем), обнял, помолчал и, не спрашивая о пережитом, стал рассказывать о своих товарищах по госпиталю. Рассказывал весело и даже немного рассмешил меня. А потом вдруг поднялся и подал руку:

— Через полчаса эшелон отправляется на фронт. Я еду принимать полк. Жди меня здесь.

— Сколько ждать-то? — спросила я.

— Не знаю, Ира, — ответил ты и, крепко поцеловав, ушел, оставив одну наедине со страшным горем.

Потом началась эвакуация предприятий, населения города. Я шла пешком по степным дорогам. Желтая кисея пыли — солнца не было видно, — и люди, люди, они брели группами и в одиночку, неся узелки, чемоданы, корзинки. Живые цепочки понурых пешеходов ручейками стекались к большой дороге, образуя пеструю и молчаливую колонну, у которой не было ни края, ни конца.

В Куйбышеве, куда я попала через два месяца, устроилась работать в госпиталь медсестрой. Каждый день привозили тяжело раненных бойцов и командиров. Каждый день я с тревогой выбегала навстречу машинам и смотрела, смотрела, вглядываясь в забинтованные лица: нет ли тебя? Спрашивала: подполковника Захарова не довелось ли встречать?

И так полтора года изо дня в день:

— Не довелось ли встречать подполковника Захарова?

Однажды, это было ночью, в палату внесли офицера. Мне показалось, что это ты, у раненого виднелись одни глаза. В ногах появилась слабость, и я вскрикнула:

— Коля!

Офицер прошептал:

— Меня зовут Андреем, сестрица.

— Подполковника Захарова не довелось ли встречать?

— Николая Ивановича?

— Да, да, Николая Ивановича.

— Муж, что ли?

— Муж. Видели?

— Сдался он в плен фашистам, — просто-нак человек и отвернулся от меня.

С той поры в госпитале со мной перестали разговаривать. Я ходила на работу, но мне ничего не поручали. Начальник госпиталя сделал запрос в Москву. Недели через три он вызвал меня в кабинет: «К сожалению, все подтвердилось... Ваш муж сдался в плен, ведется следствие», — сказал начальник.

— Неправда, не может быть! — закричала я, теряя сознание.

Ночь темная-темная. Я стою у ограды госпиталя. Подходят машины. Бросаюсь к раненым: «Захарова не довелось встретить? Он подполковник». Мне никто не отвечает, никто! Ругала ли я, осуждала ли тогда тебя? Трудно вспомнить, но хорошо знаю: не верила, что так ты мог поступить. И вот письмо Сталину: «Ты один на земле, кто поймет мое горе и страдание. Твое большое, доброе отцовское сердце не может не откликнуться. Умоляю Вас, дайте распоряжение на пересмотр дела подполковника Захарова...»

В ожидании ответа я продолжала по ночам (днем боялась попасть людям на глаза) ходить к госпитальным воротам. Спрашивала, спрашивала: «Не видели?... Не встречали подполковника Захарова?»

Весна прошла, лето минуло, я спрашивала... Упали листья с деревьев, окровавленными тряпичками они лежали на тротуарах, рождая во мне еще больший страх. Но я спрашивала...

Как-то подходит ко мне сторож, старик Нилыч (в госпитале его звали «Молчуном», он был на редкость неразговорчивым человеком), берет меня за руку и ведет к фонарю. Достал из кармана потертую газету, спрашивает: «Ирина, как твоего звали-то?» — «Николай Иванович», — ответила. «Командовал стрелковым полком?» — «Да, стрелковым». Нилыч отдал мне газету и сказал: «Беги домой и прочитай вот эту статейку». Но я тут же, под фонарем, прочитала: «Подвиг подполковника Николая Захарова». Писали о тебе, писали, как ты попал в окружение, находясь на командном пункте, как в течение недели удерживал маленькую сопочку и потом раненым уполз со своим ординарцем в лес и как потом, через два месяца, возвратился в дивизию. Не писали только о том, как тебя сразу, по выходе из окружения, отправили в тыл и шло следствие. Об этом мне рассказал твой ординарец, когда ты уже командовал дивизией. «Произошло просто недоразумение», — сказал он. Может быть. И тогда подумала о письме в Москву: дошло, наверное, свет не без добрых людей, коль тебе поверили. Теперь ты пошел на повышение. Откровенно говоря, я горжусь тобой, горжусь потому, что верю — ты всегда будешь таким.

Знаю, скажешь: «Да, так и будет, Ирина». Согласна, дорогой. И на этом ставлю точку.

Твоя Ирина».

Захаров нажал на кнопку звонка. Пока Бирюков, громыхая сапогами, бежал по коридору, он положил письмо в карман, успел посмотреть в окно на стройку. Среди четырех корпусов отыскал взглядом дом, на котором рабочие за-

канчивали укладку шиферных плит. В оконных проемах уже поблескивали стекла. В одной из квартир этого дома он будет жить с Ириной, и ей тогда не придется писать длинных писем. «Потерпи немного, одну малость... царевна Несмеяна», — прошептал Захаров. Он попытался вообразить жену, какой она теперь стала, но перед глазами возникала Ирина с чемоданом в руке, а рядом с ней он сам, тоже с чемоданом. Они стоят на перроне. На Ирине светлый макинтош, на непокрытой голове волосы собраны в тугую «калач», тронутый сединой. На лице ни одной морщинки, иссиня-черные брови, карие глаза... «Да, она у меня еще совсем молодая», — подумал тогда Захаров. Подходил поезд, и Ирина, как всегда, когда она провожала его в дорогу, а провожала часто, вдруг заволновалась: «Ну вот, снова ты уезжаешь... Пожалуйста, пиши... как приедешь — сразу напиши». — «Хорошо, хорошо, Несмеяна, слушаюсь... Ты не волнуйся, это, наверное, последний раз уезжаю. Теперь нашего брата меньше тревожат. Говорят, приказ готовят: офицеров и генералов без особых нужд не перемещать в течение ста лет». — «Ты все шутишь», — на ее лбу появились морщинки, и он припал к ним губами...

Кадровик стучал в дверь. Захаров, еще раз взглянув на строящийся дом, ответил:

— Войдите!

Бирюков, гладко причесанный, лихо отпортывал:

— Товарищ генерал, по вашему вызову прибыл!

— Подвели вы меня, товарищ подполковник...

— Как понять, товарищ генерал?

— Как! Документ подсовываете на увольнение в запас полковника Сизова. Оказывается, у нас такого офицера нет. Прошу объяснить, почему так случилось?

Захаров намеревался поговорить с Бирюковым сразу, по возвращении из полка, но не смог: его вызвали в штаб округа на доклад о готовности к приему ракетной техники. На поездку и доклад ушло трое суток. Когда вернулся, Гросулов встретил его сообщением о ЧП в арtpолку. Петр Михайлович был встревожен, говорил о происшествии как о чем-то непоправимом. Захаров приказал ему лично выехать в полк и разобраться на месте, установить конкретных виновников.

— Разрешите, товарищ генерал?.. Полковник Сизов, Алексей Иванович, сорок пять лет, начальник штаба арtpолка... Есть такой, — сказал Бирюков, впервые видя генерала таким накаленным.

— Верно. Но это не тот Сизов, которого вы знаете. Это другой Сизов, умный, думавший офицер.

— Может быть, товарищ генерал, он и умный, но по анкете, в смысле трех китов...

Генерал побагровел:

— Зарежьте китов и выбросьте их на свалку! Объявляю вам выговор за формальное отношение к служебным обязанностям. Этот случай будем считать последним, никаких китов, только живой человек. Поняли? Идите...

На столе лежала рукопись. Субботин прочитал ее, сделав свои замечания. Генерал взял первую страничку.

«Будет ли война или не будет, применят ли войска или не применят термоядерное оружие, или оно так и останется лежать на складах, обратясь в некий вечный неприкосновенный запас, напоминая людям о своей страшной силе, для армии сейчас это не должно быть вопросом, предметом догадок и бесплодных рассуждений в поисках ответа... Новое оружие грозное, беспощадное и, может быть, даже опаснее, чем мы себе это представляем... Оно — оружие. Это — истина. А истины опасно игнорировать... В свое время пулемет, танки, газы были опаснейшим, наводящим ужас оружием. Войска не только освоили это оружие, но и научились бороться против него, успешно действовать в условиях его применения...»

Захаров запечатал рукопись в подготовленный пакет, вызвал дежурного по штабу и велел отправить в Москву.

— Да, Ирина, надо делать все, чтобы те годы не повторились, — вслух произнес Захаров. — Не повторились во веки веков.

## XV

Дом, в котором жили Крабовы, стоял на пригорке при въезде в село. Гросулов еще издали заметил в окнах свет. Не хотелось ехать прямо в штаб полка, не побывав у Льва Васильевича. Петр Михайлович захватил с собой ружье, наметил воскресный день провести на охоте, совместить приятное с полезным. Собственно, приятного будет мало. Не легко разобраться, найти конкретных виновников, но он рассчитывал на помощь Крабова и был убежден, что тот выложит все начистоту. В общих чертах он знал, что произошло в лагере: сбегал солдат, лейтенант Узлов скрыл этот случай, вовремя не доложил... и разрешили Шахову безвзвешенную стрельбу. Последнее больше занимало Гросулова. «Что человеку нужно было, ведь знал же: полк не завтра, так послезавтра расформируют, пошел на какие-то починки, новшества», — думал он о Громе. Рассуждая так, полковник пришел к выводу, что Громов не по своей воле рискнул вывести подразделения в лагерь, да еще при этом экспериментировать. Кто-то на него нажал. «Крабов?

Он был против. Кто же? Бородин?.. Секретарь партийного бюро. Это уж точно», — решил Гросулов.

Петр Михайлович уже не думал о Громе, почему-то все его мысли теперь были о Бородине. Он вышел из машины, поднялся на крыльцо, постучал в дверь. Открыл Крабов.

— Петр Михайлович, товарищ полковник!

— Как видите, он самый.

— Проходите, товарищ полковник.

Гросулов разделся, набил трубку табаком, басовито спросил:

— Один, что ли?.. Где Елена?

— Сейчас доложу, — засуетился Крабов. — Но прежде поужинаем. Разрешите накрыть на стол? Я мигом. — И, не дожидаясь ответа, побежал в кухню. Минут десять гремел там посудой. Петру Михайловичу, откровенно говоря, есть не хотелось, но он знал, что у Крабова всегда найдется что-то вкусенькое, как у всякого порядочного охотника и рыболова. Именно там, в горных лесах и на озерах, а не в штабе артиллерии, где Крабов проработал три года, Гросулов привязался к этому человеку. Подполковник стрелял из ружья отменно, следы распознавал безошибочно. Охотиться с ним легко, беседовать покойно: обо всем он проинформирует, расскажет и, главное, никогда не возражает, что бы ему ни сказал.

— Пожалуйста, Петр Михайлович, холодная медвежатина, грибки. Разрешите... по стопочке? — Крабов полез в шкаф, в его руке заблестела бутылка «Столичной». — Спрашиваете, где Елена? Сейчас доложу.

Выпили по стопке. Крабов откусил маленький кусочек медвежатины, качнул головой на дверь:

— Наш Громов бал семейный устроил, для солдат чайную открыл. Понимаете, как мы жили при новом командире. Приходи любоваться, да... нечем. ЧП-то какое! Позор! С Громова как с гуся вода — офицерский бал устроил. Елену я послал в клуб посмотреть на эту компанию.

— А сам почему не пошел? — Гросулов поднялся и зашагал по комнате.

Крабов поспешил ответить:

— Что вы, Петр Михайлович. Я же понимаю, это — пирушка. Потом сами будете меня ругать и стругать.

«Экий ты, братец, осторожный», — подумал Петр Михайлович и спросил:

— Разве я тебя когда-нибудь ругал?

— Учили, а ругать не ругали.

— Учил, — задумчиво произнес Гросулов. — А как Бородин смотрит на этот вечер?

— А что ему? Командир приказал, его дело исполнить.

— Так и должно быть. Однако же странные командиры нынче пошли — вечера

организуют, танцульки справляют... И это в то время, когда в полку такое ЧП!

— Громов тяготеет к увеселительной деятельности. Водолазов все на здоровье жаловался, крихтел, а этот вечера организует... Остается только заместителю по строевой примкнуть к ним — и тогда боевая подготовка, считай, кубарем покатила. Вот безвильчатая стрельба... чистейшая благоглупость! Явное нарушение наставления артиллерии. — Крабов полагал, что сейчас полковник взорвется и начнет допытываться, как же произошло всё это, но, заметив, что Гросулов не слушает, о чем-то думает своим, спросил:

— Разрешите еще по стопочке, Петр Михайлович?

— Хватит. Всю ее не выпьешь, и стремиться к этому не надо. — Он опустился на диван, стал наблюдать, как подполковник убирает со стола. Где-то в глубине души у Петра Михайловича тайлось чувство брезгливости к Крабову: вот эти увертки, сладенькие словечки, которые тот расточал в его адрес, вечные жалобы на невезение в службе всегда подмывали Гросулова отчитать Крабова, но он сдерживался. — А я думаю, что во всем виноват ваш партийный секретарь. Почему он дал возможность Громову пойти на такое нарушение? Почему? Ответь мне.

— Что он мог сделать? Вы же, Петр Михайлович, сами говорите: командир — это все: царь и бог, а остальное — ремень от винтовки.

У Гросулова задергался шрам на щеке. Его сухие глаза широко открылись:

— Разве это мои слова?

— Да как вам сказать... Может быть, и не ваши, только Бородин тут ни при чем, — смягчил Крабов.

— По-твоему, командир виноват?

— Конечно, он. Опыта и воли не хватает.

— Ты убежден в том, что Громов виноват?

— Конечно.

— Давай выкладывай.

Рассказ получился длинный, со множеством деталей и совсем неинтересных для Гросулова отступлений. Полковник запомнил только одну: те мысли по огневой подготовке, которые когда-то волновали его самого, лейтенант Шахов, кажется, сумел осуществить на практике. Когда Крабов умолк, он, словно пробудившись, произнес:

— Со второго выстрела, говорите?.. По закрытой цели?..

— Дело-то не в этом, Петр Михайлович.

— Нет, в этом, — сказал Гросулов и махнул рукой. — Ладно, будем спать. Завтра встанем в четыре. Две недели не охотился. Тянет, а потом уж займусь вашим ЧП.

Гросулов лег на диван. Поправляя на себе одеяло, продолжал:

— Генерал Захаров прочитал докладную Громова. Он накануне моего отъезда прислал. Сказал: поезжай разберись, кажется, что-то хромее начали... Посмотрим, разберемся... По закрытой цели... Это здорово!

Крабов собирался выключить свет, но рука его вдруг опустилась:

— Генерал?! Одобряет?

— Гаси свет, Лев Васильевич, на охоте поговорим.

Крабов щелкнул выключателем и вышел на кухню, чтобы там подождать Елену.

Расследование «узловского дела», как показалось Крабову, шло несколько странным образом. Первый день, это было в понедельник, Гросулов еще кое-как интересовался им: он с пристрастием допросил Узлова. Тот отвечал коротко: «Да, знал, что Волошина не оказалось на огневых позициях, докладывать командиру батарее сознательно не стал, могли бы отстранить взвод от стрельб, а я хотел, как и все, отстреляться в срок и хорошо».

На второй день Гросулов уже забыл о ЧП, полностью занялся изучением результатов стрельб взвода лейтенанта Шахова. Он сидел в кабинете командира полка и вызывал к себе по одному человеку.

Вошел Савчук. Полковник знал этого офицера давно, обратился к нему по имени и отчеству:

— Садитесь, Петр Захарович. Вы член партийного бюро?

— Да, товарищ полковник.

— Знаете, по какому делу я вызвал?

— Знаю.

— Что скажете?

— Скажу, что идея Шахова далась нам не легко. Водолазов не хотел слушать. Громов — новый человек, проявил вполне понятную осторожность... пока сам не убедился в полезности дела. Лейтенант Шахов...

— Погодите, погодите, — остановил Гросулов Савчука. — Бородин нажимал на Громова?

— Нажимал, товарищ полковник. И не только он, многие коммунисты старались, чтобы новый командир быстрее понял ценность начинания.

— Удивительно! — Полковник резко поднялся и зашагал по кабинету, попыхивая трубкой. — Выходит, что командира опутали, подмяли под себя. Удивительно! Какой же он командир, если допустил такое насилие над собой?! — Петр Михайлович, поостыв немного, сел на прежнее место, заметил на лице Савчука недоумение и уже с меньшей строгостью продолжал: — В чем эта ценность выражается? Может быть, Шахов Америку открыл?

— Товарищ полковник, вы лучше меня знаете артиллерию. Разве вы не понимаете, как важно в современном бою метко стрелять по врагу!

Гросулову показалось, что капитан учит его, словно новичка посвящает в тайны, которые давно знает. Он, сощурился глазами, резко бросил:

— Экая глубина мысли! — Помолчав, спросил, глядя в окно: — Капитан, вы представляете, что для этого нужно?

Савчук спокойно ответил:

— Много, товарищ полковник. Заранее знать местность, иметь хороших разведчиков, вычислителей, мастеров огня...

— Да, да! И этого мало!

— Верно. Командир полка знает об этом, и он делает все, чтобы наши разведчики отлично владели своим делом.

— Знает! — вразяжку произнес Петр Михайлович. Он поймал себя на мысли, что завидует Громову. «Черт возьми, похоже на то, что они что-то дельное начали», — пронеслось у него в голове. Чувство зависти быстро угасло.

— Савчук, скажите прямо: стоящее это дело?

— Очень стоящее, товарищ полковник. Вы посмотрите, какой планшет изобрел Шахов. Устройство удивительное!

— Понимаю, понимаю, видел. Но Крабов говорит: прежнее начинание.

— Время зависит от людей. Сложна рука и дедовским способом не поразишь цели. Мы же имеем новейшие приборы, локаторы... Солдаты у нас со средним образованием, а есть и с высшим.

— Там кто еще есть? — Полковник показал на дверь.

— Наводчик ефрейтор Околицын.

— Пусть войдет. Вы можете идти... Как зовут? — поднялся навстречу ефрейтору Гросулов.

— Александр, товарищ полковник.

— А по отцу?

— По отцу, товарищ полковник, буду Матвеевичем.

Гросулов недоверчиво измерил солдата с ног до головы.

— Скажите, Александр Матвеевич, вы стреляли в лагерях?

— Так точно, стрелял.

— Какое количество снарядов выпустил ваш расчет?

— Один пристрелочный, один на поражение...

— Очень хорошо! А нужно было по норме?

— То ж, товарищ полковник, по норме. Мы эту норму к ногтю. Чего же на нее смотреть. Читал я сегодня газету, шахтеры еще не так эту норму прижимают... А разве плохо мы по-

ступили, товарищ полковник? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Мы вот еще немного потренируемся, весь полк так будет стрелять. Экономия боеприпасов — раз, умение быстро поражать цель — два. Ночью цели, скажем танки, очень шибко бегают, тут надо именно с первого выстрела поражать их... А третье, товарищ полковник, — этим самым мы разным сачкам беспокойство создаем.

— Каким «сачкам»?

— Тем, которые говорят: «Солдат спит — служба идет».

— Комсомолец?

— Так точно. Мы им, сачкам-то...

Гросулов уже не слушал ефрейтора. «Мы, — думал он, — комсомольцы! Да, время, время. Может быть, так и должно быть? Неужели я отстаю?» — с ужасом спросил себя и, ни слова не говоря стоящему перед ним ефрейтору, начал одеваться. Потом долго ходил по городку, думал, взвешивал, приглядывался к людям и очень жалел, что инициаторам начинания не придется воспользоваться внедренным методом.

...Утром Гросулов уезжал в штаб дивизии. Громов провожал его до машины, стоявшей у проходных ворот. Полковник, открыв дверцу, спросил:

— Вы знаете, что ваш полк реорганизуется?

— Я знаю об этом давно.

— Так... знали... Это хорошо, по-солдатски, стоять у знамени, пока не придет разводящий... Не каждый на это способен. Ведь среди нас есть и такие, которые при вашем положении не стали бы брать на себя лишние хлопоты.

Громов хотел возразить, но промолчал.

— Как-то, еще будучи командиром батареи, я вынашивал мысль о таком вот методе стрельбы. Дело это стоящее, нужное. — Гросулов потрогал свой синеватый шрам, хотел было сесть в машину, но задержался. — Скажите, Громов, а Бородин как секретарь парторганизации всегда такой?

— Какой, товарищ полковник?

— Прямой, как рельса, — сказал Гросулов и, сев в машину, добавил: — Хороший секретарь, наш, артиллерийский. Узлова пропесочьте на партбюро. Впрочем, смотрите сами... Поехали, — сказал он водителю.

Еще издали Гросулов заметил на пригорке одиноко стоявшего человека. Это был Крабов. Гросулов пожалел, что пригорок нельзя объехать другой дорогой. Он велел шоферу остановить машину, в надежде, что Крабов уйдет к себе в дом, но подполковник уже заметил «победу» и шел навстречу. Гросулов, не выходя из машины, крикнул:

— Ты чего, Лев Васильевич?

— Хочу посоветоваться. В Москве есть знакомый генерал... Гришманов...

— Ну и что?  
— Думаю написать ему... Сколько же в замах ходить!  
— А-а, вот ты о чем. Пиши, Гришманов своих знакомых вроде не забывает... Ну, до следующей охоты! — крикнул Гросулов, захлопывая дверцу.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

Дни реорганизации полка в ракетную часть прошли довольно быстро. В сутолоке многочисленных дел: отправляли на склады старое оружие, принимали новое, укомплектовывали личный состав подразделений, переоборудовали под ракетные установки помещение закрытого винтовочного полигона — Бородин не заметил, как наступила весна, как поля покрылись всходами и завихрилась первая пыль по дорогам. Не до этого было... Едва сформировались, Громов уехал на методические сборы командиров ракетных частей. Бородину пришлось кружиться как белке в колесе, зачастую решая вопросы и за командира и за себя. Подполковник Крабов, назначенный начальником штаба и оставшийся за Громова, то и дело обращался к нему за советом, робко входил в курс новых обязанностей. Теперь же, когда горячка прошла, осмелел, старается к возвращению Громова управиться с методическими сборами младших специалистов. Сегодня Бородин собирался поехать в лес — там работает группа солдат на заготовке строительного леса для расширения автопарка. Крабов посоветовал не ехать: «Ничего не случится, проведи ты, Степан, этот выходной день дома, погуляй с сыном».

Утром Бородин получил письмо от Громова: «Воображаю, как ты там воюешь на два фронта — резервисты ведь на твоём политобеспечении. А я тут набираюсь книжной мудрости, практических занятий тоже хватает, в день занимаемся по десять часов. И все же мне здесь легче, тем тебе там. Но крепись, приеду — получишь отгул, отоспишься, дела свои семейные уладишь. Если тебе что-нибудь надо купить, напиши — привезу: в городе все есть».

Льву Васильевичу и Елене Ивановне нижайший поклон».

Семейные дела... Бородин невольно посмотрел на знакомый дом Водолазова. «Сходить, что ли? Может, приехала». Он оделся, почистил ботинки.

Еще издали заметил стоящего у калитки Водолазова, одетого в серый гражданский костюм. Видимо, он кого-то ждал. «Не ее ли?» Бородин почему-то заколебался, но Михаил Сергеевич заметил его, позвал:

— Степан, на минутку. — Он первым подал руку, спросил: — К нам?

— К вам, Михаил Сергеевич. Наташа дома?

— Э-э, брат, раньше-то она раз в месяц навещалась, а теперь, когда узнала, что Громов... она не появляется здесь, так что ищи ее там, на стройке... Как у вас в полку? Слышал: перемены большие, новую технику получили.

Ко двору подкатила двуколка. Дмитрич резко осадил коня, крикнул:

— Утра доброго, Михаил Сергеевич. Докладываю: прибыл.

— Одну минутку, — ответил Водолазов, и Бородину: — Знакомлюсь с хозяйством. Фронт, скажу тебе, беспокойный, дел непочатый край. — Он улыбнулся. — Хочешь, подвезу, мимо стройки будем ехать.

— Спасибо, я как-нибудь потом, Михаил Сергеевич.

— Заходи, заходи, буду рад.

Дмитрич гикнул на коня, щелкнул кнутом...

Знакомая калитка, знакомые окна. Фонарный столб, деревья. Все, как прежде. А чувство такое, будто кругом ничего нет, пустота, только слышится громыхание двуколки, удаляющейся в облаке дорожной пыли. Долго стоял Бородин неподвижно, пока не понял, что надо возвращаться на квартиру: бессмысленно торчать у прохожих на глазах. На обратном пути вернулся к Крабовым: хотелось с кем-то поговорить, освободиться от сосущей боли, которая появилась еще утром, когда держал сына на руках. Бородин был убежден, что Громов не вернется к Наташе, но в то же время сомневался в том, что теперь она не изменила своего отношения к нему, Степану.

Елены дома не было. Крабов встретил вопросом:

— Завтракал?

— Да, сыт.

— А может быть, по рюмочке? Отпразднуем наше назначение. — Крабов не был уверен, что его оставят в ракетной части, но помог Гросулов. Сизова перевели в управление артиллерии штаба округа — работает инспектором.

— Нет, нет... Настроение у меня сегодня паршивое, — признался Бородин, — какая-то хандра появилась. И зачем выходные дни придумали? В работе человек чувствует себя куда спокойнее. Напрасно я не поехал к солдатам в лес.

Крабов почему-то всегда побаивался Бородину. В разговорах с ним чувствовал себя так, будто Бородин знал его сокровенные мысли. После же того, как при обсуждении Узлова на партбюро Крабов вдруг всем на удивление обрушился на Громова, назвав его основным виновником чрезвычайного происшествия в полку (Крабов тогда сурово осадил и Бородин,

и другие члены бюро), после этого случая он стал и заискивать перед Бородиным.

— Вам-то, Степан Павлович, хандрить! Шутите. Дела у вас идут отлично, заслуженно получили должность замполита... А я топчусь на месте, к тому же порою страшно одолевает: Громов когда-нибудь задаст мне по первое число, не забудет тот случай на партбюро.

— Что посеешь, то и пожнешь, Лева.

— А что я сею?

— Склоку. Пора кончать с этим позорным делом. — Бородин ожидал, что Крабов вспыхнет, начнет, как он всегда делал, оправдываться, но он с горечью сказал:

— Ты прав. Если бы кто мог заглянуть в мою душу, он бы увидел, как я мучаюсь. Что же делать, посоветуй.

— Честно служить, честно трудиться. Заметят — оценят.

— Да, да, верно, Степан Павлович. Ты прав, тысячу раз прав. Но я знаю: долго будет вспоминать: такой-сякой Крабов, против коллектива пошел.

— Глупости! Все прошло. И нечего казнить себя сомнениями. Дел у нас теперь непочатый край, только поворачивайся: новая техника, новые задачи. Да разве сейчас время думать о прошлом, о каких-то обидах!

— Это верно, но все же...

— Что «все же»?

— Надо как-то себя оправдать, чем-то показать, чтобы и ты, и Громов, и все в части поверили, поняли, что Крабов честный, смелый офицер. И это я сделаю, попомни мое слово, Степан, сделаю.

— Ваяля, простору много, есть где силы приложить, — сказал Бородин и заинтересовался: — Куда Елену услад?

— Она пошла в книжный магазин. Говорят, поступили популярные книги о ракетах. Она у меня хороший помощник.

— Это верно. Но за книгами надо было бы самому пойти.

— Времени нет... Вот посмотри, — Крабов открыл дверь в спальню, показал на стол, на котором лежали книги, рукописи, — готовлю лекцию о ракетном оружии. Думаю, возражать не будешь, если выступлю перед личным составом?

— Возражать! Да это ведь замечательно. Голосую «за» обеими руками!

Бородин ушел от Крабова в приподнятом настроении. Инициатива Льва Васильевича пришла по душе. Как это он сам об этом не подумал? Лекция — это здорово! Даже сосущая боль притупилась. На полпути к дому вдруг почувствовал чей-то взгляд на своей спине, оглянулся — в десяти метрах стояла Наташа.

Она подходила к Бородину медленно, как подходит к матери нашаливший ребенок, чтобы

попросить извинение или получить должное за свои проделки. И пока она приближалась, Бородин все время смотрел ей в лицо, позабыв обо всем: не было ни ветра, ни солнца, не было и земли, на которой он стоял, была только она, маленькая, с обнаженными по плечи руками, немного капризными губами и чуть побледневшими щеками.

— Здравствуй, Степан, — проговорила Наташа.

— Добрый день.

— Какой же день? Вечер. — Она сняла с руки темную кофточку, набросила ее на плечи, слегка пожевываясь. Бородин оглянулся: верно, вечер — солнце уже пряталось за горы, тени от деревьев пересекли дорогу, на которой они стояли. Он промолчал, наблюдая, как она просовывала руку в рукав кофты. Захотелось взять ее за плечи, помочь одеться.

— Уйдем с дороги, — сказала Наташа и первая направилась к тропинке. Стежка вела к реке, она была узенькая, для одного человека. Бородин шел вслед за Наташей, невольно думая: «Рядом с ней мне уже места нет». Еще было светло, и Бородин видел маленькие розовые ушки Наташи, возле мочек, нежных и красных, в крутой спирали пушились темные завитушки, под кофтой угадывались овалы маленькие плечи. Она немного замедлила шаг, чуть посторонилась, взяла Бородину под руку, вскинула голову. По взгляду было заметно: что-то хочет спросить.

— Он где сейчас? — Она не осмелилась сказать «Сергей», ей как-то еще не верилось, что Громов, тот самый Громов, о котором она в течение шести лет пыталась забыть и перед которым все эти годы чувствовала себя виноватой, окажется здесь, в Нагорном, да и имя его она уже разучилась произносить. — Я слышала, он уехал, — продолжала Наташа, останавливаясь у обрыва реки.

— В Новосибирске, — ответил Бородин, кося взгляд на нее и думая, как воспримет это сообщение.

— Уехал... — В голосе Наташи чувствовалась тревога, беспокойство, ее темные глаза вдруг погустнели. — Совсем?... Алешу не повидал... Он никогда его не видел... Почему же он уехал?

— Он скоро вернется, дней через двадцать. Скажи мне, Наташа, откровенно: ты его любишь?

Она испугалась этих слов. Вдруг съежилась, будто попала под струю холодной воды, но ничего не ответила, а только вскинула взгляд на Степана, и он успел прочесть в этом взгляде: зачем спрашиваешь? Бородину стало неловко. Он взял ее под руку, и они пошли вдоль крутого обрыва. Она шла покорно, чуть опустив голову.

— Он мне никогда не простит. Никогда! Вот я же сама себя не простила. А он... Громов, что, уж совсем бесхребетный? Посоветуй, как мне быть? — надсадно спросила, отворачиваясь. Она плакала. Бородин стоял неподвижно, не зная, что сказать. Он понимал ее состояние, и все же ему не хотелось, чтобы она плакала. Конечно, Алеша — это та самая живая нить, которая связывает ее с Громовым. Но разве он, Бородин, когда-нибудь говорил ей, что ребенок будет помехой в их совместной жизни? Напротив, когда они поженятся, много внимания будет уделять детям — Павлику и Алеше.

— Успокойся. — Он робко положил свою тяжелую руку на ее голову. — Успокойся, мы все решим, как надо... Решим.

— Кто это «мы»? — прошептала она.

— Я и ты.

— А он? — Она отшатнулась от него, ожидая ответа. Бородин молчал. Ему трудно было что-либо сказать: он наконец понял, что Громов — это все-таки Громов, ее муж, а он — всего лишь влюбленный в нее майор. Просто майор.

— Хорошо, я попытаюсь сделать все, чтобы он вернулся к тебе, — сказал Бородин.

— Нет, нет, не то, не то! — испуганно возразила она. — Ты меня обидишь... Пусть будет так, как было...

— Так нельзя. К какому-то берегу ты должна пристать. Нельзя все время посередине реки плыть, устанешь.

— Верно, я очень устала. Но ты не говори ему... Я еще могу плыть...

— А цель, ради чего плыть?.. Пойдем, ты уже совсем озябла. — Он взял ее под руку бережно и робко. Наташа прижалась плечом, чувствуя исходящее от него тепло.

Вышли на дорогу. Здесь им нужно было идти в разные стороны. Бородин предложил проводить домой, как он ее раньше провожал, туда, к окнам, возле которых на столбе светилась лампочка. Вместо ответа она подала руку:

— Доброй вам ночи. — И заспешила к дому Водолазова.

Ее уже не было видно, а Бородин все стоял и стоял...

## II

Ефрейтор Околицын и Цыганок охраняли заготовленный для строительства дома лес. Их шалаш стоял у самого обрыва. За рекой виднелись постройки колхозной молочной фермы. Оттуда доносилось мычание коров, протяжное и тоскливое. В лучах закатного солнца белели штабеля отесанных бревен, напоминая Цыганку одесские меловые разработки.

Околицын, закрыв глаза, лежал на хвое и

молчал, а Цыганок не любил безмолвия. «Солдатское ли это дело — бревна стругать! — злился Цыганок. — Это работа для Пашки, она ему в самый раз... Целый месяц уже в госпитале. Эх, Пашенька, не в ту сторону привел тебя Христос. Дезертирство, Пашенька, молись же молись — накажут, темнота глубинная». Цыганку вдруг стало жалко Волошина, и тоска еще сильнее сжала грудь. Он сорвал травинку, поддвинулся к Околицыну, провел ею по верхней губе ефрейтора. Тот дернул головой и, открыв глаза, начал чихать.

— Не сидится, что ли? — набросился Околицын на Цыганка.

— Помру я тут, в лесу, Саня. Язык мой совсем заржавел, на душе мутно. Покритиковал бы, что ли, меня как агитатор. Давай, как тогда на собрании: «Цыганок — «сачок», хотел доктора обмануть». Хлестал ты меня немилосердно.

— Обиделся?

— Да уж сейчас и не помню. Критика, брат, она такая штука, в горле не засладит, не конфетка. Точно говорю... Видел я лейтенанта Узлова, когда он возвратился с заседания бюро. Я тогда дневальным был по казарме. Вбегает Узлов и тычется в закрытую дверь умывальной, как помешанный. Я ему открыл. Он бросился под кран и ну хлестать воду. Пьет, пьет... Я испугался: горло простудит. Потом повернулся ко мне, спрашивает: «Откуда ты, товарищ, взялся?!» Понимаешь, товарищ! Я — товарищ. А раньше-то, до этого: замковый Цыганок и — не больше. Глаза у него мутные-мутные, будто только что сняли лейтенанта с чертова колеса. Не узнает. Говорю: «Товарищ лейтенант, я — Цыганок, дневальный по казарме». — «А-а, говорит, товарищ Цыганок. Очень рад, очень рад вас видеть. Ты, говорит, товарищ Цыганок, знаешь, что такое критика?» — «Малость представляю», — отвечаю. Махнул он на меня рукой, дескать, ничего ты не понимаешь, и ушел, шмурыгая по полу подошвами, словно контуженный... Вот, Саня, какое дело-то, а ты мне: обиделся! Неприятная эта штука, критика, кто же на нее не реагирует?! Разве один бог. Ему что, он символ, так сказать, миф древности. — Цыганок был готов переменить тему разговора, но Околицын, укрываясь шинелью, улыбнулся:

— Спать надо, завтра будем грузить лес. Если не спится, пойдешь посмотри штабеля.

— Кто эти бревна возьмет!..

— Не в этом дело, для порядка.

— Понимаю... Плохо, когда не с кем поговорить. — Он поднялся и вышел из шалаша.

Темнело... Когда Цыганок возвращался с обхода, он уже с трудом различал предметы: все слилось в единое, темное, пахнущее сыростью и хвоей. Цыганок сел на пень, повесил

автомат на грудь, вслушиваясь в какие-то неясные, глухие звуки. Он сидел долго, пока не почувствовал, что зябнет: от реки несло холодом. Поднялся, вновь обошел вокруг штабелей.

Немного усталый, но довольный тем, что ему удалось согреться, Цыганок вновь опустился на холодноватый и сырой пень. Потянулся за платком, чтобы вытереть вспотевшее лицо, и замер: за рекой вспыхнуло пламя, маленькое, похожее на шевелящийся красный язык. Вдали, в темноте, язык этот, казалось, висел в воздухе, лениво покачиваясь.

— Околицын! Товарищ ефрейтор! — крикнул он наконец.

— Что такое? — выскочил из шалаша Околицын.

— Смотри, пожар!

— Ферма горит! — сразу определил ефрейтор. Он снял автомат с плеча, выпустил две короткие очереди. По лесу прокатилось эхо. После стрельбы, казалось, стало еще тише. Под обрывом плескалась о берег вода, где-то в вышине, шурша крыльями, пролетела ночная птица... Пламя увеличивалось. Околицын вновь начал стрелять из автомата.

— Надо как-то сообщить в деревню, — сказал ефрейтор, но тут же усомнился: — До поста далеко, пока добежишь — все сгорит... А пловец я плохой...

— А я? Я на море вырос! — крикнул Цыганок и начал снимать сапоги.

— Утонешь, река быстрая, паводок еще не спал.

— Скажи, пожалуйста, какой жертвенник! Автомат можно взять?

— Бери...

Они спустились к реке. Цыганок, закинув автомат за спину, бесшумно вошел в воду и скрылся в темноте. Ефрейтор хотел было крикнуть: «Костя, осторожно!» — но промолчал. Он поднялся к шалашу, взял сапоги Цыганка и еще долго всматривался в темноту.

Течение несло Цыганка вниз. Когда он почувствовал под ногами отмель, невольно оглянулся назад и удивился, что река оказалась такой широкой.

Горело здание под соломенной крышей. Дощатые двери, верхнюю часть которых уже охватило пламя, были на замке. Цыганок попытался разбить их прикладом. Ударил и отскочил, осыпанный искрами. Потом начал колотить дверь с еще большим упорством. Бил, бил, пока не изнемог. Огненный рой искр сыпался на него, и гимнастерка уже тлела.

— Эй, есть тут кто? — крикнул Цыганок, ударяя по замку прикладом. Запор со звоном отлетел в сторону, двухстворчатая дверь распахнулась, и Цыганок бросился в сарай. Там было темно. Он ощутил упругие бока живот-

ных, начал подгонять их прикладом. Коровы упирались. Цыганок поймал за ухо безрогую телку, но она боднула его в живот.

— Сатана! — закричал он и от боли и от досады. — Не хочешь жить, дура! — И ударил телку в бок прикладом. Она метнулась на волю. Уже прогорела крыша. Цыганок поднял пучок горячей соломы и, размахивая факелом, выгнал из помещения остальных коров. На голове солдата тлели волосы, перед глазами плыли красно-оранжевые круги.

Выскочив из сарая, Цыганок заметил в маленькой деревянной сторожке огонек. Подбежал к окошку, ударил кулаком.

— Кара-у-ул! Гори-им! — услышал Цыганок чей-то истошный крик.

Освещаемый заревом пожара, чедалеко от сторожки стоял растерянный человек. Это был Дмитрич.

— Караул, горим! — стонал Дмитрич, не трогаясь с места.

— В деревню беги, старый гусак!..

Дмитрич шарахнулся в сторону и скрылся в темноте.

Пламя гудело, жадно лизало дощатые двери сарая. Цыганок вспомнил, что автомат остался там. Решил сквозь огонь проскочить в сарай. Закрыв глаза рукой, он прыгнул в пламя. В сарае было светло. Автомат лежал в кормушке.

— Цел, — обрадовался Цыганок. Он повесил оружие на шею.

Клубы пламени и дыма плотно зашторили выход.

— Эй! Э-э-эй! — кричал Цыганок.

В ответ услышал треск падающих головней да сухой шорох огня.

— Эй! — повторил он, чувствуя, как дым душит его. Еще несколько секунд — и он упадет. — Эй... — Но уже был не крик, а шепот. Цыганок стоял лицом к пламени, зажав рот и нос ладонью. Он ни о чем не думал, только где-то в глубине сознания слабо шевелилась мысль о Тоне...

Раздался шум, похожий на частые порывы ветра. Струя воды ударила Цыганка в грудь. Он покачнувшись, хватаясь за автомат, но не устоял. Падая, увидел бегущих к нему людей со странными металлическими головами, с длинными изогнутыми жердями в руках...

## III

Лекцию Крабов приурочил к приезду Громова. Он прочитал ее с подъемом, и многие ракетчики, знавшие подполковника не очень-то разговорчивым, сухим и замкнутым офицером, были немного удивлены. Равнодушным остался



один Рыбалко: лекцию Крабова старшина знал почти дословно.

Теперь Рыбалко временно командовал солдатами, ожидавшими со дня на день увольнения в запас... От сознания, что оказался не у дел, старшина мучился и покрикивал на подчиненных. Солдаты при его появлении в казарме робели и втихомолку желали старшине поскорее получить должность. Устя продолжала подзуживать: «Уходи из армии, уедем в Харьков, поступишь на завод, будем рядом с сыном, руки у тебя золотые». — «Что она понимает? Золотые... Будто в армии нужны руки-крюки. Не та нынче армия — армия техников, инженеров, солдат-умельцев». Не радовало Рыбалко и авторское свидетельство, полученное за изобретение катков под станины: «Орудия сдали на склад, для чего теперь эти катки?»

Шахов первый заметил удрученное состояние Рыбалко. Однажды, встретив его возле столовой, поинтересовался:

— Нездоровится, что ли, Максим Алексеевич?

Старшина тяжело вздохнул:

— Не в том дело, товарищ лейтенант. У солдата здоровья не спрашивают. Дай мне совет: что делать?

— Ждать назначения.

— Ждать... А если не ждется. Не из тех я, которые ждут.

— Тогда учись, набирайся знаний, читай литературу о ракетах.

Книги так увлекли Рыбалко, что он теперь мог часами рассказывать о физических законах полета баллистических ракет. По гарнизону пошел слух, что Рыбалко знает наизубок новую технику. Прослышал об этом и Крабов. Он вызвал старшину в штаб.

— Будешь помогать мне. — Подполковник вытащил из сейфа груды книг и брошюр. — Ты человек грамотный и сообразительный. Надо все это одолеть, а времени у меня нет. Слушай внимательно. Решил я прочитать лично составу лекцию. Дело новое, трудное, одному не подготовить. Будем работать вместе, коллективно, так сказать. Ты прочитаешь, выпишешь все, что касается этого темника, — он показал старшине листок со множеством вопросов, — потом я обобщу. Как это делать, сейчас покажу. Согласен?

— Конечно, — обрадовался Рыбалко.

— Работать будешь в моем кабинете. Вот стол, и от него ни шагу.

И старшина засел. Работал в день по четыре часа, перепоручив свои обязанности Одицову, который оказался за штатом и тоже ждал приказа об увольнении в запас. Рукопись получилась большой, Крабов только немного сократил ее. Вот почему лекция начальника штаба не удивила Рыбалко.

Когда в зале остались Громов и Бородин, к ним подошел Крабов.

— Ну вот и гора с плеч. До чего же это трудная работа выступать перед народом, — сказал он утомленным голосом.

— Теперь мы вас зачислим в лекторскую группу, — пообещал Громов. — Зачислим, комиссар?

— Определенно, — подхватил Бородин. — Такой талантище пропал. Серьезно говорю, Лев Васильевич, теперь ты у нас лектор номер один.

Они вышли на улицу. Крабов поспешил в штаб. Бородин предложил Громову посмотреть строящийся за городом дом для офицерского состава.

— Генерал Захаров посоветовал использовать на стройке увольняемых в запас, — пояснил Бородин.

Стоял тихий летний вечер. Шепот растений, перекличка запоздавших птиц, летевших на свои ночевки, крепкий запах каких-то цветов, звезды вечернего неба — все это располагало к раздумью, и Громов молчал.

— Что ж ты молчишь? — спросил Бородин. — Он был убежден, что Громов первым вспомнит о Наташе, ведь намекал же в письме о личных делах, значит, думал о ней.

— Ты о чем, комиссар? — Громов окинул взглядом штабеля бревен.

— Сердце у тебя есть... или нет?

— Есть...

— Сомневаюсь...

— Так о чем же ты? Уж не о Крабове ли? Сработаемся. Я на него не обижаюсь. Лекция мне понравилась.

Бородин взорвало: «Не человек, а кусок железа, одна служба в голове».

— Не об этом я, Сергей Петрович!

— О чем тогда? Может быть, Узлов без меня что-нибудь выкинул?

Бородин закурил.

— Я хочу сказать о твоей жене, командир.

— У меня нет жены.

Они стояли возле кирпичей. Бородин предложил сесть.

— Значит, у тебя нет жены? Это серьезно?

— Да.

— Жестокий ты человек.

— А она? Хороший?.. Тебе виднее, Степан, чувствую, прилип ты к ней. — Громов сразу понял, что сказал грубо, нехорошо, но не стал смягчать, а лишь чуть-чуть подвинулся к Бородину.

— Может быть, — глухо прошептал Бородин.

— Вот-вот, — подхватил Громов.

— Но ты сам знаешь, как случилось. Если бы я ведал, разве мог бы пойти на такое. Она

хороший человек, и поэтому я настаиваю, чтобы вы помирились...

Громов задумался. Он решительно не понимал Бородину: «Разве можно вернуться к той, которая... убегает? Догони того, которого не догонишь. Не стоит тратить силы».

— А как же ты? Ты же ее любишь? — спросил Громов вкрадчивым голосом.

— У вас есть сын. Если бы этот мальчик не был твоим сыном, разве бы я с тобой разговаривал так? Никогда!

— Откуда я знаю, что это мой сын? Человеку, который однажды сказал неправду, верить трудно... Не мири нас, комиссар, не бери грех на свою душу.

— Но — сын!.. — напирал Бородин. — Он вырастет, узнает все, что ты ему тогда скажешь? Что?

— Не знаю.

— Он твой... Я верю Наташе. — Бородин поднялся. Громов метнул на него косой взгляд.

— Все, давай смотреть дом, — категорически заявил Громов.

— Нет, ты мне по существу ничего не сказал, — настаивал Бородин.

— А что я должен сказать? — Громов повернулся лицом к Бородину, при электрическом освещении оно было бледным. — Что я должен сказать? «Женись, Степан, на ней». Ты это хотел услышать от меня?

— Нет, совсем не то...

Громов его не слушал, продолжал:

— И не нужно со мной объясняться. Коль случилось так, валяй женись! — И, не оглядываясь, быстро зашагал к дороге.

— Да ты ревнуешь! — бросил Бородин вслед Громову, но тот ничего не ответил.

...В комнате было темно. Бородин включил настольную лампу, повернулся к спящему сыну. Павлик лежал в кровати, разбросав ручонки. Он был в верхней рубашонке, видимо, заикался, и хозяйка не смогла его раздеть. Вид сына растрогал Бородин, и он вдруг почувствовал себя беспомощным, одиноким...

...Громов и сам не заметил, как очутился возле дома, в котором жил Водолазов. Он долго не решался заглянуть в окно. Наконец подошел, приподнялся на носки, вытянул шею и увидел... Наташа что-то писала, сидя за столом. Он узнал ее сразу. То же лицо, только не было на нем того румянца, который он знал. Те же губы, только они сейчас не так налиты, вроде бы даже поблекли. Те же глаза, только чуть-чуть грустные, потускневшие. Те же руки — маленькие, только нет ямочек на суставах, которые он целовал семь лет назад. Он увидел все это одним взглядом. Потом присмотрелся к мальчику, стоявшему в кровати, мысленно сопоставляя его лицо со своим. Вдруг ему стало стыдно, что он украдкой смотрит в окно, во-

обще поступает подло, нехорошо. Лицо жег стыд, а в душе черт знает что творилось. Он стал противен себе до отвращения. «Пошел к черту, — мысленно ругал он себя, — раскис, расчувствовался. Не сумел удержать — не мешай другим жить».

В комнате, когда лег в постель, подумал: «Сможем ли мы восстановить прежние отношения, отношения первых месяцев после женитьбы?» Он долго не мог ответить на этот вопрос, анализируя много «за» и бесконечно много «против». Ему показалось, что чаша весов с грузом «против» скользнула вниз. «Прошло-то сколько лет!»

И всю ночь не спал, и всю ночь ворочался и повторял: «Прошло-то сколько лет!»

#### IV

Мысль умереть, во что бы то ни стало умереть, пришла к Волошину еще тогда, когда везли его на волокуше Дроздов и Савушка. Но в тот момент она была не так уж сильной и властной: он просто думал, что это единственная возможность избавиться от грехов, которые принял на свою душу тем, что брал в руки оружие, что нарушал заповеди общины. Христос у двери, он видит все.

«Умереть!» кричало его сердце, когда он, лежа в госпитале, приходил в сознание, видел перед собой стены больничной палаты, широкие окна, льющие яркий свет, видел врачей, то угрюмых, молчаливых, то с наигранной бодростью говорящих ему: «Скоро встанешь, поправишься». По ночам, обливаясь потом и задыхаясь от высокой температуры, шептал пересохшими губами: «Умереть, умереть».

Он явится туда, на небо, чистым, непорочным, и тогда, как не раз обещал проповедник Гавриил, будет там отведено его душе место вечного покоя и радости, смерть его очистит.

Волошин ничего не ел. Когда приходил в сознание, он видел свет, стены, людей в белых халатах и спрашивал: «Что, не умер еще?» И плакал оттого, что еще жив, что не в силах убедить врачей, чтобы они не возились с ним, пусть будет так, как угодно богу... Лицо его было желтым, с пепельными пятнами на провалившихся щеках.

Однажды ночью она все же явилась к нему. Только что убрали подушку с кислородом, и он про себя читал проповедь. В палате стоял полумрак. Смерть заглянула в окно. Бесшумно проникла сквозь стекло и, спустившись с подоконника на пол, замерла в двух шагах от кровати. Волошин смотрел на нее покорно, с трепетом в душе: пришла, пришла. Горбатый скелет, так она виделась ему, с очень длинными руками, с пустыми черными глазницами, с ши-

роким оскаленным зубастым ртом, с тоненькой, как лозинка, шеей, наклонился к нему, пытаюсь обнять костлявыми руками. Волошин съежился в комок и закричал, закрывая глаза. Когда открыл их, ее уже не было, на том месте, где находилась смерть, стояла сестра с кислородной подушкой.

Только через месяц Волошин встал на ноги. Сестры выводили его на госпитальный скверик, усаживали на скамеечку. Приходил Дроздов, что-то рассказывал о планетах, каких-то условиях, от которых зависит долголетие человека. Волошин не слушал врача. Он смотрел на деревья, нежные, зеленые листья и ни о чем не думал, просто так смотрел на предметы, окружающие его, поскольку они попадали в поле зрения. Как-то раз, сидя один на скамеечке, он увидел: на веранду вынесли забинтованного человека, у которого виднелись одни глаза да была оставлена щелка для рта. В эту щелку сестра вставила папиросу, чиркнула спичкой, человек прикурил, сестра ушла.

— Пашенька! — вдруг выплюнув изо рта окурок, крикнул забинтованный. — Черт конопатый, валяй ко мне.

Волошин по голосу узнал Цыганка, но не отозвался.

По настоянию Цыганка няня привела Волошина на веранду:

— Обнял бы я тебя, Пашенька, да видишь, какие руки: ни закурить, ни штанов расстегнуть... Как ты тут живешь? Похудел малость, но ничего, были бы кости — мясо нарастет. Да что же ты молчишь, или не рад встрече?... Признаться, я соскучился. Честное слово, соскучился! — повторил Цыганок.

Павел хотел было спросить: «А как остальные ребята, помнят?» — но не решился. Цыганок продолжал рассказывать полковые новости, что произошло за отсутствие Волошина. Павел слушал молча, с безразличным видом. Когда же Цыганок сообщил, что полк вооружили ракетами, многих солдат зачислили в резерв и, видимо, скоро отправят по домам, Павел с грустью произнес:

— Меня-то куда, не знаешь?

— Ты — особая статья, — сказал Цыганок, — на курорт пошлют.

Волошин взял коробок со спичками, постучал им о перила, вздохнул:

— Мне все равно... Я так спросил...

— И домой не тянет?

— Не знаю...

— Та-ак, — задумался Цыганок. — Ну-ка дай мне папиросу, в кармане лежат. — Он, жадно затянувшись дымом, закашлялся. — Это как же понять, Пашенька: «не знаю»? Нынче медики работают шибче колдунов. У меня вот волосы обгорели, лицо и руки обжег. Было

страшно больно, а сейчас легче... Пожар тушил, будь он проклят! Хочешь, расскажу, как я коровенок колхозных спасал? У животных ведь никакого соображения, дуры, одним словом. Одна телка так шибанула меня — искры из глаз посыпались.

Волошин поднялся и, ни слова не говоря, ушел в палату.

— Неинтересно? — крикнул Цыганок. Но Волошин не отозвался. Он разделся, лег в постель. «Ты — особая статья», — про себя повторил он слова Цыганка. — Чего ему от меня надо?»

Встречу с Цыганком Волошин расценил как недоброе предзнаменование. Однако через день, после врачебного обхода и завтрака, он как-то, помимо своей воли приоткрыв дверь, заглянул на веранду: Цыганок сидел на прежнем месте, перед ним на столе лежала раскрытая книга, и он языком пытался перевернуть страничку. Цыганок это сделал не сразу, но, добившись своего, углубился в чтение. Павел прикрыл дверь. «Господнее наказание», — мысленно произнес он, возвращаясь к себе в палату. До обеда просидел у окна, все с тем же безразличным видом. Потом спал. Под вечер вновь заглянул на веранду: там никого не было, и он обрадовался этому случаю, сел в то плетеное кресло, в котором сидел Цыганок. Откуда-то подул степной ветер, принося с собой запах трав. Вспомнилась Тамбовщина, родное село, бабушка, и он, на минуту позабыв о болезни и обо всем, что случилось с ним, начал рассуждать... Ему казалось: во всем виноват этот черноглазый, щупленький солдат, он первый проник в его тайну, потом все раскрылось. «Сатана», — заскрежетал Павел зубами в каком-то неудержимом иступлении. — Вера моя, и не трогай ее!

Его позвали в палату. Когда вошел, увидел вторую кровать (до этого он лежал один). Спросил сестру:

— Для чего это?

— Дружок ваш попросился, вдвоем веселее будет, говорит.

— Мне одному хочется.

— Он хороший, скучать не будете.

Сестра ушла. Явился Цыганок.

— Вот и я, Пашенька, — весело сказал он. — Понимаешь, одному в палате все равно что в гробу: скукота, хоть волком вой.

Цыганок хитрил: не было такого дня, чтобы его не навещил кто-нибудь из полка: приходили Околицын, Петрищев, Рыбалко, Бородин, Елена. От подарков и передач трещала его тумбочка. Навещали и Волошина, приносили конфеты, печенье, но он ни к чему не прикасался и ни одного слова не проронил. Лежал и смотрел в потолок, ждал, когда придет смерть, даже не помнит, о чем говорили.

— Что же ты молчишь, Пашенька? — продолжал Цыганок. — Для чего же тогда человеку язык дан? Не для того же, чтобы дразнить своего обидчика. Язык, Пашенька, великий дар природы. Без него человек — обезьяна. Мартышка, она ведь только по деревьям шибко лазает, а человеку она ничего не может сказать. Тварь, одним словом. Понял? Поэтому молчать нам не следует, мы с тобой люди, солдаты, есть о чем нам побеседовать. Вот наш полк реорганизовали. Что это значит? А это значит: кто-то из нас поедет домой, на трудовой фронт, кто-то останется и будет служить, как медный котелок, чуть потускнеет, его продрают с песочком, и он снова засверкает новизной. Теперь я, Пашенька, вроде бы стал сознательным. А первые дни как смотрел на службу? Уши краснеют, когда начинаю вспоминать... Зачислили меня писарем к начальнику продовольственного снабжения полка. А почему зачислили туда? Во-первых, рост у меня не артиллерийский, метр и пятьдесят восемь сантиметров, во-вторых, заметили, почерк отличный. Ну что, мне там, в снабжении, с девятью классами образования — легко. Составлял ведомости, меню-раскладки: столько-то граммов сухофруктов, мяса, круп, овощей и жиров. Быстро освоил дело. Начальник не успеет сказать: «Цыганок, вот это оформи», я чик-чирик, пожалуйста, товарищ капитан, готово, сделал, докладываю. «Что ж тебе еще поручить? — ломает голову капитан. — Поди, говори, погуляй». А мне этого и надо было. Раз-два и — через забор, и к колхозным девчатам. Так приловчился к самовольным отлучкам, что потом стало невтерпеж сидеть за меню-раскладкой. Ловчил — и докатился до того, что запустил учет, напутал. Один раз легонько наказали, второй раз схватил три наряда вне очереди. Начальник рассвирепел и говорит: «Пошел отсюда к чертовой матери! За твои фокусы мне уже попало и от командира полка, и на партийном бюро стружку сняли!» Как ты знаешь, определили меня в огневики, на перевоспитание послали. И тут я поначалу пытался гнуть свою линию: солдат спит, а служба идет. Не вышло, Пашенька, у меня. И хорошо, что не вышло, теперь легче на душе... Приеду к своей Тоне и скажу: «Докладываю, Рыженская Щучка, отслужил, как медный котелок». Любит она, чтобы у человека все светилося, жило и играло, как на строевом смотре. Тоню недавно избрали секретарем комсомольского комитета. Разве я могу, Пашенька, быть перед ней истуканом? Я — солдат, могу ли я уступить этой девчонке? Нет, Паша, солдат — личность определенная, героическая и самая что ни на есть трудовая личность...

Возможно, еще долго говорил бы Цыганок, припоминая все случаи из своей службы, но

тут обратил внимание, что Волошин, уткнувшись лицом в подушку, похрапывает. Уснул Павел с горькой мыслью о том, что Цыганок послан ему в наказание самим сатаной и, видимо, даже в госпитале он не даст ему покоя.

Наутро, едва успел встать с кровати, намереваясь уйти в сквер, уединиться, как зашевелился Цыганок.

— Пашенька, ты куда? Подожди, вместе сходим по нужде, штаны мне расстегнешь. Ближнего надо любить, а мы с тобой однопольчаны, братья по артиллерии: работой банником, разводи станины!

— Помолчал бы, — отмахнулся Волошин, не решаясь сдвинуться с места.

— С ума сошел! Мы с тобой не обезьяны, а мыслящие субъекты, и не какие-то там работы, изрекающие по заданной программе: «Доброе утро» или «Дважды два будет четыре». Мы, Пашенька, люди, нам ли молчать!

После завтрака, когда врачи закончили обход, Волошин незаметно вышел из палаты и забился в дальний угол сквера, чтобы посидеть на скамейке в одиночестве. Но не тут-то было. Пришел Цыганок. Он попросил Волошина «устроить» ему папироску и дать огня.

— Слыхал, Паша, как Юрий Гагарин летал в разведку? — Цыганок задрал голову. — Во-он туда, в космос, выше неба. И представь себе, никакого бога там нет. Одно пространство.

— Уйди ты от меня, — вздохнул Волошин. Обедали они порознь, но «мертвый час» вновь свел их в палате.

Павел укрылся одеялом с головой. Цыганок хихикнул:

— Ты что ж, от своего брата прячешься?

— Сатана!

— Это уж точно, Пашенька, я — сатана в образе рядового Цыганка. Ты перекрестись, и я исчезну. Дурень, тебя от опиума человек очищает, а ты на него лаешься, скверными словами обзываешь. Друг я тебе или нет?

— Нет.

— Врешь, Пашенька. Я самый настоящий твой друг.

— Уйди.

— Судить, наверное, тебя будут, Паша. Дезертирство ты совершил, присягу нарушил. А кто виноват? Эх, Паша, жаль, что я не читал Маркса, да и книги Ленина только в руках держал, а в уставах про религию ничего не написано. Я бы тебя быстро очистил... Ладно, не будем нарушать «мертвый час», спи.

Цыганок уснул быстро. Волошин не мог сомкнуть глаз. «Дезертирство совершил». Эти страшные для него слова, впервые услышанные от Цыганка, заставили думать не о смерти, а о том, что ожидает его в жизни после излечения. Чувство фанатизма притупилось, верх

взяли мысли о совершенном. Кто виноват? — сначала он гнал этот вопрос прочь, боясь и страшась поддаться такому раздумью, но с каждым новым днем, проведенным с Цыганком, такие мысли все чаще и чаще возникали в голове. Неужели виноват тот, в которого он верил, которому молился и во имя которого решил умереть? — сам собой напрашивался вывод, и Волошин вскидывал на Цыганка робкий, просящий взгляд. Теперь он не сторонился «сатаны», терпеливо слушал длинные речи Цыганка, ожидая от солдата чего-то такого, что облегчит душевную тяжесть. Хотя по инерции прежней озлобленности он еще думал о Цыганке как о своем мучителе, но уже не так остро, не с той внутренней ненавистью, как прежде...

Подходило время окончательного выздоровления, и врачи готовили на Волошина документы для выписки. Однажды в госпиталь приехали Громов и Бородин. Они привезли Цыганку наручные часы, которыми его наградило правление колхоза, газету со статьей о подвиге Цыганка. Награду вручали в палате в присутствии врачей и сестер. Цыганок, еще забинтованный, стоял возле кровати, как кукла, завернутая в пеленки. Он не ожидал никаких наград и долго не мог сказать ни слова, лишь смотрел на лежащие на тумбочке часы и газету с его портретом. Глаза его повлажнели, слеза бусинкой искрилась на марлевой повязке.

— Служу Советскому Союзу, — волнуясь, произнес Цыганок и попросил у Громова разрешения выйти на веранду: солдат, видимо, стеснялся своих слез. Он ушел, слегка покачиваясь.

Громов повернулся к стоящему у койки Волошину и спросил:

— Вы как себя чувствуете?

— Нормально.

— Дня через три вас выпишут.

— Слышал.

Громову хотелось наедине поговорить с Волошиным, и поэтому, когда Бородин от врача направился к выходу, он задержался в палате. Подойдя к солдату, подполковник по-отцовски положил ему на плечо руку и доверительно спросил:

— Что же будем делать, Павлуша?

— Не знаю.

— Хочешь служить?

— Не знаю.

— Шофером ко мне пойдешь? Я тебя за месяц обучу, вместе будем ездить.

— Вместе? — Волошин вдруг почувствовал слабость в ногах, опустился на кровать, закрывая руками лицо. Громов молчал. Он знал: за совершенный проступок солдата надо судить, таковы законы воинской службы, и в то же время понимал: Волошин жестоко оступился не по своей воле. «Ну, командир, решай, как быть,

ты — высшая власть в полку», — Громов знал, что не так-то легко оправдать Волошина, и в то же время почему-то верил, что это единственный путь вырвать солдата из цепких лап баптистов.

— Я возьму вас, товарищ Волошин.

Павел поднял голову:

— Служить, значит?

— Да, служить... Своему народу служить.

— А Цыганок тоже остается в армии?

— Он зачислен в расчет пусковой установки.

На улице ветер разогнал тучи, и в палату хлынул солнечный свет.

## V

Солдаты и сержанты, подлежащие увольнению в запас, размещались в одноэтажном здании, расположенном на окраине города. Рыбалко ездил сюда на мотоцикле, на дорогу уходило пятнадцать — двадцать минут. Но сегодня старшина решил идти пешком: уж очень не хотелось видеть, как представители штаба округа и уполномоченные по организованному набору рабочей силы будут агитировать солдат остаться в Сибири — на здешних предприятиях и в колхозах. Рыбалко шел медленно, надеясь, что хоть часть этой неприятной для него процедуры пройдет без него. Он еще не верил, что таких молодых и здоровых, которым служить да служить, все же увольняют из армии. На полпути встретил Шахова: лейтенант возвращался из штаба дивизии, где проходили десятидневные методические сборы.

— Хотите посмотреть проводы?.. Увольняют все же, — с грустью сказал Рыбалко, прикуривая от зажигалки. Зажигалка была новая, оригинальная, она заинтересовала Шахова.

— Сам смастерил?

— Делать-то нечего, вот и занимаюсь ерундой. Тоска! А тут еще жена уехала: у сына экзамены, теперь задержится надолго. А может быть, и совсем не приедет, советует уходить в отставку, пишет: хоть пожьем немного спокойно... Все они, бабы, такие: если муж держится за юбку — это и есть спокойная жизнь. Вот же нация! Их как будто не интересует, что американцы дырявят землю атомными взрывами. Приезжай, пожьем спокойно... Да что я, рыболов? Или курортник?.. Спешить надо нам, товарищ лейтенант. Пушечки забрали, ракетные установки дали. Грозное оружие, слов нет, но его надо изучить, освоить. А время не ждет, в сутках-то двадцать четыре часа...

По дороге Шахов сообщил, что Военный совет округа обсудил их почин, что доклад по этому вопросу делал сам полковник Гросулов и что совет одобрил начинание и рекомендовал

этот способ стрельбы по закрытым целям для других артиллерийских частей.

— Волнует меня одно хорошее дельце, — сказал Шахов после небольшой паузы. — У нас в училище работал технический кружок. Мы называли его громко — вечерний университет. Курсанты с большим желанием посещали занятия. Что, если такой университет организовать в нашей части?

Рыбалко немного повеселел: он как-то слышал от генерала Захарова, что при освоении новой техники фактор времени играет основную роль, а вечерний университет — это хороший резерв учебного времени.

— Каждый запишется, товарищ лейтенант, — подхватил Рыбалко. — Ты подумай, подумай хорошенько и предложи, командир поддерживает. Жизнь нонче такая, что она никак не вкладывается в привычные рамки, рвется на простор, из обжитых рамок выходит... На днях узнаю: мои «резервисты» потихоньку сколачивают бригаду добровольцев, готовых остаться в здешнем колхозе. Тоже необычно: отслужили ребята в Сибири и тут же остаются. Правда, пришлось одному лекцию прочитать: ты отслужил свое, говорю, и валяй куда хочешь, но солдат не смей остужать, не морочь им головы сладкими пирогами, им еще рано убирать палец со спускового крючка.

Шахов подумал: «Каким ты был, таким и остался, Максим Алексеевич».

— Не рано ли сокращают армию? — продолжал Рыбалко. — Ликвидировали полк... Там, за океаном, наверное, радуются. Или я уж такой осел, что ничего не соображаю? Начнется война, и ствольная артиллерия пойдет в дело. Ракета, конечно, хорошая, грозная штука, но орудие — вблизи оно ловчее...

— А штык, Максим, как ты смотришь на это оружие? Наши деды и прадеды им ловко дырявили груди врагам своим. Выходит: мы должны держаться и за штык?

— Не знаю... Только хлопцев этих я бы еще придержал в армии, — продолжал свое Рыбалко. — Куда торопиться, коли там, в этих самых НАТО и СЕАТО, военными маневрами тишину будоражат. И наши раны еще не зажили. У меня, например, они очень ноют, всякие воспоминания в голове пробуждают. Я, Игорь Петрович, видел, как начиналась война, видел сорок первый год. Жуть что было в начале войны. Лежишь, бывало, в окопчике, держишь в руках бутылку с зажигательной смесью, а фашист бомбами кроет и кроет. Потом в атаку танки на тебя бросает. Что ж тут с бутылкой сделаешь, кинешь ее — она, проклятая, в воздухе галочет, как индюк, а не летит туда, куда надо, или за дерево заденет и упадет на землю живехонькая, лежит, бедная, поблескивает на солнце... Приходилось под танки бросаться.

А что сделаешь, коли на тебя движется враг!.. Нет, брат, тем, которые не знали начала войны, таких, как я, трудно понять. Ракета ракетой, а человек крепче любого атома! — закончил Рыбалко, войдя во двор.

К вечеру казарма опустела, остался только Одинцов. «Бывший писарь бывшей батареи», — с горечью подумал Рыбалко. Одинцов заявил, что решил ехать домой в незнакомый для Рыбалко городишко Бобров, и солдата не стали уговаривать. Старшина назначил его дневальным.

— До утра постоишь, завтра документы получишь, — сказал Рыбалко, намереваясь немедленно уйти из этого опустевшего помещения, притихшего, как сиротинушка. Горела одна лампочка у двери, в казарме стоял полумрак. В ушах Рыбалко еще звучали и оркестр, и напутственные речи офицеров, и заверения солдат, что они и на гражданке не посрамят доброго имени армейского человека... Звучали так явственно и так мучительно, что старшине действительно хотелось быстрее покинуть казарму. Но он не ушел сразу. В глаза бросилась плохо заправленная кровать у окна. Рыбалко поправил матрас, подушку, выровнял одеяло.

— Одинцов, кто на этой кровати спал? — спросил он солдата, разгибая спину.

— Петр Арбузов, водитель тягача из третьего дивизиона.

— Откуда он?

— Из Ярославля, товарищ старшина.

Ответы Одинцова понравились Рыбалко. Хозяина койки он хорошо знал: и что солдат родом из Ярославля, и что обучился Арбузов шоферскому делу в полку, и что попросился он с группой уволенных в подшефный колхоз механизатором — пожелал остаться в Сибири... Спросил об Арбузове просто так, для проверки, не забыл ли уже Одинцов своих ребят-однополчан, гвардейцев.

— А ты почему уезжаешь? — Город Бобров Рыбалко не знал, полагал, что это какой-то степной, неприметный городишко и, наверное, в нем нет даже приличного кинотеатра.

— Наш городок старинный, построен еще при Екатерине Второй, расположен он, товарищ старшина, возле реки Битюг. Река полноводная, с отлогими берегами. Ее перегородить небольшой плотиной, и вода побежит по полям... Лето у нас засушливое, часто выгорают хлеба. Надо орошать их.

Рыбалко, вспомнив, что Одинцов окончил гидрологический техникум, спросил:

— Плотину будут возводить?

— Думаю, что возьмутся за это дело. Построят...

Теперь он понимал, почему Одинцов стремится в родные края, — у него есть мечта, добрая мечта: этот рыжий долговязый парень, служа в армии, думал о борьбе с засухой, о хлебе. И это понравилось Рыбалко.

— Поезжай, поезжай. Потом мне напишешь о плотине.

Одинцов мельком взглянул на Рыбалко, на его усатое, посеревшее за последние дни лицо, подумал: «К этому времени и вы, товарищ старшина, уволитесь из армии».

— Адрес вы знаете, впрочем, пишите на часть, получу.

Одинцов сказал:

— Ладно, пришло... Места у нас хорошие, лучший заповедник бобров, ценные и умные зверюшки. А воздух какой там! Чистый-чистый. Вот бы где вам, товарищ старшина, поселиться на жительство. Тишина, одним словом, — заповедные места. Приезжайте...

Рыбалко вздрогнул. Он хотел было резко ответить Одинцову, но сдержался, ногой подвинул скамейку к столу, сел. Вынул из нагрудного кармана потертые листки, исписанные мелким почерком. Руки его дрожали, и весь он вмиг преобразился.

Одинцов забеспокоился:

— Вам плохо, товарищ старшина?

Рыбалко молчал, уронив голову на грудь. Наконец невнятно заговорил:

— Клятву мы дали... десять фронтовых товарищей кровью расписались... Это не мальчишеская фантазия, четверым в то время было за сорок. Двадцать лет храню письмо, знали о нем те девять, которые расписались, но они погибли. Десятый — это я... Никому не показывал, тебе дам прочитать... чтобы ты, Одинцов, не слишком увлекался тишиной на реке Битюг... Один из нас знал немецкий язык, командир батареи старший лейтенант Андрей Сидорович Державин. Он-то и перевел письмо и велел мне хранить до гроба. Читай...

Одинцов робко взял поблекшие листки.

«Потсдам, Бисмаркштрассе, 29, Отто Мюллеру.

Дорогой брат!

Наша армия, видимо, будет полностью разгромлена. Мы несем колоссальные потери. Вчера русские овладели Кенигсбергом. Многие мои товарищи попали в плен. Великая Германия переживает страшное время, мне, как историку, невероятно больно сознавать все это. Но я истинный немец и не поддаюсь полному отчаянию.

Конечно, полного разгрома в этой войне нам не избежать, трагический конец уже виден, он близок.

Кто виноват? Некоторые неустойчивые и недалёковидные элементы всю вину будут валить на Гитлера: он проиграл войну.

Утверждаю: это великое заблуждение. Войну с коммунистами проиграли не только мы, немцы, но и англичане, но и американцы, и даже французы. Только идиот не может осознать того факта, что смысл этой войны заключался прежде всего в полном уничтожении Советского Союза как опасной цитадели мирового коммунизма. Познакомься с обстановкой предвоенных лет, и ты поймешь поведение лидеров правительств западных держав, и ты сам убедишься, как я прав в своем утверждении. Америка, Англия — да, да, эти страны прежде всего — вложили в наши руки меч. Разве без их экономической помощи мы смогли бы, после жестокого поражения в первой мировой войне, так быстро создать великую и мощную армию? Разве без их одобрения и поощрения мы могли бы с такой легкостью приблизить свои границы к России для решающего броска на коммунистов? Нам и им в одинаковой мере хотелось уничтожить Советский Союз.

В последнюю минуту американцы и англичане нас жестоко предали, предали потому, что убедились в том, что русские способны своими собственными силами свернуть нам шею и, бог знает, останутся ли у Ла-Манша. Они переметнулись на сторону большевистской России не столько во имя разгрома Великой Германии, сколько во имя оттяжки собственной гибели. Сейчас западные державы ведут сражения не против нас, не против фюрера, а за свои интересы в Европе. В этом коммунисты убедятся вскоре же, в тот час, как только мы капитулируем.

Повторится все сызнова...

Дорогой брат! Я верю: немецкий дух в нашем народе не иссякнет. Мы — те, которым богом дано главенствовать над миром, и мы вновь воспринем душой и помыслами своими. Я верю, найдуся в немецкой нации лидеры еще более преданные, чем Адольф Гитлер, извечным интересам Великой Германии, и они сумеют заставить безголовых лидеров поднять нас из пепла. Мы учтем все наши ошибки, все промахи, и наша месть не будет знать границ.

Дорогой брат! Ты еще молод, не теряй духа, знай: впереди походы и на Восток и на Запад, меч Великой Германии не заржавеет.

Твой брат полковник Карл Мюллер».

«Клянемся своими жизнями, женами и невестами своими, честью и славой Родины своей, именем народа своего — не допустить этого во веки веков!

Клянемся держать оружие в руках до полного уничтожения фашистов — до тех пор, пока у меченосцев не исчезнет дух новых походов и на Восток и на Запад.

Да здравствует Мир и Свобода!

1. Командир батареи старший лейтенант Андрей Державин.

2. Заместитель командира батареи по политической части лейтенант Иван Зотов.

3. Командир огневого взвода младший лейтенант Захар Беспощадный.

4. Наводчик орудия ефрейтор Максим Рыбалко.

5. Водитель машины рядовой Семен Катриказе.

6. Командир орудия сержант Павел Чернов.

7. Заряжающий рядовой Никита Долгоруков.

8. Разведчик-наблюдатель ефрейтор Егор Размахов.

9. Повар рядовой Муса Ахметов.

10. Старшина батареи Сидор Вершинин. Кровью своею расписались...»

Следы подписей едва угадывались, и Одинцов с трудом прочитал их. Он положил письмо на стол, не в силах что-либо сказать. От пожелтевших листков веяло чем-то страшным: девять человек, поклявшихся держать оружие, погибли, лежат где-то в земле, обугленной и продымленной. Десятый — Рыбалко — сидел перед ним. Он — это они, которые поклялись, он — это они... Даже почудилось Одинцову: сейчас дрогнет дверь, и все девять войдут в казарму во фронтовых шинелях, перетянутые ремнями, неумытые и уставшие в непрерывном бою, и шумно заговорят, рассказывая старшине каждый о своем и все об одном и том же — держим клятву!

Но многое Одинцов не мог понять, не мог потому, что войну он не видел, знает о ней по обелискам, из книг и рассказов, и потому, что война давным-давно отгремела.

И все же Одинцов спросил:

— Все девять погибли?

— Да. Конечно, не в одном бою.

— А он, Мюллер?

— Его труп нашли в окопе, при нем это письмо...

Рыбалко спрятал письмо, молча посмотрел на опустевшие койки, на пустую пирамиду, показавшуюся ему скелетом какого-то древнего животного, молча открыл дверь и вышел из казармы.

## VI

Через незавешенное окно луч солнца освещал лицо спящего лейтенанта. Стояла жара: за окном термометр, прикрепленный к крестовине, показывал тридцать пять градусов.

Лейтенант спал. Он лежал на спине, и, казалось, сейчас никакая сила — ни жара, ни холод, ни ураган — не разбудят его.

И все же Узлов проснулся. Он проснулся не потому, что в комнате было слишком жарко

и душно, — скорее всего, по привычке подниматься в одно и то же время. Открыв глаза, он увидел: настенные часы показывают два часа московского времени, а он мог спать дольше, ибо сегодня выходной день, и еще вчера, лежа в постель, он дал себе слово отоспаться за все прошедшие суматошные рабочие сутки: днем плановые занятия, вечером университет. Его работу партийное бюро поручило возглавить лейтенанту Шахову.

— Инженер! — крикнул Узлов, полагая, что Шахов находится в умывальной комнате. Ответа не последовало. Узлов, натянув пижамные брюки, посмотрел на себя в зеркало: еще вчера он наметил поехать в город, поиграть в бильярд, встретиться со знакомыми девушками.

Он быстро умылся и уже хотел было уйти, как на тумбочке заметил записку. Шахов писал: «Дмитрий, я в учебном классе. Сегодня занятия в две смены. Будем штудировать основы теоретической аэродинамики. Ведь впереди — боевые пуски, дорога каждая минута. Но у тебя сегодня выходной. Чай я вскипятил, колбаса в тумбочке».

В комнате стены были увешаны схемами, таблицами и формулами. Узлов, держа в руке записку, рассматривал графическое изображение элементов траекторий реактивного снаряда. «Чем меньше мы выбираем промежуток времени, тем меньше будет изменяться скорость и движение ракеты будет ближе к равномерному», — прочитал он под схемой написанные красным карандашом строчки. Узлов вспомнил, как он долго бился, чтобы эту формулу понял ефрейтор Околицын. Наглядные пособия, которые применил Шахов в обучении ракетчиков, значительно облегчили дело. Чертил схемы Цыганок. Он выполнял эту работу с охотой, с серьезным видом говорил товарищам: «Вернусь из армии, поступлю в институт, стану инженером-конструктором. Умniejszym буду».

Дмитрий положил записку на стол и зашагал по комнате. Очень хотелось поехать в город, и в то же время было как-то неловко перед Шаховым: Игорь сейчас там, в техническом классе, обучает его, Узлова, подчиненных — Околицына, Цыганка, Петрицева. «Выходит, что Игорь часть моих обязанностей взял на себя, — рассуждал Узлов. — Черт двуличный... Не пошел бы в класс, а вот теперь придется... А что, если не пойти? Кто меня упрекнет? Имею я право использовать отдых по своему усмотрению?.. А Шахов? Тоже имеет... Ну и жизнь пошла: человеку дают выходной, а он от него отказывается. А сейчас бы хорошо пройтись с дивчиной». Узлову почему-то вспомнилась Борзова. Он совершенно не подозревал, что колхозная медичка, с виду такая

«заводная», серьезно ждет ефрейтора Околицына, ждет, когда тот отслужит срок.

Узлов сгреб в ящик стола остатки колбасы и хлеба.

— Нет, брат Игорь, извини, но я пойду со «сверхзвуковой» скоростью. Мигом возвращусь.

Когда вышел за ворота, заколебался. «Ну и скот ты, Узлов», — ругнул он себя.

У проходной стояла легковая машина Громова. В окошко на лейтенанта смотрел Волошин.

— Ты что так смотришь на меня? — подойдя к машине, спросил Узлов.

— Я не на вас, товарищ лейтенант. Тут приехал генерал... Вот я и смотрю, не появится ли еще кто-нибудь из начальства.

— Генерал, говоришь? Давно?

— Час назад.

— Один?

— Нет, еще полковник с трубкой в зубах.

Узлов, испытующе глядя на солдата, спросил:

— Тянет на родину?

— Нет.

— Бабушка, наверное, волнуется, ждет.

— Пусть. Я к ней не поеду. Отслужу срок, останусь в Сибири. Вон колхоз пять машин купил, работа найдется.

— Вот как! Это хорошо, Волошин.

Узлов мысленно представил дорогу, ведущую в город. На попутной машине полчаса езды. «Разве я не имею права использовать выходной день так, как мне хочется?» — продолжал рассуждать лейтенант.

Он сбил на затылок фуражку и зашагал... к зданию, где размещался учебный класс.

Шахов стоял у доски, на которой был вычерчен планер ракеты — корпус, хвостовое оперение и воздушные рули. Вокруг чертежа гнездились знакомые Узлову формулы. Шахов заметил Узлова, кивнул ему и продолжал говорить:

— Теперь мы знаем: корпус ракеты, как правило, представляет собой тело вращения. Он характеризуется наибольшей площадью поперечного сечения, которая называется миделем...

За столом, стоявшим у самого окна, сидели генерал Захаров, полковник Гросулов и знакомый майор. Тут же были Громов, Крабов и Бородин с Павликом на коленях. Мальчик с таким вниманием смотрел на Шахова, что Узлов невольно сравнил его с Бородиным: «Весь в отца, сидит и не шелохнется». Бородин вынул из кармана конфетку и дал Павлику. Мальчик улыбнулся, но есть не стал, а поло-

жил ее отцу в карман пиджака и снова вонзил маленькие глазенки в Шахова.

— Кто мне назовет основные части корпуса ракеты? — обратился Шахов к солдатам.

— Я, — поднялся Околицын. Гросулов что-то шепнул Захарову. — Корпус ракеты делится на носовую, среднюю и донную части.

— Хорошо, садитесь. Теперь посложнее вопрос: надо вывести формулу отношения скорости ракеты к скорости звука.

— Разрешите? — поднялся Цыганок. На лице и руках солдата следы ожогов, они изменили внешний вид Цыганка, будто бы он немного погрузился, но глаза по-прежнему быстрые и темные-претемные, как южная ночь.

Узлов забеспокоился: вдруг в присутствии генерала Цыганок сплоскает. Он хотел было попросить, чтобы ему разрешили ответить на этот вопрос, но Цыганок уже подходил к доске.

— Это отношение, товарищ лейтенант, называется числом Маха и обозначается буквой М. Вот эта формула...

— Молодец! — нетерпеливо заметил Захаров и повернулся к Громову: — Скажите, пожалуйста, давно ваш университет работает?

— Всего полтора месяца, товарищ генерал. Мы докладывали начальнику политотдела. Полковник Субботин одобрил.

— Знаю, знаю. Прошу извинить, продолжайте, товарищ Шахов...

Кончился урок, Захаров попросил офицеров задержаться в классе.

— Техминимум вы сдали раньше срока, — сказал он. — Это хорошо. Теперь надо спешить с учебными пусками. Намечаются большие учения. Я просил командующего войсками округа привлечь к этим учениям и вас. Если покажете себя хорошо, тогда очень интересное задание получите. Так, Петр Михайлович?

— Получат, товарищ генерал, — подтвердил Гросулов.

— А как вы думаете, товарищ лейтенант, успеете с учебными пусками? — обратился Захаров к Узлову.

— Я думаю, как все, товарищ генерал.

— И как он? — Захаров показал на Павлика, прижавшегося к Бородину.

Офицеры засмеялись. Узлов поправился:

— Солдат, который сейчас выводил формулу, — из моего расчета, товарищ генерал. Если потребуется, мы еще не такую формулу выведем, — и оглянулся по сторонам, словно убеждаясь, правильно ли он ответил генералу.

— Вот это уже конкретный ответ, лейтенант. А вам, товарищ Шахов, спасибо за инициативу, за труд. Ваш почин мы распространяем на другие части и подразделения. — Захаров посмотрел на часы. — Может быть, товарищ Громов, сегодня хватит заниматься? Вы-

ходной ведь, хотя бы полдня дать людям отдохнуть. Согласны?

— У нас это дело добровольное, товарищ генерал, по желанию, — сказал Бородин.

— Знаю, знаю, как это делается. Но отдых — это очень необходимая вещь для человека. Распорядитесь, пожалуйста, товарищ Громов. Теперь у вас рядом настоящее море, можно хорошо отдохнуть.

## VII

Иногда кажется: день — это вечность, а в сущности — миг. Да, миг! Будто бы вчера приезжал в часть Захаров, будто вчера он говорил о предстоящих учениях, а прошло-то сколько времени! Состоялись учебные пуски ракет. Ими руководил Гросулов. Время промелькнуло, как вспышка света. Запомнилась лишь боль... Она полоснула правый пах как раз в тот момент, когда Гросулов подводил итоги учебных пусков. Подчиненные радовались — отличную оценку получили, а он, Громов, согнувшись, корчился от боли, старался тоже быть веселым, чтобы никто не заметил его мучений. И все же Бородин уже после, когда Гросулов уехал, когда и боль-то прошла, сказал: «А ты, командир, сходи к врачу, пусть он тебе полечит желудок». Заметил, глазастый казак! Громов тогда ответил: «У меня, комиссар, желудок гвозди переваривает». Бородин вдруг так разошелся: «Ты, командир, совсем не жалеешь себя. Со здоровьем не шути. Если не можешь устроить свой быт, то ты совсем ничего не стоишь и как человек, и как командир тем более». Пригрозил доложить генералу Захарову. Пришлось поехать в гарнизонную поликлинику. Встретил там Дроздова. Владимир Иванович потащил в свой кабинет, долго осматривал, ощупывал живот. Потом, скрестив на груди руки, минуты три смотрел в окошко, будто его, Громова, вовсе не было в комнате... «Аппендицит у вас, товарищ подполковник, лично я помочь вам не могу. — Повернулся, предложил: — Хотите, удалим? Это легкая операция». И, не дожидаясь ответа, позвал хирурга, высокого мужчину, с огромными руками, густо поросшими волосьям покровом. «Резать надо, Петр Ильич, иначе аппендикс прихватит подполковника там, где он не ожидает», — посоветовал Дроздов хирургу. Слово «резать» испугало Громова, и он заупрямился, быстро покинул поликлинику...

Запомнился еще вопрос Волошина. Они возвращались из штаба дивизии. Волошин вел машину осторожно, на повороте, возле дома Водозаова, Громов сказал: «Сбавьте скорость». — «Товарищ подполковник, почему на этом месте вы всегда предупреждаете меня?» Конечно, Волошин не знал, что Громову хоте-

лось посмотреть на мальчишку, который тогда играл у ворот...

«Да, время — это миг», — подумал Громов, выходя из гостиницы и направляясь в штаб. Стояла прохладная зорька. Восточная часть неба была залита прозрачной розовой краской. Знобило, в правом боку чувствовалась ноющая боль. Он попробовал идти побыстрее — не получилось, боль прострелила весь живот, точно так, как на учебных пусках. «Неужто и впрямь аппендицит?» От этой мысли еще сильнее зазнобило, но Громов все же поднялся по лестнице, с трудом открыл дверь.

Крабов разговаривал по телефону. Громов видел его сбоку: бритая голова, тонкая шея с набрякшими от напряжения венами.

— Все готово... Мост через реку?.. Не беспокойтесь, Петр Михайлович, все будет в порядке.

Он говорил долго, и Громов не прерывал Крабова, сел на стул. Потом попробовал встать, но не смог, руки сделались холодными-холодными. «Как устроен человек, — с горечью подумал Громов, — липнет к нему хворь тогда, когда никак нельзя болеть».

Крабов повернулся к нему, вскрикнул:

— Товарищ командир, что с вами?

— Кажется, заболел, не могу разогнуться.

— Разрешите, вызову машину? В санчасть надо...

Крабов выскочил из кабинета, и тотчас же Громов услышал за окном: «Что вы там возитесь? Волошин, слышите? Срочно машину для командира!»

Он возвратился с раздраженным видом и долго не мог успокоиться, отчитывая водителя. Громов сидел с опущенной головой, лоб у него был покрыт капельками пота, а глаза горели, как у малярика.

— Еще раз проверьте мост, Лев Васильевич. Пуски должны быть произведены в точно назначенное время — ни секундой раньше, ни секундой позже... — Он хотел еще что-то сказать, но уже не мог, заскрипел зубами, хватаясь за живот. — Командуй тут, Лев Васильевич, доложи генералу, что... заболел, — с силой выдал Громов и с помощью Крабова и Волошина направился к машине.

Как только уехал Громов, Крабова охватила жажда деятельности. Он собрал офицеров, напомнил им о рубежах боевых пусков и времени выхода на них. Потом, спохватившись, что при этом не присутствовал Бородин, стал разыскивать замполита. Наконец напал на след: Бородин проводил инструктаж агитаторов в пусковой батарее.

— Замполит, — басовито сказал Крабов в трубку, — ты мне очень нужен, приходи.

В окно виднелись деревья, забор, за которым стояли ракетные установки, метрах в ста от них курилась походная кухня: было тихое утро, и дымок безмятежно тянулся кверху. Крабов сам точно не знал, для чего ему потребовался Бородин, — о болезни Громова замполит уже знал... С нетерпением Крабов развернул газету: там была помещена статья о ракетчиках, упоминалась его фамилия. «Новая техника требует иного отношения к людям. Это великолепно понимает подполковник Крабов, часто выступающий с лекциями перед личным составом на технические темы...»

«Все идет хорошо, хорошо, — с душевным трепетом рассуждал Крабов. — Кому надо — заметят». — На минуту вообразил, как отнесся к статье генерал Захаров: «Не пора ли нам его повысить в должности? Смотрите, что о нем пишут».

Резко зазвонил телефон.

— Слушает подполковник Крабов. — По голосу он сразу узнал: говорит Гросулов. Полковник сообщил, что прочитал статью.

— Спасибо, товарищ полковник, спасибо. Не знаете, генерал читал?

— Читал, доволен... А что случилось с Громовым? Бородин доложил нам, что он заболел.

— У него, по-видимому, острый приступ аппендицита. Отвезли в санчасть.

— Значит, остался один... Смотри не сплывай, держись на высоте. Это для тебя большой экзамен, Лев.

Несколько секунд Крабов стоял с зажатой в руке трубкой, не решаясь положить ее. Таким и застал его Бородин, вошедший в штаб.

Крабов развернул топографическую карту с нанесенной обстановкой, сказал, не глядя на Бородина:

— Слушай, замполит, на марше я буду находиться в командирской машине в голове колонны до выхода на указанные позиции, вот это место, — ткнул он пальцем на условный знак. Бородин приподнялся, наклонился к столу в ожидании, что еще скажет Крабов. Но тот молчал, исподлобья глядя на майора. — Волнуюсь, замполит. Чувство такое, как будто мы что-то упустили, что-то недоработали.

— Верно, верно, — подхватил Бородин. — И у меня такое чувство. Давай все взвесим, подумаем, ведь первые боевые пуски.

Они сели друг против друга.

— Жаль, что с Громовым так случилось, — тихо произнес Бородин. Крабов промолчал, только слегка приподнял голову, метнул на Бородина взгляд, говоривший: об этом ли сейчас думать? — В жизни я, кажется, ничего не боюсь, а вот на операционный стол... страшно, ведь по-настоящему будут резать, — промолвил Бородин.

— Нет, не могу сидеть на месте, пойду к людям, к народу, — сказал Крабов и, остановившись у выхода, спросил: — Степан, как ты полагаешь: после операции Громов скоро приступит к работе?

— Конечно, дней через двадцать танцевать будет. Вообще-то пустяковая операция.

— Верно, пустяковая. Ну, я побежал.

«Двадцать дней... Что за это время можно сделать? — размышлял Крабов, шагая к машинам, готовым к выходу на учения. — Мало, очень мало. Если бы месяц-два...» Он начал прикидывать, что мог бы сделать, замечая командира дольше: как бы повысил требовательность к подчиненным, какие приказы издал бы, как поднял бы боевую подготовку!..

Когда вернулся, Бородина уже не было, на столе лежала записка: «Лев, звонил Захаров, выезжаем во второй половине ночи, приказал всем быть на своих местах. Я ушел к Шахову рассказать ребятам о последних международных событиях. Ужинать меня не жди, вечеряй один, я задержусь».

Хотелось кому-нибудь позвонить, отдать распоряжение... Крабов долго смотрел на телефонный аппарат, пока не уснул сидя, положив руку под голову. Во сне увидел мост, реку. Вода взбухла, вышла из берегов, преградив путь установкам. Остановилась колонна машин, посылались тревожные голоса. Но тут откуда-то подоспели инженерно-понтонные войска. Крабов распорядился навести переправу. Все было сделано, как велел он... Уже на той стороне реки к нему подкатил вездеход. Из машины вышел... командующий войсками округа. «Благодарю за службу, товарищ подполковник...» Крабов открыл глаза, сразу понял: сон!..

Бородин снимал сапоги. Под ним скрипела скамейка.

— Который час? — спросил Крабов, рассматривая онемевшую руку.

— Половина двенадцатого, Лева. Что мучаешься, ложись, в нашем распоряжении два часа.

— Я пойду.

— Куда?

— К саперам. — Он надел фуражку, потянулся за плащ-накидкой.

— Ой и беспокойный же ты, Лев, будто тебя подменили, не узнаю..

— Ответственность, Степан, как тут усидишь на месте! — Взмахнул накидкой и вышел, как ветром подхваченный.

После работы Наташа направилась в детский сад за Алешей. Если она немного задерживалась на работе, сюда поспевал Водолазов, иногда на дрожжах, иногда на пыльном «газике», которым он сам управлял. Сегодня государст-

венная комиссия приняла главный цех завода, и ей захотелось взглянуть на свою работу со стороны. Большое здание, освобожденное от строительных лесов, кранов и хлама, с огромными окнами и стеклянной крышей, горело в лучах летнего солнца. Трепетал на ветру красный флаг. Ей было приятно и немного грустно: объект сдан, принят комиссией с хорошей оценкой; приятно, и в то же время как-то жаль с ним расставаться... «Не грусти, прораб, тебя ждет новая стройка», — подумала о себе Наташа и, заметив у ворот детского сада дядю Мишу на дрожжах, побежала к нему, размахивая пестрой косынкой.

— Дядя, докладываю: цех сдан. Меня премировали путевкой в сочинский санаторий. — Она обняла Алешу, чмокнула его в щеку.

Дмитрич, сидя впереди Михаила Сергеевича, с грустью заметил:

— Все радуются, а я маюсь, как проклятый, старая ведьма жизнь портит.

— Скандалите? — спросил Водолазов.

— Вчера отвесил два раза в самый фасад...

— Разве можно бить женщину? Судить вас надо, Дмитрич.

— Разведите, пальцем не трону... Скажу вам, товарищ полковник, не женщина, а каторка: от одного ее вида все внутренности наружу стремятся выскочить. Нет, один лад — развод. Я уже и заявление подал в сельсовет. Она, проклятая, говорит: «Очень мне это по сердцу, и перечить не буду». Шабаш так шабаш. Паршивая баба из дому — мужику спокойствие и мир.

— За что вы ее так ненавидите? — поинтересовалась Наташа.

— Мы оба друг друга ненавидим: она — меня, а я — ее. И сосуществовать дальше не можем... Какой маршрут будет, товарищ полковник?

— В город поедем, и ты с нами поедешь, Наташа.

— Зачем?

— Надо, — коротко ответил Водолазов, сажая к себе на колени Алешу. — Нравится в садике? — спросил он у мальчика.

— Мы там играем в разные игры. Сегодня писали письма мамам и папам.

— И ты писал? — Наташа наклонилась к сыну, поправила сползшую на глаза панамку. — Ты же не умеешь писать.

— Мы по-нарошному. Это же игра, мама!.. Когда начали писать папам, я отказался, говорю: у меня нет папы. Евдокия Ивановна сказала: «Пиши дедушке». Я написал тебе, деда, большое-пребольшое письмо.

— Спасибо, Алеша. — Водолазов прижал мальчика к груди, шепнул Наташе на ухо: «Громов лежит в госпитале, ты сейчас должна зайти к нему».

Наташа вздрогнула, отрицательно покачала головой.

— Зайди, — повторил Водолазов и велел Дмитричу, чтобы он остановился. Наташа соскочила с дрожек. Здание госпиталя было через дорогу. Что-то говорил Алеша, но она не слышала, ее охватило тревожное чувство, сжалось сердце. Отъезжая, дядя Миша махал ей рукой, Дмитрич, понукая, дергал вожжами, стараясь, чтобы лошадь перешла на рысь. Мимо шли люди, она все стояла на тротуаре, не решаясь перейти дорогу. «В госпитале?.. Что с ним? Может быть, серьезно заболел?» Она была убеждена, что в военный госпиталь люди попадают только с тяжелыми недугами, увечьями или ранениями. Дрожащей рукой Наташа открыла дверь госпиталя, робко переступила порог. В коридоре было пусто и тихо, пахло лекарствами. «Зачем я иду к нему? Ведь он же ни разу не зашел к нам, не нашел времени поговорить, объясниться. Значит, не хочет видеть... слышать». Самые пестрые мысли лезли в голову. В ожидании кого-нибудь встретить, она села на белый табурет возле окна. «Хорошо, я только спрошу, что с ним и как он себя чувствует», — решила Наташа и несколько успокоилась. Она начала рассматривать плакаты, установленные на подставках, и не заметила, как появился перед ней высокий человек в белом халате, колпаке и массивных очках.

— Можно у вас спросить? — вставая, обратилась Наташа к врачу. Врач закурил, снял очки, и на нее уставились большие, резко очерченные глаза с нависшими густыми бровями. — Скажите, пожалуйста, подполковника Громова могу я видеть?

— Он кто вам — муж, брат? — Дроздов присел к столику, надел очки, начал листать конторскую книгу. Наташа не отвечала: действительно, кто же он ей теперь? кто? Она вспомнила последнюю встречу с Бородиным и подумала, что Степан, наверное, все рассказал о ней Сергею. С тех пор прошло полгода. Разве Громов не мог за это время выбрать денек и прийти к ней? «Нет, видимо, мосты взорваны навсегда, окончательно... Кто же виноват в этом? Я, я... И незачем к нему ходить». Наташа встала, намереваясь уйти.

— Ему сделали операцию, — сказал Дроздов.

— Операцию?! — произнесла Наташа, меняясь в лице.

— Да. Это неопасно, вы можете поговорить с подполковником. Няня! — крикнул Дроздов женщине, показавшейся в коридоре. — Проводите гражданку в третью палату, к Громову.

— Пойдемте.

Наташа заколебалась: «Как, сразу вот так?.. Боже мой, это же дико: явилась незваной... нехорошо!»

— Громко говорить нельзя, у него такой период, — предупредила няня, подавая ей халат. Наташа остановилась у двери. «Вернуться, пока не поздно. Что я делаю? Он же не примет». — Пожалуйста, проходите.

Громов лежал на спине, укутанный по грудь одеялом. Глаза его были закрыты. Наркоз проходил, боль усиливалась, расходясь по всему животу. Яркое солнце освещало каждую черточку на побледневшем лице. Наташа видела лоснящиеся черные брови, широкий, не тронутый морщинами лоб, светлые волосы, спадающие прядями на подушку, чуть курносый нос с мягкими линиями, подбородок с еле заметной впадинкой. Наташа чувствовала, что он не спит, и ждала, когда откроет глаза. Чуть похудевший, он напомнил ей того Громова, который кружил ее на руках в маленькой комнатке, там, у «черта на куличках», целуя ее и хохоча от счастья.

— Сережа, — шепотом произнесла Наташа, голос ее дрожал. — Это я... слышишь, это я... пришла.

Громов открыл глаза: в них не было ни радости, ни гнева, они спокойно смотрели на нее, словно это была не она, а другая.

— Это я, Сережа, — повторила Наташа, думая, что он не узнает ее.

— Садись, — показал Громов взглядом на табуретку. — Как живешь?

— Работаю на стройке...

— Хорошо. А я вот бездельничаю. Надо было в поле выезжать, на учения... и тут приступ. Понимаешь, как-то не повезло. Лежу здесь, а мысли в поле. — Он вновь закрыл глаза. Когда открыл их, она плакала, тихо, беззвучно, слезы катились по щекам, падая на черную сумочку, лежавшую у нее на коленях.

«Поле, поле... Обо мне ни слова», — хотела сказать Наташа, но не могла, комок сдавил ей горло.

— Не надо, Наташа... плакать. Зачем? Свое счастье ты нашла. Он хороший человек...

Она сразу поняла, о ком говорит Громов.

— Нет, нет, — шептала она, задыхаясь от слез. — Ты можешь мне простить, скажи, можешь?

— Простить... Поймешь ли, оценишь ли?.. Простить легко, трудно поверить. Знаю, ты стала другой, и все же... — Он сомкнул ресницы, покусывая губу. — Потом, лучше потом, Зайчонок, когда выйду из госпиталя. Спасибо, что пришла. Мне сейчас боли мешают разговаривать.

Она поняла эти слова как просьбу оставить его в покое.

Наташа встала, минуту смотрела на него молча. Никогда она его не видела таким красивым, как сейчас. Огромным усилием воли она заставила себя выйти из палаты. На улице не-

удержимо потянуло к Алеше. Она села на попутную машину и через двадцать минут была дома. Ни слова не говоря, разделась и легла в кровать. Она вспомнила о матери, о своем бегстве из дальнего гарнизона и снова расплакалась. Михаил Сергеевич, что-то подсчитывавший в соседней комнате, не выдержал:

— Разбудишь Алешу. Ни к чему эти слезы. Ты, конечно, не призналась ему в своей ошибке? Понимаю, это нелегко сделать, требуется мужество, Наталья.

— Я все понимаю, дядя.

— Ну и отлично, брось реветь, возьми на этажерке письмо, мать прислала.

Она распечатала конверт, торопливо прочитала знакомые строчки и сразу же написала ответ.

«Мама, с тобой случилось то, что и должно случиться. Не называй меня жестокой девочкой. О нет, я уже давно не девочка, с тех пор, как поняла свою ошибку, с тех пор, как ты оторвала меня от Сергея... Да, да, оторвала! Мама, я сейчас плачу, но, избави бог, не подумай, что плачу оттого, что у тебя, как ты пишешь, горе. Нет, нет, сто раз нет. Мне больно оттого, что я вовремя не могла убедить тебя, что ты совершаешь непоправимые ошибки.

Сейчас, когда я мать (Алешеньке-то уже седьмой год пошел, он здоровенький), я имею право сказать тебе правду.

В том, что случилось с тобой, никто не повинен, кроме тебя самой. Да, мама, только ты виновата в этом.

Ты пишешь, что тебя отстранили от должности заместителя председателя облисполкома. Этого нужно было ожидать.

Мама, в наше время только труд определяет положение человека в обществе. Ты же, мама, об этом никогда не думала. У тебя не было хорошего образования, и ты никогда не стремилась получить его. А какие возможности были! Я помню все, помню... Квартира, машина, домработница и целая орда подхалимов. Они окружали тебя всюду, напевали: «Талант, пламенный трибун, организатор!» Да, речи ты могла произносить, но — с завязанными глазами. Сколько раз я тебе говорила: «Мама, ты посиди, изучи дело и сама напиши доклад». Куда там! «У меня есть помощники. Я им верю».

И так из года в год. Потом ты и сама убедилась, что твой депутатский мандат — это что-то вроде сберегательной книжки: твой, навсегда твой, и никто не может отнять его.

Я помню все, решительно все. И твои взгляды, и твои нравы. Когда я полюбила Сергея и сказала тебе об этом, ты мне сказала: «Девочка (к этому времени ты меня уже перестала называть по имени), я найду тебе более выгодную партию». С большим трудом я уехала с Громо-

вым. Но и там, в этом действительно трудном месте, ты меня не оставила в покое. Каждый день присылала письма, напоминала о домашнем рае, театрах, кино, загородных прогулках. И свое дело сотворила. Я убежала от Сергея. Мне стыдно сейчас вспоминать об этом.

А с Сибирью как было? «Куда? Зачем? — протестовала ты. — Кто тебя гонит туда? Опомнись!»

Мама, я не жестокая, я просто поняла смысл настоящей жизни. Наберись сил, походи на фабрику, вновь за ткацкий станок. Ведь ты была когда-то хорошей ткачихой. Ты думаешь, мне легко было убить в себе все то наносное, которое ты воспитала во мне годами? Трудно, мама. Я убежала от мужа беременной, не сказав ему об этом. Ох как это жестоко! Слишком много я верила тебе, мама, верила слепо, будто загнипнотизированная тобой. Но гипноз прошел. Прошел!

Не обижайся, мама, на меня. Все, что написала, — от чистого сердца.

Наташа».

## VIII

За трое суток учений ракетчики не сделали ни одной остановки, они находились в непрерывном движении. В штабной машине было душно до тошноты. Наконец боевые установки вошли в лес. Повеяло прохладой, и Крабов облегченно вздохнул. Он развернул карту и, слив ее с местностью, определил: до рубежа боевых пусков остались считанные километры, вот-вот должна последовать команда, оповещающая войска о ракетном ударе. Подходы к рубежу и сама местность, с которой будет произведен залп, были хорошо известны Крабову и всем ракетчикам. Еще накануне, дня за три до учений, Громов провел тренировки: изучили предполагаемый маршрут движения, осмотрели рубеж боевых пусков, оборудовали площадки и убежища для расчетов. Никаких задержек не могло быть. Крабов это знал. И все же он не был спокоен. Слова полковника Гросулова: «Смотри не оплошай, держись на высоте», — не выходили из головы. «Экзамен, а после экзамена что бывает? — несколько раз спрашивал Крабов Волошина, сидевшего за рулем, и сам же отвечал: — Дают путевку в жизнь».

Впереди показался мост.

— Остановитесь! — приказал Крабов Волошину и почти на ходу выпрыгнул из машины. «А если саперы плохо осмотрели? Произойдет задержка? О нет, всем доверять нельзя». Крабов подбежал к перилам, схватился за железное литье, напрягся, потряс. Ему показалось, что конструкция покачнулася. Солдат из подразделения инженерной разведки, дежуривший у моста, доложил:

— Товарищ подполковник, мост осмотрен, путь безопасен.

Внизу, у ледорезов, пенясь, бурлила вода. Мальчишка-рыбак, примостившись у железобетонной опоры, с упреком посмотрел на Крабова.

— Клюет? — крикнул Крабов, испытывая легкое головокружение от большой высоты.

— Рыбу пугаете, дяденька.

— Рыбу? — Это слово показалось Крабову странным и ничтожным. «Что он говорит, сопляк, — в сердцах подумал Крабов. — Вот я тебя сейчас. — Он метнулся к откосу. Но бежал не к рыбаку-мальчишке: он не посмел открыто возразить разведчику — не было причин не верить солдату — и в то же время уже не мог подавить в себе дух сомнения и недоверия. — Снизу взгляну на опоры, спокойнее будет на душе». Так велико было желание без «сучка и задоринки» закончить учения. Откос, вымощенный гладкой брусчаткой, круто спадал к реке. Черное облако, висевшее в зените, вдруг вздохнулось, дохнуло ветром, грянул гром. Хлынул дождь, крупный и частый, брусчатку будто облили водой. Над лесом висела изумительная радуга. Крабов на мгновение залюбовался ею, а внутренний голос торопил: «Действуй, спеши». И он шагнул по откосу вниз, робко, неуверенно. Будто кто-то вырвал из-под его ног брусчатку, жестоко и безжалостно. Крабов всплеснул руками, стараясь удержать равновесие, но не смог. Падая, он ударился затылком о камень и покатился вниз, к реке. Мальчишка едва успел отскочить в сторону, как подполковник с шумом упал в воду. Поток подхватил его, закружил и понес под мост, оставляя на поверхности след крови.

— Убился!.. Товарищи, убили! — закричал Волошин, когда вынес на берег бездыханного Крабова.

Подъехал Бородин на бронетранспортере. Увидел лежавшего возле штабной машины Крабова, оцепенел. Лицо подполковника распухло, правый глаз заплыл, а левый был открыт, и казалось, Крабов с упреком смотрит на мир, недовольный и что-то обдумывающий...

Ракетные установки одна за другой проскочили мост. Дождя уже не было. Машины мчались на предельной скорости к намеченному для пусков рубежу. Вслед за ними следовал бронетранспортер, на котором, укрытое брезентом, лежало тело Крабова: Бородин, чтобы не терять времени, решил доложить Захарову о несчастном случае после отстрела. Глядя из штабной машины на пожелтевшие от зноя холмы, деревья, на видневшиеся вдаль танки (они совершали какой-то маневр), на самолеты, идущие курсом к горам, Бородин невольно пытался понять причину гибели Крабова. Он знал, что на учениях всякое может случиться: кого-то условно выведут из строя (на то они и учения),

кому-то прикажут занять место выбывшего из строя офицера, наконец, условно могут «уничтожить» целое подразделение (на то он и учебный бой, а боя без потерь не бывает). Он также знал: что бы ни случилось, а войска не останутся на полпути... В этом отношении жизнь армии ему чем-то напоминала движение времени. Время неумолимо. Оно не считается ни с трудностями, ни с потерями, ни с желанием человека — идет и идет по извечно заданному маршруту: весна сменяет лето, лето — осень, осень — зима и снова — весна... Так вот и военный человек: он не имеет права отклониться, не имеет права остановиться, он обязан идти в дождь, пургу, слякоть, зной, идти в огонь и в воду. Это его сущность, сущность, рожденная необходимостью защиты отечества. И сущность эта неумолима, как неумолимо время... Войска идут, и он, Бородин, принявший на себя командование ракетчиками, как бы сейчас ему горько и больно ни было, будет управлять подчиненными и произведет ракетный залп.

Бородин сжал в руках переносный микрофон, подал команду расчетам:

— Внимание! Занять стартовые позиции.

В динамике послышался голос Захарова:

— «Буря», я — «Кристалл». Доложите готовность.

Бородин окинул взглядом местность: установки поблескивают на солнце сталью, направляющие механизмы нацелены... Узлов и Шахов отдавали какие-то распоряжения подчиненным. Вычислители прильнули к приборам, уточняя расчетные данные. Спокойствие подчиненных передалось Бородину, и он чуть повышенным голосом ответил генералу:

— «Кристалл», я — «Буря». Готов к сигналу «Пуск».

Несколько секунд, показавшихся Бородину на этот раз слишком длинными, Захаров молчал. Бородин успел подумать о нелепой смерти Крабова и так некстати заболевшем Громе, успел заметить маленькую птичку, сидевшую на ветке в тени. Один глаз у нее был закрыт, вторым она смотрела прямо на майора — мирно, доверчиво. «Глупая, — подумал Бородин, — улетай, а то от грохота ножки протянешь». Он хотел спугнуть ее, но не успел.

— «Буря», я — «Кристалл». Вам — «Пуск».

— «Кристалл», я — «Буря». Вас понял, — ответил Бородин и, переключив передатчик на позывные огневики, скомандовал: — Батарея... к бою! — И тут же услышал:

— Первое готово!..

— Пуск! — крикнул Бородин, взглянув на часы, и удивился необыкновенной прыти секундной стрелки: ему показалось, что стрелка бежит непостижимо быстро, во всяком случае быстрее, чем бежали солдаты в укрытие, оставив по одному специалисту возле установок.

Но как бы резво ни бежала маленькая, тоненькая стрелка часов, все же люди опередили ее бег... Раздался треск, напоминающий серию электрических разрядов, послышалось мощное шипение, и черные сигары, таща за собой огненный хвост, с грохотом отделились от установок... Бородин выглянул из укрытия: ракеты, еще грохоча, неслись к облаку. потом (он видел это по черному дымному следу) пошли книзу, в направлении цели.

И когда наступила тишина, когда прозвучала команда прекращения пусков, Бородин начал ждать сообщения от генерала о результатах стрельбы. Теперь секундная стрелка уже не бежала, она, будто уставшая и измученная напряжением, еле волочилась по циферблату...

Лицо майора покрылось капельками пота. Он достал носовой платок, вытер щеки, лоб, случайно заметил: птичка сидела на прежнем месте и теперь уже обоими глазами смотрела на него спокойно и доверчиво.

— Птаха-то не улетела, сидит, — сказал Бородин Волошину.

— Какая птаха? — недоуменно спросил Волошин.

— Да вот, на ветке, — показал майор на куст.

— А-а, чего ей бояться, товарищ майор? Она — не агрессор.

Ракетный залп был произведен с высокой точностью, и, наверное, часть получила бы отличную оценку за боевые пуски, но руководитель учений генерал армии Добров, узнав о гибели подполковника Крабова, на разборе не дал никакой оценки ракетчикам, ограничился лишь одной фразой: «О ракетчиках состоится особый разговор...» Бородин представлял, какой может быть разговор, когда налицо такое происшествие: после тщательного расследования трагического случая последует приказ с определенными выводами и должным наказанием конкретных виновников гибели Крабова...

Специалисты приводили боевую технику в надлежащий порядок, работали сосредоточенно и молча: подчиненные понимали своих командиров с полуслова — весь военный городок как-то притих, сжался. И от этого на душе у Бородина становилось еще горше. По вечерам он забегал к Грому в надежде поговорить с командиром, хоть немного отвлечься от тех дум, которые распирали голову: наедине он мучительно искал ответа, почему такое могло случиться с Крабовым. Ответить не мог. Заходил к Елене. Она сжимала лицо ладонями и лишь отрицательно качала головой: «Не знаю, не знаю, не знаю...»

У Громова Бородин старался бодриться:

— Живот полотенцем перевяжи. Я тебя совсем не слышу, а поговорить хочется.

Громов невольно хватался за шов, повышал голос:

— Дознаватели еще не начали расследования? Нет? Жди, нагрянут, наговоришься.

— А-а, не боюсь... Пусть любое наказание дадут.

— Значит, храбрый?

— Не в этом дело... Почему он решил спуститься под мост?

— Крабова ты лучше знал, обедали вместе, дружили.

— Дружили... Елена такая женщина, любые семьи подружит. Она добрая.

На третий день предсказание Громова оправдалось: началось нашествие комиссий, инспекторов, дознавателей. Бородин, занявший на время кабинет Громова, только и слышал от дежурных по части:

— Прибыл заместитель начальника политуправления округа...

— Прибыл дознаватель...

— Прибыл полковник из Москвы...

— Прибыл инспектор с группой офицеров...

Бородин бежал встречать, докладывать, высказывал из кабинета на каждый стук в дверь. Иногда это были то Шахов — инженер интересовался, как быть с вечерним техническим университетом: солдаты просят продолжать занятия; то капитан Савчук, временно исполняющий обязанности начальника штаба, — подходил срок экзаменов на классность, и ему нужно было уточнить состав комиссии; то еще кто-либо из офицеров... Бородин хватался за голову, сдерживая себя, чтобы не закричать. Шептал: «Когда ж придет Громов? Операция-то — пустяк». Отдавал нужные распоряжения, указания, мчался к приезжому, чтобы продолжать начатую беседу. Представители и расследователи держали его иногда до полуночи. Чтобы не терять времени, Бородин спал вместе с ними в гостинице, передав сына на попечение Елены. Собственно, она сама забрала к себе Павлика: «С ним мне будет легче, одной страшно, а он все же человек».

Однажды, когда все дознаватели уехали из части и Бородин находился в парке боевых установок, к нему подбежал лейтенант Узлов.

— Прибыл еще один, — доложил лейтенант.

— Кто? Откуда?

— Полковник Гросулов, ждет в вашем кабинете... Велел позвать.

Бородин, зная хорошее отношение Гросулова к Крабову, полагал, что он раньше всех займется выяснением причин гибели подполковника, но Петр Михайлович все эти дни не проявлял особого старания. Он приезжал с представителями, знакомил их с офицерами части и тут же возвращался в Нагорное. Знал Бородин, что полковник не очень благоволит к политическим работникам, и вот теперь придется с ним иметь

дело. Пока шел до штаба, успел представить, какой трудной будет встреча с Гросуловым. С этим чувством и открыл дверь. Полковник смотрел в окно и даже не повернулся к майору.

Бородин доложил о своем приходе.

— Достается вам без командира? — Гросулов потрогал шрам. — Н-да. Вот такое дело-то. Выходит, можете командовать частью, залп произвели отлично. — Он говорил тихим голосом. И хотя на нем, как всегда, было выглаженное обмундирование, Бородину почему-то показалось, что Гросулов изрядно помят. — Догадываетесь, зачем я прибыл?

— Все приезжают по одному и тому же делу. Уж скорее бы приказ состоялся...

— Вы дружили с Крабовым, часто бывали у него на квартире. Не так ли?

«Начинается», — подумал Бородин, но без нервозности, спокойно ответил:

— Да, бывал, товарищ полковник. Нередко мы вместе обедали. Елена Крабова и моя покойная жена Катя были подругами, вместе в художественной самодеятельности участвовали.

— Значит, вы хорошо знали Крабова?

— Разрешите курить? — уклонился Бородин от ответа: он уже сам задавал себе такой вопрос и не мог на него ответить.

— Курите. Я бы вам не советовал сильно переживать, товарищ майор, — сказал Гросулов и почему-то закрыл глаза. Так он сидел с минуту.

«Не советовал, — рассуждал Бородин. — Разве дело в этом? Переживай не переживай, человека не вернешь. Дело в том — почему это произошло, как могло случиться, что Крабов не поверил разведчикам, сунулся осматривать этот несчастный мост?.. Специалистам не верить, людям не доверять — это чудовищно!»

— Вы Крабова не знали, Степан Павлович, — произнес Гросулов, открывая глаза. Бородин даже удивился, что полковник назвал его по имени-отчеству. — Не знали! — повторил Гросулов. — А обязаны были знать. Да, да, по долгу службы. — Он поднялся, поискал взглядом графин с водой, напил и продолжал: — Я подал рапорт о переводе в другое место, не знаю, куда пошлют — хоть на край света, мне все равно, поеду. Может быть, мы с вами, майор, больше не увидимся, это скорее всего так. Могу вам сказать: вины вашей в этом архиредком ЧП меньше, чем моей. Не верите? — Полковник открыл черную кожаную папку, которую он все время держал под мышкой, начал перебирать какие-то бумаги, нужные откладывал на диван. Это были односторонние не то записки, не то рапорты со знакомым Бородину почерком. Бородин пытался вспомнить, кому он принадлежит, но так и не припомнил. Гросулов, положив папку на стол, сел на диван, неторопливо



прикурил от зажженной спички. — Не верите, значит?..

— Просто не понимаю, товарищ полковник...

Гросулов поспешил:

— Годы, служба меняют людей. Возможно, что и Крабов стал бы другим. С ним произошло бы то, что со мной в эти дни. — Было заметно, что полковник волнуется, намеревается поведать то, что не сразу скажешь другим. — Командир — ружье, а остальное — ремень и антапки. Даже не затвор!.. Какая чепуха, стыдно вспоминать. А ведь для меня эта дикая формула была существом души, нормой отношения к подчиненным... Для вас, майор, это не открытие, но извольте выслушать. — Однако, подумав о чем-то, Гросулов вновь заговорил о Крабове: — Крабова вы не знали. Вот его душа! — потряс он записками. — Читайте хотя бы вот эти, достаточно трех, читайте, — повторил полковник и в ожидании, когда прочтет Бородин, глубоко задумался. Воспоминания захватили его...

Предвоенные годы — он командир батареи, дивизиона; фронт — он командует полком, после войны — командир полка. «Митинги? Трата времени. Я приказываю — остальные повинуются, другого мне не надо». Он был щедр на взыскания. Иногда на партийных конференциях критиковали, робко, лишь намеками, а он потом без намеков «снял стружку» с тех, кто пытался «копаться в его недостатках». В полку дела шли хорошо, но подчиненные при встречах старались обойти его стороной. «Ружье на горизонте!» — не раз слышал он предупреждающие возгласы и даже гордился тем, что о нем так говорят. Однако в душе чувствовал камень, который порою давил нещадно, особенно при встречах с другими командирами полков, охотно, с искренней теплотой отзывающихся об офицерах и политработниках. Камень-то давил, но он сам, Гросулов, не сдавался, стойко переносил эту тяжесть. Именно в тот период его повысили в должности — послали в штаб артиллерии. Потом пошел слух: повысили потому, что опасались, как бы он совсем не свернул политическую работу в полку, ведь не раз приказывал секретарю партийного бюро отменить то или иное намеченное собрание коммунистов, не советовал, а приказывал...

В первой записке Крабов писал Гросулову: «Не подумайте, Петр Михайлович, что я так уж сильно стремлюсь стать командиром полка. Мне просто очень хотелось бы послужить под вашим началом на этой должности. Увольняется полковник Водолазов, поговорите с генералом Захаровым. Отдача будет полная, и я вас никогда не подведу... Приезжайте в субботу, сходим на косуль, ягдташи пустыми не будут».

Во второй, написанной карандашом, Лев Ва-

сильевич сообщал: «Наш Бородин развил бурную деятельность вокруг предложения лейтенанта Шахова. Думается мне, он сможет подмять под себя Громова, хотя это сделать нетрудно — командирского опыта у Громова кот наплакал. Прошу вызвать на беседу».

Последнюю записку Бородин не стал читать, он отложил ее в сторону:

— Вот каким ты был, Лев... — тихо произнес Бородин и, не стесняясь Гросулова, начал жестоко бранить себя за то, что своевременно не смог по-настоящему оценить стенания Крабова, его попытки что-то сделать заметное в отсутствие Громова, его сомнения и возражения, когда при Громе кто-то брался за доброе дело.

— Вы поняли? — спросил Гросулов, кладя бумагу в папку.

— Да, — ответил Бородин и, в свою очередь, задал вопрос: — Товарищ полковник, что же вас удерживало растолковать Крабову, что он ошибается? В конце концов можно было поставить нас в известность!

— Если правду сказать, Крабова по-настоящему я не уважал, напротив, где-то в глубине души ненавидел... Я не привык давать объяснения подчиненным, это сверх моих сил, но вам скажу... Сам не знаю почему, но вы, по существу, первый человек, который своими поступками крепко взял меня за душу и повернул лицом к подлинной жизни. Да, да... Крабов много наговорил чепухи на вас. Он знал мое больное место. Когда он сообщал о Громе, я осаживал его, сдерживал, ругал, но когда шла речь о вас, я кипятился и подогревал Крабова. Но никогда не думал, что болезнь Льва Васильевича примет такой угрожающий характер. Он стремился делать все во имя личной карьеры, личной славы. Судьба таких людей трагична в наше время... Не вам, майор, о таких вещах говорить, вы это понимаете лучше меня. — Гросулов тяжело поднялся. С минуты стоял неподвижно, словно собирался с мыслями. Потом, взглянув на часы, подал руку Бородину: — Вот так, Степан Павлович. Желаю успеха. — Он открыл дверь, но тут же остановился, закрыл ее и сказал: — Все, что я вам сообщил, я изложил в своем объяснении на имя генерала Захарова и командующего войсками округа. До свидания, Степан Павлович...

...Громов вышел из госпиталя. Через неделю его и Бородин вызвали к Захарову. Проезжая мимо парка, Громов велел Волошину остановить машину. Он открыл дверцу, вслушался в команды, доносившиеся из-за ограды:

— К бою!

— Готово!

— Выстрел!

Занятие проводил лейтенант Узлов. Громов посмотрел на секундомер: с тех пор как он был

назначен командиром ракетной части, всегда имел при себе секундомер. От команды «К бою» до ответа «Готов» проходило очень мало времени.

— Подходяще, комиссар, торопятся не спеша, — с удовлетворением заметил Громов. — Поехали, Волошин.

Громов был убежден: вызывают по делу Крабова. «Поступил приказ, и сейчас объявят», — рассуждал Громов. Его мысли постепенно перекинулись к Елене. Вчера он заходил к ней. Она просила подослать сегодня вечером машину: уезжает на Украину навсегда, уже купила билет на поезд. Громов пытался отговорить ее, обещал устроить на работу в местную школу. Елена осталась непреклонной в своем решении. Ключ от квартиры она отдала Громову, попросив его никому не говорить об отъезде. Он дал слово, что не скажет, а самого так и подмывало сообщить замполиту.

Бородин тоже думал о Елене. Когда он приходил к ней, заставлял в одной и той же позе: она сидела на диване, скрестив руки на груди и чуть склонив голову на плечо. Он говорил: «Ты же очень, очень еще молода». Бородин старался ободрить Елену. Но она останавливала: «Вот-вот... жалеть вы все умеете». — «Лена, я не жалостливый, я совсем другой». — «Какой?» — вскидывала на него взгляд, полный непонятной тревоги и страха. «Ты боишься меня?» — спрашивал Бородин. «Не надо об этом», — качала она головой. «Хорошо, хорошо, молчу». Но молчать не мог. Однажды сказал: «Лена, Павлик к тебе привык... Ты очень добрая». Но смелости не хватило прямо сказать ей: «Ты можешь быть хорошей матерью для Павлика». Сегодня собирался, помешала эта поездка. «Потерпим, потерпим до вечера», — заключил про себя Бородин и, словно бы ни о чем не думая, подел Громова:

— Уснул, что ли, Сергей Петрович?

— Уснешь, от мыслей в голове лопается... Схватим сегодня по выговору для начала.

— Определенно.

Впереди показалась окраина Нагорного. Бородин попросил остановить машину.

— Марфет надо навести, — предложил он Громову, доставая из чемоданчика сапожную щетку и бархотку. — Почистимся, авось начальство скидку сделает, увидя перед собой храбрых офицеров.

— Едва ли, — возразил Громов.

— Гросулов это любит, ему нравится, когда его лик отражается в блеске голенищ подчиненного. А Захаров? А подполковник Громов? — засмеялся Бородин, передавая командирскую щетку и бархотку. — Опрятность солдата ласкает глаз друга, страшит врага, как говорит старшина Рыбалко...

Для Захарова рабочий день начался довольно спокойно. После многих суток, проведенных в горах на учениях, после хлопотливого разбирательства причин гибели подполковника Крабова, после того как был откомандирован в Москву полковник Гросулов, генерал решил посмотреть квартиру, отведенную ему в новом доме. Он поехал туда, когда еще не открылись магазины в городе и на улицах было не так-то много прохожих. Его сопровождал Бирюков, явившийся к нему в гостиницу ни свет ни заря с докладом о плане перемещения некоторых офицеров. Захаров не стал его слушать, предложил подполковнику поехать вместе с ним, потом отправиться в штаб, где и решить вопрос о новых назначениях.

Настроение у генерала было, как всегда, бодрое, а нынче — особенно. В кармане лежало письмо от жены, на этот раз очень короткое: Ирина писала, что готова к отъезду, вещи уже отправила багажом, билет на поезд заказала, телеграммой сообщит номер вагона. Захаров, вспомнив о прежней слабости Бирюкова судить о человеке по анкете, улыбаясь, спросил:

— Александр Иванович, как у вас теперь с китами? Ориентируетесь по-прежнему?

Подполковник засмеялся:

— Зарезал я их, товарищ генерал. Случай с Сизовым многому научил. Полковник в гору пошел, хвалят его там, в округе, говорят, отличный инспектор.

— Дело свое он знает. А что касается ваших китов, Александр Иванович, сейчас надо быть особенно осторожным. Кадры — это крепость армии, не уволить бы тех, которые нужны.

— Да уж теперь не уволим, — многозначительно произнес Бирюков. Генерал насторожился, в голосе подполковника он уловил что-то скрытое, невысказанное. Как-то так получалось, что в штабе о всех новостях первым узнавал Бирюков. Кто его информировал, мало кого интересовало, но Бирюкову верили, потому что за редким исключением его прогнозы подтверждались. Знал об этом и Захаров и, хотя он не очень-то прислушивался к новостям кадровика, а иногда одергивал подполковника за его излишнюю болтливость, сейчас как-то невольно в шутовском тоне спросил:

— Вам что-нибудь известно?

— Скоро увольнение из армии приостановят, задержат, товарищ генерал...

Они вышли из машины, поднялись на второй этаж. Квартира Захарова была полностью подготовлена для вселения жильцов: комендант постарался обставить ее новой мебелью, уже был проведен телефон. Это понравилось генералу, и он, принимая ключи от дежурившего здесь солдата, сказал:

— Теперь вы можете быть свободны, я остаюсь здесь. — Захаров прошел в небольшую комнату, отведенную под кабинет, сел за стол, положив руку на телефонный аппарат. Он хотел было соединиться с начальником штаба, но в это время раздался звонок. Генерал взял трубку, и, по мере того как он слушал, Бирюков, стоявший у двери, понял: командующему сообщают что-то важное и срочное.

— Сейчас буду, выезжаю, — сказал Захаров и, положив трубку, устремил взгляд на кадровика: — Генерал Добров приехал. Похоже, что вы правы, Бирюков, увольнение действительно приостановлено.

Захаров обошел комнаты, осмотрел кухню. «Ирина будет довольна квартирой», — подумал он, радуясь, что наконец-то они заживут по-человечески.

...Добров встретил Захарова в кабинете начальника штаба. Он сразу попросил Захарова показать ему «малый кабинет» — Добров был наслышан от других об этой комнате, где генерал проводит наедине ежедневно по полтора-два часа. Но прежде чем отправиться туда, командующий распорядился вызвать в штаб командира ракетной части и его заместителя по политчасти. Это было сделано немедленно.

— Каморочка-то симпатичная, — заметил Добров, войдя в «малый кабинет». — Обставили вы ее солидно. — Он достал из портфеля журнал в светло-бежевом переплете. — Вот смотрите и радуйтесь. Напечатали ваш труд. Но это не все, главное вот, в этой телеграмме. — Добров подал Захарову бланк.

«Прочитал вашу статью «Некоторые взгляды на формы ведения боя в условиях применения термоядерного оружия». Работа очень полезная и ценная. Даем практический ход вашим идеям. Благодарю за помощь. Министр обороны Союза ССР...»

— И это не все, — продолжал командующий, когда Захаров, волнуясь и что-то шепча, положил телеграмму на стол. — Заправили НАТО усилили свои провокации в Западном Берлине. Есть решение Советского правительства задержать увольнение в запас. На днях оно будет опубликовано в печати. Министр приказал: привести войска в высшую боевую готовность. С этой целью будут проведены учения по переброске войск на дальние расстояния. — Добров посмотрел на журнал. — Это, кажется, совпадает с вашими взглядами, изложенными в статье... Военный совет округа решил перебросить войска по воздуху вот сюда. — Генерал армии показал на карте район. — Вы довольны, Николай Иванович?

— Мне это по душе, товарищ командующий.

— Понимаю... Подробности, детали мы обсудим сегодня. Через час сюда прибудет на-

чалник штаба округа с оперативной группой офицеров. Как твои ракетчики, успеют приехать?

— Обязательно. Люди они исполнительные...

Громов и Бородин вышли из штаба артиллерии, когда уже солнце клонилось к закату. До машины их провожал Захаров. Все они находились под впечатлением предстоящих учений. Однако, когда генерал прощался, Громов спросил, что их ожидает по делу Крабова. Захаров, подумав, сказал:

— Очень чесались у меня руки представить вас к правительственным наградам за успешное освоение ракетной техники. Боевые пуски прозвучели успешно. Но не обижайтесь, сами виноваты, не совсем, конечно, но доля вашей вины есть, товарищи, есть... Урок на будущее... Что же касается награды, то, как в народе говорят, орден всегда найдет достойного человека...

Выехали за город. Громов сунул руку в карман, понащел ключ от квартиры Крабовой.

— Комиссар, хочешь отдельную квартиру иметь? Сейчас, немедленно?

— Каким же образом. Ты что, маг или фокусник?

— Вот тебе ключ, две комнаты, кухня. Хватит? Крабова сегодня в десять вечера уезжает, совсем, на Украину...

— Шутишь, Сергей?

— Нет, действительно уезжает.

— Не может быть. Дай-ка ключ, мне ее надо повидать. Волошин, прибавь скорость, время еще есть, — заволновался Бородин, торопя водителя. Пошел дождь. Возле села забарахлил мотор. Волошин долго копался, ища неисправность. Бородин нетерпеливо вздохнул:

— Я пошел, командир, могу опоздать.

Но он не пошел, а побежал, напрямик, через огороды. Глядя ему вслед, Громов улыбнулся: «Так бегают на пожар. Не загорелось ли у тебя, Степан, сердечко?»

Дождь прошел, и вокруг засверкали лужицы. Лучи заходящего солнца окрасили землю желтоватым, но еще ярким светом. Возле перекрестка дорог какой-то мальчонка, забредя по колено в воду, пускал бумажные кораблики. Громов, остановив машину, открыл дверцу.

— Эй, герой! — крикнул он мальчику. — А ну вылезай из воды. Смотри, весь промок. Получишь от матери взбучку.

— Не получу.

— А ты чей будешь?

— Мамин... и дедушкин. Во-он наш дом, — показал мальчик в сторону, где жил Водолазов.

Громов присмотрелся: «Да ведь это он». Выскочил из машины. Его охватило странное беспокойство, которое он никогда не переживал

и не испытывал. Мальчик смотрел на него доверчиво, без тени боязни, в голубых, чуть прищуренных глазенках угадывались и покорность характера, и прямота взгляда, та прямота, которая делает человека неустранимым, готовым постоять за себя.

— Алеша... хочешь покататься на машине? — не сказал, а прошептал с дрожью в голосе Громов.

— Хочу! Хочу! — обрадовался мальчик. Громов шагнул в лужу, собрал кораблики, взял мальчика на руки.

— Алеша, мы поедем сейчас к дедушке. — Но, выйдя на дорогу, он сказал Волошину: — Поезжай в гараж.

И понес промокшего сына по песчаной, набухшей от дождя дороге, еще не зная, для чего и с какой целью он это делает...

Пошел мелкий дождь, похожий на водяную пыль. Ветер бросал ее откуда-то сверху и, подхватив у земли, нес мимо окна, вдоль дороги. Дождь напомнил Елене ту желтую пыль, которая вдруг поднялась, когда хоронили Леву... «Оркестр шел впереди... А я сидела в машине у гроба... Одна? Нет, Степан со мной был. И Громов... Ох, Лева... Раньше спрашивала, как смотришь на жизнь, молчал, ничего не говорил. Считал меня личным адъютантом. За книгами сходи, билет в театр приготовь, в самостоятельности участвуй — иначе что подумают о муже! — костюм погладь, на вечер сходи, посмотри и доложи, что было там... И только... Даже не мог на мои вопросы отвечать. Все спешил, спешил, кого-то хотел обогнать, над кем-то выисываться, взять то, что не каждому дается, не каждым берется... Вот и упал ты с моста, упал и разбился. Дико! Мне больно, Лева... Больно!.. Дождик... И зачем?..» Елена прошла в спальню. Здесь все было голо: с кровати снята постель, со стен — фотографии, со стульев — чехлы. Вещи упакованы...

Желание уехать на Украину возникло у Елены сразу же после похорон мужа. Но к окончательному решению она пришла только вчера. Нет, она не испытывала одиночества, напротив, к ней отнеслись очень чутко. Каждый день у нее бывали то Громов, то Бородин, то Савчук, приезжал и Захаров, уже не говоря о женщинах: они просиживали у нее допоздна, делали все, чтобы смягчить горечь утраты... И все же она решила уехать, почему — она и сама не знала, но желание уехать было велико. «Это же бегство», — сказал Громов. «Ничего, ничего, мне так хочется, уважьте эту мою просьбу. Теперь у меня начинается нелегкая жизнь, и я хочу сразу ее начать такой», — ответила она.

Ветер изменил направление, и дождь ожесточенно хлестал по стеклам окна. Кто-то по-

стучал в дверь. Елена заколебалась: вдруг это не Дмитрич, кто-нибудь другой? Но это был Сазонов, и она успокоилась.

— Показывайте, какие вещички, — не снимая брезентовый плащ, Дмитрич сразу прошел в комнату. С плаща стекала вода, и на полу образовалась лужица. Она подумала, что надо взять тряпку, вытереть пол, но Сазонов, не говоря ни слова, начал метаться по всей квартире. Потом он с безразличным видом опустился на диван, вынимая кисет из кармана.

— Диван поберегите! — сказала она, возмущаясь в душе бесцеремонностью старика. Он вскинул на нее мутные глазенки, покачал головой, снял плащ. Свернув его в тугую скатку, закурил.

— Мебелишка-то старая, — произнес он тихим голосом. — Жил у меня один летчик, хорошую мебель имел. Сейчас не стыдно ее сдать любому квартиранту. А ваша что, на дровишки развез...

Елена робко возразила:

— Что вы, Дмитрич, она не новая, но еще добротная. Конечно, при переезде кое-что потерялось.

— При переезде, — вздохнул Сазонов. — Что военным не сидится на месте! Ездют и ездют. Тьфу, с такой жизнью!.. Много покойник кочевал?

— Много, — коротко ответила Елена.

Дмитрич уже становился ей невыносимым. Раньше, когда она покупала у него молоко, яйца и мясо, он ей казался мягоньким и добреньким стариком, человеколюбцем, а теперь от него веяло жестокостью и холодом.

— Н-да, кочевал, а помер у нас в деревне, в далекой сибирской деревне. Ладно, прости меня, всевышний, это не моего ума рассуждения... Сколько же вы хотите за вещички, за все скопом?

— Не знаю, сколько дадите.

— Сам-то я, голубушка, хе-хе, не люблю давать. Но, учитывая ваше положение, рублей пятнадцать новыми денежками заплачу. Новыми, они с виду маленькие, но ядреные по силе. Согласна?

— Согласна, — сказала Елена, желая быстрее избавиться от этого человека и неприятной для нее процедуры. Сазонов даже обиделся, что так легко относится эта женщина к своему добру. Он хотел сделать ей выговор, но воздержался: вдруг передумает, и ему придется платить дороже. Дмитрич порылся в кошельке, отыскал три пятерки, положил на стол, но тут же взял их.

— Расписочку черканите о том, что уплачено гражданином Сазоновым пятнадцать рублей за проданную мебель, — сказал он, — и свою подпись поставьте. Это для порядку. Уважаю законность и все делаю по закону. А нонче

законы очень даже душевные, человека оберегают: что положено ему — вынь да положи. Это, голубушка, больше чем божья благодать. Только дурак смотрит на них, на законы-то, пугливым оком. Хе-хе, а умный да понимающий всегда найдет в них теплые, душевные места, легко поворотит их для пользы своей.

Елена не слушала, что говорит Дмитрич. Она дрожащей рукой писала расписку. Почерк у нее был крупный, разборчивый. Сазонов легко пробежал взглядом по строчкам и, убедившись, что написано то, что он хотел, положил деньги на стол.

— Теперь порядок. Позвольте мне приехать за вещичками немедленно?

— Хорошо... Можете забирать.

Дмитрич надвинул картуз, что-то хотел сказать, но только покрутил головой и торопливо скрылся за дверью.

За окном уже не было дождя, ветер угнал прочь серую пыль. Светило солнце. Его лучи падали на пол, высушивая мокрые следы Дмитрича. Елена ходила по квартире и повторяла:

— Вот и все... Вот и все...

Она не думала о том, что ждет впереди, не думала потому, что знала — будет нелегко, все мысли ее были в прошлом. Они металась по тропам, по дорогам, по далеким гарнизонам — где только не приходилось служить Лева! Вдруг она спросила себя: смогла бы вновь пройти по этим тропам? На минутку страшно стало от такой мысли. Она достала из сумочки зеркало. Посмотрелась в него: «Куда мне, стара уже для таких дел». Она долго смотрела на свое отражение. Ей шел тридцать второй год, и она не выглядела такой старой, какой считала себя. Напротив, по внешности никто не давал ей тридцати. У нее были вечно молодые глаза — с небольшим прищуром и светлым кристалликом в центре зрачков. И эти глаза, и темные вьющиеся волосы, и аккуратный, будто выточенный, бюст придавали ей девичий вид. И все же смогла бы она снова идти рядом с таким человеком, как Лева?.. Страх прошел. Теперь она уже не думала о том, чтобы быть женой военного — это непостижимо трудно и страшно. Случай с Лева?.. Все зависит от человека, от него самого, от его взгляда на жизнь... «Если бы ты не была замужем, сразу отправился бы с тобой в загс», — она удивилась, как могли прийти в голову слова Бородина. Вскочила с дивана и вновь начала ходить по комнате.

— Смешно и дико! — Елена вспомнила инженершу со стройки. Она никогда ее не видела, но много слышала от других женщин, что та хороша, и Бородин «сохнет» по ней. — Смешно и дико... Нет, Лева, я уезжаю, все, все кончено...

В спальне Елена легла на кровать, положив под голову узел. На душе немного отлегло, и она задремала.

...Елена проснулась от шума в коридоре. Кто-то задел узел с посудой: кастрюли звякнули, издавая дребезжащий звон. Она прислушалась: ей не хотелось подниматься. «А, показалось», — решила она. Дверь спальни была закрыта, и ей не было видно, есть ли кто в квартире; желание еще поспать удерживало ее в кровати. «Кто может зайти, заперто», — закрывая глаза, успокоила она себя. Но там, в передней, кто-то ходил, осторожно ступая по полу. Шаги приблизились к спальне и затихли. Елена насторожилась, сна как и не бывало, гулко забилось сердце. Она поднялась, не решаясь открыть дверь. По коже поползли мурашки. Она смотрела на ключ, зажатый в руке, и чувствовала озноб. Еще минута — и Елена закричала бы. Но тут открылась дверь, и она увидела Бородину, одетого в полевую форму и промокшего под дождем. Держа ключ в руке и не решаясь войти в спальню, Бородин смотрел на нее широко открытыми глазами, в которых отражался не то страх, не то гнев.

— Елена, ты уезжаешь? — спросил он, не меняя своей позы. Она не ответила. — Я спрашиваю: ты уезжаешь? — громче повторил Бородин, слегка опустив голову. Он был без фуражки, прядка волос сползла на лоб, закрыв светлую бровь. Теперь в его глазах не было ни страха, ни гнева, они наполнились чем-то другим — этими глазами она не раз любовалась. И сейчас они ей нравились. Елена молча прошла в переднюю, села на диван. Бородин повернулся к ней, ожидая, что она скажет.

— Как вы попали в квартиру? Кто вам дал ключ?

— Громов. Почему вы уезжаете?

— Я продала вещи. Сейчас за ними придет Дмитрич. — Она повернула голову к окну и замолчала. Он смотрел на нее и не знал, что же ей сказать. Когда бежал сюда напрямик, через огороды, Бородин много передумал, готовился многое сказать, и в мыслях это получалось у него просто, а вот сейчас все вылетело из головы, подходящего слова не найти.

— Елена, останься, — наконец произнес Бородин, вытирая платком вспотевшее лицо. — Жарко у вас в квартире. Я открою форточку.

— Пожалуйста, мне все равно...

Пришел Сазонов. Снимая картуз, Дмитрич поклонился Бородину, затем Елене:

— Вот и я, голубушка. Как мои вещички, целы? — Он начал осматривать стулья, вздыхая и охая: — Сиденьице-то как потерто... ай-ай-ай. Красочка облезла... Шкаф... ничего, в порядке. Савушке в комнату поставлю. Женить парня надо, хватит бобылем ходить. — Полный, с красной от напряжения шеей, Сазонов стоял

на четвереньках, заглядывая под шкаф. Бородин подошел к нему, прикоснулся рукой к спине.

— Дед, встань-ка, — сказал Бородин: ему было уже невозможно смотреть на этого человека, ощупывающего толстыми, пухлыми руками вещи Елены. Дмитрич, задрав голову, оскалил рот с пожелтевшими зубами:

— Что вы, товарищ майор?

— Говорю: встань!

— Это как же понять? Приказываете? Хе-хе, вы-ы... Вот она, расписочка-то, — вскочив на ноги, Сазонов помахал бумажной перед Бородиным. — Видели? Голубушка, что же вы молчите? — обратился он к Елене. — Вот же она, расписочка-то. Я могу, конечно, прибавить пять рублей, коли продешевили. Не жадный я человек, уважающий порядки. И чего так смотришь на меня? Не узнаешь? Фрукты кто приносил тебе на фатеру? Я, Дмитрич.

— Послушайте, уходите вы отсюда ко всем чертям! — вскрикнул Бородин, бледнея. — Вон отсюда! — Он рванулся к Сазонову, готовый на все.

— Отдайте пятнадцать рублей! — закричал Сазонов, отступая в коридор. — Пятнадцать рублей!

— Вот, возьмите. — Бородин сунул ему в руки деньги и, не помня себя, опустился на стул.

Дмитрич хлопнул дверью. Наступила тишина. Где-то жужжала муха, кто-то кричал на улице: «Ваня, оглох, что ли, скорее сюда! Смотри... солдаты идут!» Второй, видимо Ваня, отвечал: «Это ракетчики, они главнее солдат».

— Ваши с учений возвращаются, — сказала Елена. Она стояла у окна. Ветер, врывающийся в комнату через форточку, играл ее волосами, обдувал лицо. «Ваши», — подумала Елена, — уже «ваши», раньше так не сказала бы». На службу мужа она всегда смотрела как на что-то близкое, родное — свое. — Зачем вы так сделали? — спросила у Бородину, отойдя к двери спальни.

— Что я сделал?

— Дмитрича зачем прогнали?

— Павлик к тебе привык... Он будет скучать.

— Павлик! — вздохнула Елена. — Павлик... — повторила она. — А вы?

— Я вас прошу, не уезжайте.

— Билет на руках...

— Мы его сдадим, сейчас же, немедленно.

— Зачем, для чего я вам нужна?..

— Елена... Вы мне нужны, мне... Согласны?

— Всего месяц прошел, как погиб Лева, я еще слышу его голос, шаги, и мне еще не верится, что его нет...

— Понимаю. Я могу ждать, я умею ждать. Поверьте мне — умею.

— Знаю, Степан, знаю...

— Вы будете работать в здешней школе. Я уже разговаривал с Водолазовым, он обещал... Павлик в следующем году пойдет в школу...

— А вот эти комнаты, стены, вещи... От них никуда не уйдешь. Они будут мне напоминать...

— Квартиру можно новую получить или в крайнем случае обменять... Дело не в вещах, от них всегда можно уйти, нельзя уйти только от самого себя... Давайте ваш билет, я сдам его в кассу. Будете жить под надежной охраной, никто не обидит... Мы же ракетчики, — улыбнулся Бородин. — На жизнь надо смотреть трезво, а в трезвости, как говорится, — мудрость человеческая.

— Степан, вы философ! — заметила Елена, чувствуя облегчение на душе.

— Где билет?..

— В сумочке, — показала она взглядом на стол.

На ходу, открывая дверь, Бородин крикнул: — Лена, я ждать умею!

Она промолчала.

## X

Секретарь райкома партии Мусатов приехал в полеводческую бригаду очень рано, едва забрезжил рассвет. Петр Арбузов заправлял трактор. Неподалеку смутно виднелся вагончик. Зорька была холодная, и Мусатова тянуло погреться. Словоохотливый Арбузов длинно рассказывал о споре, возникшем вчера между Водолазовым и Матвеем Сидоровичем Околицыным из-за нераспаханного участка на крутой горьке.

— Околицын настаивает поднять эту землю под пшеницу, а Водолазов говорит: горох там поседем...

Мусатову хотелось спросить, как сам Арбузов считает. С Петром Арбузовым он познакомился еще летом, в тракторной бригаде. Бывший солдат тогда удивил его своим могучим ростом, крестьянской рассудительностью. Запомнился этот великан и тем, что он одним из первых привез в деревню семью — мать и братишку-подростка, которого сам обучает управлению трактором.

— Можно и горох попробовать. Спытка — не убыток, — ответил Арбузов, взгромоздившись на сиденье. — Братан, как там прицеп?

— Порядок, Петя! — крикнул подросток.

Мусатов тоже сел на трактор, решив до конца выслушать парня. Загон тянулся на несколько километров. Трактор шел споро, слышно было, как шурша под лемехами, отваливается земля. Пахло прелыми корнями...

Мусатов подумал, что Арбузов стоит на стороне Водолазова, может быть, потому, что просто поддерживает своего бывшего командира, своего начальника. Но тут он вспомнил весенний случай с градирированным суперфосфатом. Водолазов с огромными трудностями достал это удобрение (посылал Околицына за тридевять земель на завод минеральных удобрений, закупил два вагона), вместе с зерном высаял на трехстах гектарах и на этой площади получил пшеницы больше, чем со всего ярового клина в соседнем колхозе.

— Значит, спыток не убыток, говорите? — сказал Мусатов на ухо Арбузову.

— Конечно. Все новое поначалу кажется ненашенским. Но, я думаю, товарищ секретарь, Водолазов зазря спорить не будет. Полагаю, наш председатель давно все приметил, рассчитал, посоветовался со знающими людьми. Безоружным свою сторону он не станет защищать...

Арбузов рассказывал интересно, и Мусатов не заметил, как взошло солнце и степь, исполосованная широкими лентами зяби, предстала перед его взором широко, насколько видел глаз. У полевого вагончика он увидел Водолазова, без пальто и шапки. Мусатов соскочил на землю, попрощался с трактористом.

Водолазов гремел умывальником, шумно, пригоршней обливал лицо холодной водой, крихтя и отдуваясь. «Хорошо, что поговорил с Арбузовым, — промелькнула мысль у Мусатова. Водолазов спорил о крутогорье не с одним Околицыным: сторонником Матвея Сидоровича был и сам Мусатов, он и приехал сегодня затем, чтобы окончательно решить этот вопрос. — Выходит, Водолазов прав, и колхозники его поддерживают. Зачем же черт принес меня сюда? — ругнул себя Мусатов. В кармане лежала вчерашняя газета, в которой было опубликовано решение Советского правительства об отсрочке увольнения из армии. — Скажу ему — заехал поговорить о международном положении... А-а, чего крутить, прямо и скажу: прав, Михаил Сергеевич, сей горох».

Но Водолазов уже знал о решении правительства: он выписывал газету «Красная звезда», следил за жизнью армии, находил в газете знакомые имена офицеров, узнавал о их службе и этим считал себя как бы постоянно связанным с армией.

Водолазов оделся, пригласил Мусатова позавтракать.

— Когда будешь поднимать крутогорье? — спросил Мусатов. Он развернул газету и, читая, обгладывал утиную ножку.

— Весной, под горох, если ничего не случится...

— Ну-ну... Спыток не убыток.

— Что? — Водолазов налил в кружку чаю

и вонзил свой взгляд в Мусатова. — Не возражаете?

— Народ поддерживает, а я что, умнее? Нет, брат, голос народа — это голос партии, для меня это — закон, высший закон.

— А что же вы раньше противились?

— Не противился, Михаил Сергеевич, а изучал дело, как и вы, — прикидывал, рассчитывал, прислушивался к другим.

— Тогда по рукам?

Мусатов подставил большую крестьянскую ладонь. Водолазов впервые заметил шрам на кисти секретарской руки и сразу определил: след ранения, но ничего не сказал, хлопнул с душевным удовольствием:

— По рукам, товарищ секретарь!..

...Мусатов уехал под вечер.

Гудели тракторы, в лучах закатного солнца иссиня-черные полосы зяби покрылись бликами и напоминали широкие темные реки, взлохмаченные крупной рябью. Там и сям виднелись стога соломы. Ярко искрилась еще не успевшая почернеть стерня. Короткая сибирская осень подходила к концу, с гор наступали холода.

Водолазов, проводив Мусатова, долго стоял у вагончика, прикидывал итоги минувшего лета, и получалось как будто бы хорошо... Но почему же тревожно на сердце? Тревога вселилась еще вчера, когда Водолазов прочитал газету... О, это сердце, сердце военного человека, до чего же ты чутко и восприимчиво!.. Далеко-далеко, где-то в чужих, незнакомых джунглях, раздался выстрел — и ты уже на страже. Где-то, в какой-то маленькой стране, которую раньше не знал, повеет дымным ветром — и ты тотчас же всколыхнешься тревогой. Или радио, или газета принесет весть, пахнущую порохом, — ты тут же забьешься в ритме ином.

О, это сердце, сердце человека, испытавшего грома и молнии страшного военного лихолетья, как ты чутко, чутко к малейшим осложнениям в огромном мире!

Водолазова неудержимо потянуло встретиться с кем-нибудь из военных. Он сел в машину, привычно нажал на стартер, включил скорость. «Газик» быстро понес его по пыльной дороге. Ночь окутала степь, виднелись лишь редкие огоньки полевых вагончиков. Километрах в двух от пруда двигатель вдруг начал давать перебой, потом заглох — кончился бензин. Водолазов пошел пешком. Поднявшись на греблю, решил передохнуть. Сел на влажную от росы траву. Волна за волной нахлынули воспоминания...

Вот он, мальчишкой, соскальзывает с кровати, открывает дверь, выходит на крыльцо и останавливается. Тихо-тихо вокруг, даже воздух не шелохнется. Над рекой застыла белая шапка тумана. Кажется, побежишь и не провалишься, так и пойдешь по этой ватной горе до

самого неба. На деревьях уже чуть приподнялись листья — еще минута, и они затрепещут, весело переговариваясь.

И вдруг где-то на окраине села ударит крыльями петух — раз, другой. В такие минуты хотелось сделать что-то большое и доброе, такое, чтобы люди сказали: «Спасибо, хлопец! В жизни ты нашел свое место».

Это чувство никогда не покидало Водолазова. Оно жило в нем всегда — и в годы отрочества, когда он деревенским подпаском знакомился с трудовой жизнью, и в годы юношества, когда учился сначала в семилетке, затем в сельскохозяйственном техникуме, и в годы первых шагов самостоятельной жизни, когда он работал полеводом, и в годы войны, когда боролся со смертью в госпитале...

Тогда, именно тогда, в полевом госпитале, он подружился с санитаркой Верой. Это была симпатичная девушка с большими глазами и добрым сердцем. Он увез ее к себе в дивизию, на передовую. Уже под Берлином Веру ранило осколком в голову. Он сам ее отправлял в госпиталь. Она лежала на носилках молча, а взгляд ее говорил: «Вот мы и расстанемся, товарищ майор. Не забудешь?» Уже после войны он разыскал Веру в московском хирургическо-черепном госпитале... Ее вылечили, но осколок не извлекли... Они поженились и прожили вместе десять чудесных лет! Потом... потом маленький кусочек металла, сидевший в ее голове, свел Веру в могилу. Она умерла мгновенно, сидя за столом и весело болтая о том, как они воспитают будущего ребенка, о котором мечтали долгие годы. Осколок унес две жизни — Веру и того, которого не успел увидеть Михаил Сергеевич...

...В пруду отражались светлячками звезды. В обширных вольерах гоготали гуси, пугая тишину; время от времени истошно кричали утки.

Взошла луна, густо посеребрив пруд. Внизу мельтешил моторный баркас. Водолазов хотел было спуститься вниз, не найдется ли в баркасе бензину, но тут к нему подошел Дмитрич, держа в правой руке старую берданку наперевес:

— Доброй ночи, товарищ полковник. Отдыхаете или мою службу проверить решили? — Сазонов оперся грудью о ствол ружья. Водолазов сказал:

— С ружьем надо быть осторожным, выстрелит...

— Отчего же ему стрелять? Оно не заряжено. Патроны в кармане, а без патронов, я так полагаю, ружьишко стрелять не может. Для порядка ношу, вроде как бы пугач против шалунов...

— В баркасе бензин есть?

— Пустой. Канистру я снес в сторожку.

— Пойдемте, мне нужен бензин.

В сторожке горел керосиновый фонарь. Дмитрич подкрутил фитиль, наклонился в угол, достал канистру.

— Есть немного, с килограмм, — сказал он, ставя посудину на видное место. — Собираюсь нонче в сельсовет, товарищ полковник. Терпеж мой лопнул... Все ей отдаю — и корову, и приусадебный участок...

— Еще не помирились? — спросил Водолазов, беря канистру.

Дмитрич всплеснул руками:

— Не дай бог такое под старость другому... Посудите сами. Седня говорю ей: «Дарья, может, помиришься?» Куда там! Глаза позеленели, как у мартовской кошки, губы затряслись, вот-вот удар ее шибанет, и пошла, и ну хлестать скверными словами: ты такой, ты и сякой. Пхнула меня рогачом в самый живот, аж дух захватило. До сих пор боль не проходит.

— Взбесилась, что ли?

— Да нет, вроде в своем уме. Мозги у нее повернулись на капитализму, — наклонясь к Водолазову, прошептал Дмитрич.

— Это как же понять? — удивился Водолазов.

— Как понять? Дозвольте, изложу. — Он расстегнул ворот рубашки, пригладил ладонями жиденькие волосы и словоохотливо продолжал: — Суть эта такая, товарищ полковник. Наперво скажу вам, когда она еще в девках ходила, за ней здорово ухаживал Околицын. Мотя, конечно, жил послабее меня, и я отшиб у него Дарью. Он все по собраниям ходил, речи произносил — времени у него, конечно, было мало для любовных дел, у меня побольше — прозевал он ее. Так я думал раньше. Теперь же вижу, она вновь повернулась к нему. Вот и бунтует... Это во-первых. В другом разе — это самое страшное... С Мотей-то пусть кружит, он уже изнасиловал, у него, как говорится, от председательских забот кровя любовные высохли... Дарья совсем не ценит нашу жизнь. Кулацкий дух у нее проснулся: себе огородик, сад, дом, а колхозу — трудпалочку. Разве это не капитализма, товарищ полковник? Бить ее, сами говорите, нельзя, под суд можно попасть за милоую душу. Один выход — развод. Она давно согласна. Но дело-то не в этом. Ты уж дослушай, товарищ полковник. Вот я уйду, жилье у меня есть, в летнице поселюсь, в крайнем случае — дом пополам, второй вход прорублю в глухой стене. Жилье не волнует. Но как с приусадебным участком, коровой? Их ведь не разобьешь пополам. Согласно уставу колхозному каждая семья может иметь и корову, и кусок земли. Вы-то, товарищ председатель, меня не обидите?

Михаил Сергеевич подумал: «Вон о чем, старый, мечтает, о втором приусадебном участке! Да, хитер». Но вежливо ответил:

— Сам же говорил: социализм человека не обижает.

— Спасибо. Легше стало на душе. — Его маленькие, мутные глазки заблестели. — Эх, Михаил Сергеевич! Вам-то, военным, не понять нашу душу. Вы — люди приказные: куда пошлют — туда идете, что скажут — то и делаете... и никаких размышлений...

Водолазов вспыхнул:

— Глупость несете, Дмитрич! Я, брат, сам отгрохал в армии без малого двадцать пять лет, знаю, какой там золотой народ. Вы служили в армии?

— Нет, всю жизнь штатский.

— Это видно по всему.

— Уж извините, коли лишнего сказал, — лебезил Сазонов. — Это так, оттого, что штатский. А вообще-то я люблю войско, конечно: люди там золотые. Встречался, видел. Я ведь всю Расаю избегал. Видел... Да и по вас вижу. Околицын меня не понимал, а вот вы сразу поняли. Значит, размышление у вас богатое...

Водолазов схватил канистру: ему было уже нелегко слушать этого рыхлого человека с маленькими хитроватыми глазками, от которых веет чем-то далеким, прошлым — не то алчностью, не то постыдным скопидомством. «И как я его терпел раньше?... Добреньким казался... Погоди ж, я тебе устрою приусадебный участок!» — Водолазов толкнул ногой дверь, но тут же остановился:

— Как сын-то? Не лучше?

— Савелий? Идет на поправку. Доктор, товарищ Дроздов, и по сей день возится с ним. Колдун. Полуживого поставил на ноги и денег за лечение не берет... Эх, до чего народ пошел непонятный!

— Недоволен?

Сазонов промолчал. Он вынул из кармана патроны и начал разглядывать их на своей широкой ладони, словно прикидывая, какую пользу он извлечет.

— Вот что, Дмитрий Дмитриевич, я полагаю, тебе пора прекратить разговоры о разводе. Врешь ты все... Понял? Мало тебе того, что накопил, еще хочешь урвать от колхоза, от государства. Не выйдет, не получится! — крикнул Водолазов и грохнул дверь.

...Было уже светло, когда Водолазов подъехал к знакомым воротам военного городка. К нему подошел Бородин.

— Что это значит? — Водолазов вышел из машины, показал Бородину газету. — Почему задержали увольнение из армии?

— Так надо, Михаил Сергеевич.

— Это я и без тебя понимаю. Ты мне скажи прямо: серьезно это или нет.

— По-моему, не очень, — уклончиво ответил Бородин и, в свою очередь, спросил: — Беспокоишься?

— А как же... Порох еще не иссяк, если нужно — сегодня готов стать в строй. А может быть, я поспешил, Степан Павлович?

Бородин снял с плеча Водолазова колосок, растер его в руках, понюхал зерно:

— Хороша пшеничка... Не тяжело на посту председателя колхоза?

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Показалось мне, что ты вроде как бы жалеешь, что уволился из армии.

Водолазов засмеялся:

— Неужто показалось? Нет, Степан, ты ошибся. Дела идут неплохо. Жизнь — она отличная штука, если на нее смотреть глазами коммуниста.

— Верно, верно, Михаил Сергеевич, отличная... А как сердечко, не беспокоит?

— Намек?

— Нет, нет, серьезно спрашиваю.

— Тоскует, Степан, честно признаюсь. Так уж человек устроен — старое трудно забывается, ведь нигде так люди не привыкают друг к другу, как в армии, ничто так не пропитывает человека своей жизнью, как армия, — от пят до самых корней волос! Был такой случай: как-то ночью грохнула ставня... Вскочил я с постели, показалось — выстрел. Одежда, стал искать противогаз. Ищу, никак не могу найти. Наталью окликнул: «Куда мой противогаз делся?» — «Зачем он тебе, — спрашивает. — Куда ты собрался?» — «Слышишь, тревога в полку», — говорю ей. Она смеется: «Ты, говорит, дядя, проснись, посмотри на свою тужурку». Хватился, а погон нет... Было и пошнее... Приезжаю в полевую бригаду, вижу, нет порядка. Я и закричал: «Становись в две шеренги!» Люди построились, и неплохо, как солдаты. «На первый, второй — рассчитайсь!» — команду. И тут спохватился: сумасшедший, что я делаю?... Теперь полегче...

Бородин спешил на службу. Водолазов это заметил.

— Значит, особенно не стоит волноваться? — возвратился он к первоначальному разговору и сам же ответил: — Позовут, когда нужно будет, Водолазова не забудут.

— Не забудут, Михаил Сергеевич. Да и сами вы напомните о себе.

— Это уж точно! — Он сел в машину и, положив руки на баранку, кивнул Бородину: — Понял, сам управляюсь, без водителя.

## XI

Водолазов один раз в месяц посещал могилу жены. Вот уже три года, как бы ни был занят, он находил время заглянуть на кладбище. Попрощавшись с Бородиным, поехал к Вере. Поставил машину у ворот, подошел к

знакомому холмику и, как всегда, сел на скамеечку, выкрашенную в голубой цвет, чтобы наедине еще раз вспомнить годы совместной жизни... Он любил вот так, сидя у могилы Веры, размышлять. Никто не мешал, никто не возражал, и в эти минуты огромный мир куда-то отступал, оставался только он и... она, для него вечно живая...

Было очень тихо, до того тихо, что Водолазов слышал, как тикают на руке часы. Их дробный стук рассеивал мысли, и Водолазов решил снять часы, положить в карман. Он расстегнул ремешок и тут заметил у ограды человека, склонившегося над могильной плитой. Водолазов присмотрелся и, когда тот поднялся, узнал в нем Дроздова. «Что это он тут делает? — подумал Водолазов, удивляясь тому, что врач в гражданской одежде: с тех пор как Михаил Сергеевич ушел в отставку, он ни разу не встречал Дроздова, и у него невольно промелькнула мысль: — Уж не ушел ли он из армии?»

Дроздов поздоровался так, будто расстались только вчера. Капитан медицинской службы закурил, показал рукой на могилу:

— Жена?

— Да, — ответил Водолазов.

— Понятно, — сказал Дроздов. Водолазов вскинул на него вопросительный взгляд: что, собственно говоря, понятно?

— Видимо, потому вы, Михаил Сергеевич, и остались в Нагорном? Бывает и так... — рассудил Дроздов многозначительно.

Водолазов в душе попытался возразить медику, но, подумав немного, согласился, что одной из причин, почему он не уехал отсюда, была Вера, вернее, вот эта могила: ему казалось, если он будет жить в другом месте — пропадет от тоски, замучает себя мыслью, что никто не будет поддерживать могилу в порядке, а ему хотелось, чтобы память о жене вечно жила, и он понимал, что никто другой не сохранит эту память, кроме него самого.

— Вы угадали, Владимир Иванович, — сказал Водолазов и тут же добавил: — Однако была и другая причина. Ушел-то я из армии как?.. По существу, жизнь меня вытеснила из войск. Да, да, жизнь. Я понял: не тот я Федот, чтобы поспевать за всем тем новым, бурливым, которым нынче живут армия и флот. Не постеснялся признаться в этом генералу... Но кое-кто по-своему истолковал мой шаг, превратило дескать, бежит Водолазов от трудностей, прикрываясь Законом о сокращении Вооруженных Сил. Слышал я такие разговорчики. А уходил-то не просто Водолазов, а коммунист... И вот я решил на глазах же у своих товарищей развеять дурное о себе. Так-то, Владимир Иванович. А Вера — само собой... Она была девчушкой, когда я женился на ней. Маленькая, сестра-медицинка, все боялась, что разлюблю ее, брошу.

Глупенькая. Ты, говорит, герой, а я что. У тебя, говорит, восемь орденов, а у меня одна медаль. Норовила в храбрости со мной поравняться, в самое пекло бросалась. И откуда только у нее силы брались? Иной день по десять — двенадцать раненых выносила из-под огня. Я, конечно, ее не сдерживал, не имел права: бой есть бой, он выше всяких чувств... А были моменты, когда хотелось уберечь, сохранить, но не имел права, никакого права не имел на это. Она была тоже бойцом...

Водолазов швырнул окурок в бурьян и тут же вновь закурил, теперь уже ожидая, что скажет Дроздов. Врач молчал.

Водолазов спросил:

— Вы-то как живете, Владимир Иванович? Служите?

— В гарнизонный госпиталь перевели, комнату получил. Шестнадцать квадратных метров! Оказывается, можно иметь свою комнату. Какая красотища — живу один, лучше всякого академика. Хотите посмотреть?

Водолазов согласился. Они сели в машину и минут через двадцать подъехали к новому трехэтажному дому. Вошли в комнату.

— Вот мой храм. Нравится? — Дроздов достал из кармана записную книжку, бросил ее на стол, повернулся к Водолазову. Тот огляделся. Все четыре стены были заняты стеллажами с книгами. Книги лежали всюду: и на столе, и на подоконнике, и на приемнике, и даже виднелись из-под подушки. Водолазов обратил внимание и на фотографию женщины, висевшую возле кровати в картонной рамке. Он хотел спросить, кто это, но Дроздов, перехватив его взгляд, сказал:

— Жена, Ольга Петровна, аспирантка Ленинградского университета, самый большой мой противник. Не верит, что старость можно победить... Раздевайтесь, Михаил Сергеевич, будем пить чай. Если хотите, есть коньячок.

— Чаю можно, коньяку не надо, воздерживаюсь.

Водолазов разделся и сел к столу. Дроздов куда-то вышел. Вскоре он возвратился с чайником и сковородкой, наполненной жареным мясом с картофелем.

— Есть у меня небольшой чуланчик, я там установил электрическую духовку, всегда имею горячую пищу. — Он положил на стол хлеб, поставил вазу с конфетами и сахаром. Делал он это привычно, без лишних движений. Когда все было готово, Дроздов взглянул на портрет жены: — Вообще-то она у меня молодец, не обижается, что поехал в Нагорное. Ничего, настанет время — будем вместе. В ожидании встречи тоже имеется своя прелесть...

Водолазову не терпелось узнать, почему Дроздов оказался на кладбище и что он там делал. Наконец, улучив такой момент, он спро-

сил. Дроздов взял записную книжку, отпил глоток чаю и вдруг сразу как-то преобразился. Теперь перед Водолазовым сидел уже другой человек, не тот, что несколько минут назад весело, с шутками рассказывал о своей жене-геологе, которая обещает ему после учебы поехать в горы Тянь-Шаня и привезти останки сына Будды, того самого Будды-младшего, который просил своего отца избавить его от страданий — старости и смерти, но все же умер, как и другие. Потом Дроздов советовал Водолазову тренировать сердце, чтобы оно не обленилось. Как и тогда в кабинете, так и теперь глаза Дроздова смотрели в какую-то невидимую для Водолазова даль... Оказывается, на кладбище врачискал надписи. И нашел на одной могильной плите дату, говорящую, что некий Денис Горбылев прожил сто сорок один год. Дроздов слышал от Никодима, будто бы сын Дениса Горбылева живет в горном поселке, в ста пятидесяти километрах от Нагорного.

— Зачем вам, Владимир Иванович, все это? Смерть ведь не остановишь, да и старость нельзя избежать. — Водолазов усмехнулся, как бы говоря этим: не то время, чтобы заниматься чудачеством. Дроздов так и понял усмешку Водолазова. Сказал грудным голосом:

— Да, пора чудачеств миновала... Между прочим, Михаил Сергеевич, вы когда-нибудь задумывались, почему солдат Волошин стал баптистом? Да и вообще, почему миллионы людей верят в бога, ждут явления Христа?

— Это другой вопрос, — уклончиво ответил Водолазов. — При чем тут религия? — пожал он плечами, кладя в стакан сахар. — Невежество, темнота — прямая дорога к попам.

Дроздов засмеялся искренне, как ребенок. Водолазов даже удивился тому, что этот с виду мрачный капитан медицинской службы может смеяться по-детски.

— Темнота... Если бы это было так!.. Среди верующих есть не глупые люди. Почему же они посещают церкви, костелы, молитвенные дома, синагоги? Почему?

— А черт их знает почему! Нравится, наверное, им или свободного времени у них много, от жиру бесятся, — заключил Водолазов.

— От жиру? — повторил Дроздов. — Нет, не так. Дело в том, что философы-идеалисты пришли к печальному выводу: жизнь человеку дана для того, чтобы он познал неизбежность своей смерти. Я говорю о физической смерти, не касаясь тех величайших творений — и социальных и материальных, — творений, которые создает человек и тем самым как бы увековечивает себя на земле. Этот вопрос решен в пользу вечности нас с вами, Михаил Сергеевич, в пользу вообще человека-творца. Но ведь умереть-то все же неохота, а приходится, и, главное, абсолютное большинство людей умирают,

едва дожив до шестидесяти — семидесяти пяти лет. Так вот эти философы утверждают: такова природа человека, жить — значит умереть. Вот тут-то люди и бросаются в объятия религии, которая дает им утешение в загробной жизни, в том, что настанет день и явится Христос и избавит человека от страданий и зла, утвердит рай на земле. Обман, ложь, дикость... Но верят... Если бы науке удалось побороть старость, религия оказалась бы в глазах человека полностью обезоруженной, не сразу, конечно, но, по крайней мере, от такого удара она бы никогда не оправилась. Против науки вера бессильна, религия — это утешение, наука — факты, а факты сами за себя говорят, их каждый понимает...

Дроздов окинул взглядом комнату и, словно видя перед собой стойкого противника, бросил убежденно:

— На земле еще ни один человек не умер естественной смертью. Да и медицина не знает, что она собой представляет, эта естественная смерть, — добавил он, снимая очки. — Уже давно заметили, что старость очень сходна с болезнью. Свойства клеточных элементов легко изменяются под различными влияниями. Значит, разумно искать средства, способные усиливать кровяные шарики, нервные, печеночные и почечные клетки, сердечные и другие мышечные волокна. В старости происходит борьба между благородными элементами и фагоцитами, — вдруг перешел Дроздов на профессиональный язык, но тут же спохватился — Водолазову, видимо, непонятны медицинские термины — и умолк.

«Этому капитану в войсках делать нечего, его место в клинике, в лаборатории — в научном центре», — про себя решил Михаил Сергеевич и вкрадчиво спросил:

— В Ленинград не тянет?

— Понимаю вас, — сказал Дроздов, — мне об этом говорили. Там экспериментальная база, там ученый мир. Все это верно. Но верно и то, что жизненные наблюдения нельзя почерпнуть, сидя в кабинете... Года три назад я обратился в Академию медицинских наук с предложением создать институт по изучению причин старости хотя бы в Крыму. Собрать столетних и наблюдать... Мое письмо попало к одному академику. Он ответил: нельзя этого делать. Правильно ответил. Проблема долголетия человека слишком сложная штука. Человек — не вещь, не предмет какой-нибудь. Долгожителя надо наблюдать в тесной связи с местными условиями, с окружающей обстановкой... Наш нагорнский Никодим ничего не даст медику, если его поместить в крымский особняк... Факты и анализ, анализ и факты, плюс философское мышление — верный путь к научному эксперименту, дорогой Михаил Сергеевич.

Водолазов посмотрел на часы: хотя и с интересом слушал Владимира Ивановича, но ему нужно было ехать в правление колхоза. Дроздову же не хотелось отпускать этого смиренного слушателя, и он поспешил показать Водолазову картотеку. Открыв небольшой ящик, туго набитый карточками с данными о должителях, Дроздов сказал:

— Вот сколько на земле Никодимов... Библейский Мафусаил жил девятьсот шестьдесят три года, а Ной пятьсот девяносто пять...

— Позвольте, Владимир Иванович, — остановил Водолазов, — это же из Ветхого завета, так сказать, выдумки сочинителя Библии...

— Может быть, и выдумки. Но нельзя забывать и о том, Михаил Сергеевич, что религия стремилась и стремится нынче всех глубоких старцев причислить к разряду пророков или святых людей, ей это выгодно. Так могли появиться в Ветхом завете и Мафусаил и Ной... Вот вам живой пример. — Дроздов порылся в картотеке и, найдя нужную для него карточку, прочитал: — «Абас Абасов, житель нагорного Карабаха, умер в возрасте ста шестидесяти семи лет от простуды». О нем ходили всякие легенды, его считали пророком. Живи Абасов среди древних евреев, и он мог бы попасть на страницы Ветхого завета. Но Абасов умер в тысяча девятьсот двадцать пятом году, и умер не естественной смертью, а от воспаления легких. Это был совершенно неграмотный человек, к тому же он за свою жизнь ни разу не переступил порога мечети, говорят, муллу он терпеть не мог. Кто знает, может быть, и Мафусаил таким был... Преувеличивают ли, приписывая Мафусаилу девятьсот шестьдесят три года, на этот вопрос может ответить только наука, — заключил Дроздов.

Водолазов оделся. Дроздов еще стоял неподвижно, обхватив руками ящик с картотекой. Маленький ящик, похожий на шкатулку, в которой хозяйки держат швейные принадлежности, казался Водолазову очень тяжелым. И еще показалось Водолазову, что врач сейчас прикидывает в уме, как поднять этот ящик, чтобы поставить его на место, туда, на полочку, откуда он взял его.

— Теперь, когда науки тесно переплелись, когда их взаимодействие стало очевидным и неизбежным, вопрос продления жизни человеку не такой уж тяжелый, как это кажется некоторым, — сказал Дроздов, ставя картотеку на полочку. Он вытащил из-под кровати рюкзак, ботинки на толстой подошве, весело подмигнул Водолазову, стоявшему у двери: — Я со вчерашнего дня в отпуске, Михаил Сергеевич. Собираюсь в горы, к сыну Дениса Горбылева. Поживу у него дней десять... Картотека пополнится новыми данными. Поиски и наблюдения — великолепнейшая штука! Думаете, я один та-

кой? Нет, Михаил Сергеевич, нас много, целая артель. А штаб наш находится в Москве, на Большой Пироговской улице. Не слышали? Ничего, всему свое время. — Дроздов подал руку Водолазову: — До свидания, Михаил Сергеевич. Извините, что задержал. Сердечко тренируйте, пешочком надо ходить больше.

Уже сидя в машине и следя за дорогой, Водолазов воскликнул:

— Надо же, бессмертие ищет! И кто?! Военный человек! — Он представил, как Дроздов поднимается по горной тропе, представил встречу врача с сыном Дениса Горбылева и сказал: — Ну, ну, Владимир Иванович, широкой дороги тебе!

## XII

- Лида?
- Я.
- Где ты?
- Иди прямо.
- Тут крутой подъем... Дай руку.
- Бери.

Александр уперся ногами в земляной откос, поднялся на возвышенность. Здесь было не так темно, как внизу. Лида, не выпуская его руки, прижалась к нему горячей щекой, прошептала:

— Ой, насилу дождалась, сколько не виделись!

В ее голосе Околицын уловил упрек, поспешил объяснить, почему не мог встретиться раньше. Она слушала молча, не перебивая. Ефрейтор говорил о большой занятости по службе и о том, что он, конечно, мог бы выбрать один вечер, чтобы встретиться, но как бы расценили это другие солдаты, которые даже выходные дни использовали для учебы...

В сторожке Дмитрия мерцал огонек. Свет от окна ложился на молодой голубоватый лед. Зябкий ветер шуршал в траве, холодом дышал в лицо.

— Ты ждала меня?

Лида засмеялась:

— И нисколько. Ухажеров хватает. Ваш Арбузов уже поглядывает, в кино приглашал. Хороший парень: тракторист, гармонист.

— А лейтенант Узлов?

— И этот звал в город.

— И ты ходила?

— Ходила. Смешной лейтенант. Говорит: «Мы с вами, Лида, земляки, мой отец родился в Воронеже...» А сам-то он — москвич. Ты ревнуешь?

— Нисколько, — в тон ей ответил Александр.

Лиде стало вдруг грустно, она притихла, думая: неужто правду говорит, что не ревнует?

— Пойдем посидим у берега. — Он первым спустился вниз. Она разбежалась и, смеясь, повисла у него на плечах.

— Я не верю, Санечка, ревнуешь, ну скажи — ревнуешь?

— Нет, нет, — повторил Околицын и вдруг обнял, нашел ее губы, горячие и сухие, прильнул к ним жадно... Лида хлопала по его широкой спине, будто по очень нагретому предмету — тихонько, еле касаясь шинели.

— Вот, — сказал Околицын, — поняла?

— И нисколько...

Он вновь обнял, теперь целуя в щеки и глаза.

— Нисколько... нисколько, — шептала Лида. Ей было приятно, что он целует, что он такой сильный, крепкий. — Хватит, Санечка, хватит...

Они сели. Из-за туч показалась луна. Лида посмотрела на нее, вздохнула:

— Еще десять дней ждать.

Он понял, о чем она говорит: в прошлом году, когда Околицын был на побывке, они договорились пожениться сразу же, как только он уволится из армии. Девушка считала месяцы, потом недели, а теперь вот уже дни...

— Десять, — повторила она и опять посмотрела на луну. — Что ж молчишь, Санечка? — И, не ожидая ответа, начала вспоминать первые встречи.

Голос у нее был чистый, звонкий. Говорила, как после учебы в медицинском техникуме решила ехать в Сибирь, куда-нибудь подальше, в самую глушь, и обязательно в деревню, как с подружкой искали на карте отдаленную точку. Подружку не пустили родители, а она поехала, и здесь никакой глухомани не встретила, а деревня показалась ей слишком большой. И город рядом и стройка — глазом не окинешь...

— Здорово! — сказала она. — Только с твоим отцом не ладила. Знаю, не верил он, что я могу работать, молодая да к тому же озорная. Теперь легче. Михаил Сергеевич уважает молодежь... Ну что же ты молчишь, Санечка? Помнишь, как искали родники? Я тогда тоже не верила, что они когда-то были, и, если бы не ты, ребят не подняла бы на это дело, возможно, погас бы огонек. А теперь смотри, горит!

Действительно, бледно-розовая полоса от лунного света, искрясь, пересекала пруд. Александр видел лицо Лиды, оно тоже как бы искрилось. Он залюбовался ее глазами, большими, наполненными синеватым светом.

— Лида, — робко сказал Околицын.

— Говори, говори, я слушаю. Говори, Санечка.

— Я задержусь в армии...

— Больше десяти дней?

— Да... Ты разве не знаешь, разве не чи-

тала газеты? Увольнение задерживается... На Западе не спокойно. Они вооружаются...

— Кто они? — спросила она не сразу.

— Недобитые фашисты...

Она молчала. Околицын сказал:

— Командир отпустил меня только на два часа...

— Значит, не через десять дней? — приуныла Лида.

— Нет.

— А когда?

— Не знаю.

Она подумала: «Откуда же может знать о таких больших делах Санечка? Такие вопросы по плечу начальству».

— Мне что-то холодно, пойдем.

Он помог ей подняться на греблю и, взяв под руку, вывел на дорогу.

— Когда же они успокоятся, Санечка? Неужели они никогда не любили?

Лида умолкла. Околицын взял ее руку, посмотрел на часы. Она поняла, что ему надо спешить в часть.

— Иди, Санечка, меня не провожай, — сказала вкрадчивым голосом: ей не хотелось, чтобы он уходил, очень не хотелось — вот так бы, лицом к лицу, и простоять всю ночь вдвоем. Но у солдата каждый шаг размечен.

— Я пошла...

Он сказал:

— Иди...

Ее уже не было, а Александр все смотрел и смотрел на то место, где стояла Лида, смотрел, и ему чудились запахи ее рук, и в голове отзывалось: «Санечка... Санечка». Страшно тянуло догнать Лиду, еще раз услышать это чудесное слово — «Санечка».

Вдали, видимо возле колхозного клуба, кто-то заиграл на гармонике. Тотчас Околицын услышал голос Лиды:

Миленький, поверь, поверь.  
Я люблю тебя теперь.  
Смотри на солнце, на луну,  
Поверь — люблю, не обману.

Околицын улыбнулся, побежал в городок. Возле ворот встретил Цыганка.

— Ты с ней был? — спросил Цыганок.

— Да.

— Везет же сибирякам... Эх, была бы Одесса рядом!.. Тоня моя тоже хорошо поет, но Лида звонче... Слышишь?

Милый мой, хороший мой,  
Мы расстанемся с тобой.  
Не грусти и не скучай,  
Командиром приезжай.

— Вот так, Саня, командиром приезжай, — вздохнул Цыганок и постучал пальцем по стек-

лу наручных часов: — Пошли в казарму, скоро построение на перекличку... Я все бегаю, тренируюсь, советы академика выполняю. Пригодится в жизни. Мечта у меня, Саня, есть такая: попасть на спартакиаду в Москву, а там ведь и Одесса рядом, самолетом один миг...

За окном завывал ветер. Савушке не спалось, впервые за многие годы он не мог сомкнуть глаз.

Савушка размышлял. В переднюю вошли мать и отчим. Он притворился спящим, чтобы потом вдруг встать и сказать: «А мне нонче совсем-совсем хорошо, пойду учиться на тракториста к самому Арбузову». Савушка давно присматривался к этому бывшему солдату и мечтал работать вместе: Арбузов рассудительный, тихий, добрый парень, к нему так и липнут подростки, и он наверняка обучит его, Савушку, управлять трактором.

— ...Вот так, с планом моим не получилось. Задумка-то какая была! И-их, развернулись бы мы! — сказал отчим.

— Не горюй, Митя, и без того живем не хуже других.

— Что ты понимаешь. Добро и деньги приносят человеку полную свободу, независимость. Кумекаю, слава богу, в чем смысл жизни... Выпить хочется, нет ли у нас косушки? Продрог нонче на ветру, там, у водоема... Поищи-ка в шкафу.

Савушка приоткрыл один глаз. Мать поставила на стол четвертинку, подала соленые огурцы и холодную в мундире картошку. Отчим вылил водку в чайный стакан, примерил пальцем, чтобы, видимо, разделить на два приема, но, покрутив головой, опрокинул разом в широко открытый рот, схватил огурец и с хрустом разжевал его.

— Мало!

— Нет больше, Митя.

— Ха, я ж не про водку... Про добро и деньги говорю.

— Хватает, Митя...

— Дура! Деньги — это жизнь! Жизнь в любом городе, в любом колхозе. Ты в тридцатые годы сидела тут, как наседка, а я поездил, повидал, семь лет шабашником отгрохал. Знаю, собственным горбом: деньги — это жизнь, при всех временах жизнь! — Он закурил, посмотрел на часы. — Иди спать... — Дмитрич тяжело поднялся, посмотрел на Савушку, скривил мокрые губы. — И громом тебя не разбудишь, — махнул он рукой, уходя на веранду.

Минут через пятнадцать Савушка услышал, как отчим закрыл ставни. Теперь завывания ветра еле доносились. Савушку начал одолевать сон. Но тут открылась дверь и вместе с Сазо-

новым вошел незнакомый мужчина, одетый в стеганку. Незнакомец толкнул отчима в бок:

— Ты не один?

— Тот самый гусенок, пришибленный хворобой, его и громом не разбудишь. Садитесь.

— Не помер?

— Живет...

Савушку одолевал сон, не было никаких сил бороться с ним, сон давил, мертвил все тело. Савушка до крови прикусил губу. Боль прогнала дремоту, и Савушка успел расслышать:

— Головы поотрубал. Мороз, не испортят-ся, — говорил отчим.

— Сколько?

— Скопом — и утей и гусей — сто штук, по два рубля. Приходи завтра вечером в сторожку, покажу, где спрятаны... Деньги приноси, гром и молния! Водолазов так, а я ему вот эдак.

...Савушка проспал почти весь день. Он проснулся на закате солнца. Болела голова, чувствовалась вялость в руках и ногах. В доме никого не было. Он вышел на веранду, спустился во двор. Гремя цепью, собака бросилась под ноги, ласкалась и скулила. В сарае гоготали гуси.

— Батя! — позвал Савушка отчима. Ответа не последовало. Скрипнула калитка, и он увидел фельдшерицу.

На Лиде были меховая шубка и теплые боты. Борзова уезжала на областную комсомольскую конференцию и забежала, чтобы поинтересоваться здоровьем Савушки.

— Ты что раздетый? Простудился, — сказала Лида. — Или уже совсем выздоровел и тебе все нипочем?

— Гром, — сказал Савушка. — Гром, гром, — повторил он, припоминая, что это слово он где-то уже слышал. — Гром... гром... не разбудишь... Вспомнил! — вскрикнул Савушка. Он, торопясь, рассказал Борзовой о подслушанном разговоре отчима с незнакомым мужчиной. — Надо их изловить. Беги в правление колхоза, сообщи, сейчас же!

— В правлении никого нет.

— Беги к военным, — не унимался Савушка. — Солдаты быстро изловят. Беги, беги... А я пойду к сторожке. Они там... До вашего прихода задержу.

Лида согласилась. Она поставила чемоданчик на крыльцо и побежала.

Савушка вошел в сторожку в тот момент, когда Дмитрич считал деньги. Мужчина лет тридцати пяти, в телогрейке и ватных брюках, вскочил со скамейки, загородил Сазонова спиной. Савушка присмотрелся к незнакомцу. «Тот, что вчера был», — опознал, сел на порожек.

Дмитрич, положив деньги в карман, шагнул к Савушке:

— Ты зачем пришел? Мать, что ли, послала?

— Доктор велел больше ходить, — сказал Савушка, не глядя на отчима.

— До-октор, — произнес Дмитрич и засмеялся. — До-октор. — Он отвернул подушку на топчане, достал бутылку водки, поставил на стол. — Садись, Андрюха, — сказал Дмитрич незнакомцу, — огурчики и селедка аккуратно ложатся к водочке.

Андрюха взглядом показал на Савушку. Дмитрич опять засмеялся:

— Гусенок, он уже спит. — Дмитрич наклонился к Савушке, потрогал его за плечо: — Встань, возьми ведро, принеси свежей водички. Андрюха, садись. — Он налил в стакан водки. — Тяни, Андрюха, — сказал Дмитрич. — Строители тебе спасибо скажут... Ты мне, я тебе — и ладно.

Андрюха снова покосился на Савушку. Дмитрич побагровел. С хрустом откусил огурец, ожесточенно работая скулами, прожевав, крикнул:

— Ты что сидишь? Марш отсюда! Кому сказано!..

Савушка вскинул на Дмитрича взгляд, сказал:

— Не шуми, батя, мне и тут хорошо.

— Как?! — Дмитрич хотел было вытолкнуть приемыша за дверь, но Савушка смотрел на него такими доверчивыми глазами, что у Дмитрича не нашлось сил сделать это. Мужчина, видя, что Сазонов как-то вдруг размяк, еще больше затревожился.

— Да что ты, Андрюха, не беспокойся... Савушка, попробуй-ка, а? — Он подал Савушке полстакана водки. — Махни разом, сынок. Приобщайся к делу... И-их, жизнь нонче — что вареник в сметане.

— Не надо мне.

— Пей!

— Не буду.

— Я говорю, пей.

Савушка отвел в сторону протянутую руку Дмитрича, поднялся. Он был выше Сазонова на голову, шире в плечах.

— Ты что же, совсем выздоровел? — Голос у Сазонова задрожал. Дмитрич впервые почувствовал, что Савушка уже не тот «гусенок», каким он считал его. «Неужто в норму вошел?» — промелькнула тревожная мысль. Но такое состояние длилось несколько секунд, пока Савушка вновь не опустился на порожек.

— Иди домой, — примирительно сказал Сазонов, еще держа стакан в руке. — Иди, иди...

Андрюха надел шапку и попытался бочком прошмыгнуть за дверь. Но Савушка, вскочив, оттолкнул его плечом. Мужчина пошатнулся и, отступая назад, закричал:

— Идиот! Мы попались!..

Дмитрича будто кто кнутом стегнул по лицу. Он вздрогнул, прищурился и ударил по щеке Савушку.

— За отцом следить! — закричал Сазонов, готовый нанести второй удар. — Убью паршивца. Я тебе жизнь дал, а ты супротив идешь... Убью! — Он угрожающе поднял руку, но Андрюха остановил Дмитрича:

— Брось, успокойся... С ума сошел... Надо тихо, мирно.

Сазонов схватил бутылку и через горлышко выпил остаток водки.

— Я ж ему жизнь дал, Андрюха! Приютил, обогрел, в сыновья приписал... Больного подобрал... Эх, Савелий, Савелий, сдох бы ты давно без меня...

Перед глазами Савушки еще плыли оранжевые круги-кольца, и он боялся, что не справится с расхитителями... Незнакомый Андрюха убежит, скроется, потом ищи ветра в поле. Дмитрич и Андрюха о чем-то шептались. В ушах стоял звон, и Савушка плохо слышал, о чем они переговаривались. Он вытер рукавом кровь на щеке, досадуя на то, что долго не появляется Лида с солдатами.

Незнакомый Андрюха сказал:

— Вот что, парень, освободи-ка проход. У меня нет времени смотреть ваш спектакль. Деритесь уж без меня, а я пошел. — Он сделал шаг к двери. Савушка взял тяжелую скамейку, поднял ее перед Андрюхой.

— Не пуцу! Садись, вор.

— Вот как! — с присвистом взвизгнул Андрюха и ожег свирепым взглядом Дмитрича: — Идиот! Простофиля! Куриные мозги... Он же все вчера слышал...

«Слышал! — торжествовал в душе Савушка. — Слышал и не пуцу».

— Понял?! — хрипел Андрюха. — Вот тебе и гром и молния. Идиот!..

Дмитрич молчал. Рука его, засунутая в карман, теребила, словно пересчитывая, новые хрустящие двадцатипятирублевки, и ему страшно не хотелось думать о том, что эти деньги отберут, если сейчас кто-нибудь подоспел на помощь Савушке. Он начал про себя жестоко ругать тот день, когда появился в доме военный врач: вся злость его переметнулась на Дроздова.

— Ты слышишь или нет! — закричал на Дмитрича Андрюха. — Скажи ему, чтобы он выпустил меня отсюда.

— Отпусти его, Савушка, — вздохнул Дмитрич и вдруг выхватил из кармана деньги: — Вот они, бери их, чертов гусенок!.. Все твои, бери!.. Грабь отца, грабь!.. — Несколько купюр упало на пол. Дмитрич охнул: — Деньги! — Кинулся собирать их, но рассыпал остальные. Ползая по полу на четвереньках, хватал день-

ги трясущимися руками, комкал, запикивая в карманы, и плакал сухим, вздрагивающим голосом.

Открылась дверь. В сторожку вошли Шахов, Цыганок и Волошин. Андрюха попятился назад, а Дмитрич еще ползал у стола. Подняв последнюю купюру, он, видимо, еще находился наедине со своими мыслями и поэтому не сразу сообразил, что произошло, протянул двадцатипятирублевку Цыганку:

— На, бери...

— Что это такое? — удивился Цыганок.

— Деньги, — сказал Дмитрич, — деньги.

— Протри глаза, папаша! Кому ты суешь деньги?! — крикнул Цыганок. — Ослеп, что ли?..

Дмитрич потряс головой, увидел Шахова, Волошину, Савушку, все еще стоявшего со скамейкой в руках.

— Теперь что будет? — пропел он плаксывым голосом.

Никто не ответил. Дмитрич разжал кулак: деньги упали на пол, и он долго смотрел на скомканые двадцатипятирублевки, а рука его невольно тянулась, чтобы поднять их.

### XIII

На высокой гребле два мальчугана, одетые в форму первоклассников, любовались редкостным зрелищем: огромный-преогромный шар солнца, упершись в вершину горы, зажег лучами лед на пруду. Мальшам казалось, что в мире нет другой такой красоты, которая смогла бы сейчас отвлечь их взоры от ледяного пожара. Но вот в воздухе послышался слабый гул моторов.

— Алеша, самолет! — крикнул один из них своему товарищу, показывая в сторону лесного массива.

— Смотри, Павлик, еще один!..

— Третий!..

— Четвертый!

— Пятый!

— Шестой!

Тяжелые воздушные корабли, набирая высоту, шли навстречу солнцу. Мальчики, позабыв о чуде, сотворенном лучами заката, перешептывались:

— Скоро ночь.

— Им не страшно. Военные и в космос летают, и пожары тушат, и ракетами стреляют... Им ни капельки не страшно.

Ни Павлик, ни Алеша не знали, что в тех самолетах находятся их отцы...

На земле изредка вспыхивали зарницы: по видимому, это отсвечивали мартены или домны. Реки замечались только там, где были посере-

рены луной, которая все время плыла за самолетом, будто привязанная. Громов чувствовал небольшую усталость — летать приходилось редко, только на пассажирских самолетах — давило на уши. Чтобы как-то отвлечься от непрерывного гула, от мысли, что ты находишься в воздухе, Громов надел наушники, включил переносную радиостанцию. Глянул в иллюминатор. На земле уже не было сполохов, не было серебряных бликов — луна, тащившаяся за самолетом, где-то отстала, виднелась сплошная серая масса, редящая к востоку. Громов развернул карту, запросил у штурмана координаты, сориентировался. Они находились над степным районом. Впереди лес, затем снова степь и вот тут... Громов уставился в жирный черный круг, обозначающий посадочную площадку. Тут... дальше на запад, километров пятнадцать, расположены наши войска, а еще дальше, немного на юго-запад, — условные знаки района, по которому должен быть произведен ядерный удар из ракетных установок. Конечно, ракеты понесут другой заряд, менее опасный, но грозный, и расчеты должны быть точными, в пределах заданных параметров, а это потребует от личного состава максимума усилий, мастерства, приобретенного на учебных полигонах, — по крайней мере, ошибки не должно быть...

Самолет накренился, Громов понял: пройден главный поворотный пункт, позади сотни километров, пространство, на преодоление которого еще несколько лет назад потребовались бы дни, недели, а может быть, и месяцы.

К Громову подсел Рыбалко. Он, оказывающегося, думал о том же.

— Далеко еще? — спросил Рыбалко.

Громов показал на карте оставшееся расстояние.

— Прыжок совершили уму непостижимо какой! — сказал Рыбалко и, помолчав, продолжал: — Вот теперь ясно вижу, малость заблуждался я.

— В чем?

— Сокращают армию... Очень уж переживал я, а того не видел, что изо дня в день растет наша мощь, огневая и техническая.

— А теперь?

— Успокоился...

Громов поднялся. Стрелка высотомера показывала десять тысяч метров. Он забеспокоился — почему же самолет не идет на снижение: расстояние до посадочной площадки таково, что пора бы уже. Заглянул в кабину пилотов. Командир корабля — майор с античным лицом — повернулся к нему, подмигнул: дескать, не волнуйся, подполковник. А может быть, этим знаком летчик хотел другое сказать. Он не стал его спрашивать. К тому же позвал радист, державший связь с генералом Захаровым.



— «Кристалл», «Ураган» слушает, — доложил Громов, заметив, как радист принял таблетку против высотной болезни.

— «Ураган», я — «Кристалл», полет продолжаем, район посадки — квадрат двести. Доложите самочувствие людей.

— «Кристалл», я — «Ураган», вас понял, все в порядке.

Громов торопливо достал из планшета карту, нашел «квадрат двести»: огромное расстояние его не удивило. Он снял фуражку, пятерней провел по взмокшим волосам.

— Здорово! — Громов направился в отсек, где помещался личный состав ракетной установки. Открыл дверь и остановился, наблюдая за подчиненными.

Узлов и Околицын играли в шашки. По их виду Громов понял, что для них в эту минуту не существует полета, они ведут себя так, словно находятся на земле. Волошин дремал, положив под голову скатку шинели. Цыганок кончиком носового платка провел по его верхней губе. Волошин сердито отмахнулся:

— Отстань!

— Пашенька, не дремли, инструкцию нарушаешь, параграф номер восьмой требует...

— Помолчи... Поди уж забыл, что в этой инструкции написано.

Цыганок присвистнул:

— Пашенька, все помню, до единого слова, хочешь, продекламирую? — Цыганок сунул руку в карман, вздохнул: — Нет, скверная штука — летать в самолете, даже закурить нельзя.

— Тошнит?

— До чего же ты, Паша, проницательный, как в воду глядел. Сожрал все таблетки — и не помогает.

— С ума сошел! Подохнешь...

— Ничего не случится, я — неумираемый и несгораемый. Знаешь почему? Организм у меня особый, Пашенька, хоть сейчас забрасывай в космос, выдержу все перегрузки, год буду летать и не помру. Вечностью я помазан, и куда ты меня ни посылай — буду жить... А таблетки — вот они, — показал Цыганок пакетик. — Все целенькие. Химия, понимаешь, посторонний предмет для желудка. Люблю все натуральное — гречку с салом, борщ покруче. Ты, слушай, не клуй носом, это же не так трудно, вообрази, что ты стоишь на посту... часовым...

— Да я не сплю, думаю...

— Молодец! О чем же ты, Пашенька, думаешь?

— О жизни. О том, как хорошая жизнь поднимает человека высоко-высоко...

— Чудненько! Замечательно! Прямо-таки здорово! — восторгался Цыганок.

Громов прикрыл дверь. Ему захотелось связаться с Бородиным: замполит находился в другом самолете, вместе с Шаховым. Сделать это было нетрудно — позывные для переговоров имелись. Но он не стал этого делать, лишние переговоры сейчас, когда в воздухе летит армада кораблей, когда требуется особая дисциплина, личные чувства в сторону... Но он все же мысленно переговорил с Бородиным:

«Степан, как ты, не устал? Высота-то какая!»

«Нет, Сергей, я не устал. Ведь наш разводящий еще не пришел, и ничто не может остудить сердце солдата».

Светало быстро. Но на западе небо было хмурое и серое: трудно определить — наступит там утро или сгущаются сумерки...

**Николай Иванович Камбулов**  
РАЗВОДЯЩИЙ ЕЩЕ НЕ ПРИШЕЛ

Зав. редакцией В. ИЛЬИНКОВ

Редактор В. МАЛЮГИН

Художественный редактор Г. Андропова

Технический редактор Л. Платонова

Корректоры Е. Пагина и Р. Андрианова

Сдано в набор 12/VII 1968 г. Подписано к печати 15/VIII 1968 г. А 09901. Бумага 84x108/16. 8 печ. л. 13,44 усл. печ. л. Заказ № 1968. Тираж 2 100 000, 4-й завод: 1 650 001—2 100 000 экз. Цена 33 коп.

Издательство «Художественная литература»  
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26.

Отпечатано в типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16.  
Заказ № 1693

## ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Если вас волнуют проблемы современной деревни;

если вы хотите стать свидетелями рождения молодых талантов и познакомиться с творчеством мастеров советской и зарубежной литературы;

если вы увлекаетесь остросюжетными произведениями, новостями науки, кино, театра, живописи, спорта;

если вы любите новые песни и интересуетесь последними модами сезона;

если вы решили пополнить свою личную библиотеку лучшими произведениями героико-приключенческого жанра —

### ВЫПИСЫВАЙТЕ

журнал ЦК ВЛКСМ «Сельская молодежь».

«СМ» 1969 — это **НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ** П. Нилина, В. Астафьева, В. Шукшина, С. Никитина, В. Липатова, С. Крутилина, В. Курочкина, А. Ткаченко, В. Цыбина, В. Распутина, В. Логинова, М. Барышева, А. Еранцева.

«СМ» 1969 — это **РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ** С. Лема, Г. Бея, Т. Капота, Колдуэлла, С. Фитцджеральда, И. Хантера, Р. Бредбери, А. Силитоу, У. Фолкнера.

«СМ» 1969 — это продолжение экспедиции «Коммунар» и «Родина».

«СМ» 1969 — это **КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ**, где вашими собеседниками будут лауреаты Ленинской премии, народные артисты СССР и РСФСР, доктора медицинских наук, академики, ученые-селекционеры, композиторы, чемпионы мира, спортсмены и тренеры.

«СМ» 1969 — это продолжение всесоюзной **ПОЭТИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ** молодых; очерки о нашем героическом **СОВРЕМЕННОМ**; **РАЗМЫШЛЕНИЯ** за «круглым столом» писателей, социологов, молодых тружеников села о проблемах деревни; **ПУТЕШЕСТВИЯ** в малоизвестные уголки планеты; **советы** молодым хозяйкам; кроссворды и шахматные задачи.

«СМ» 1969 — это **ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ** И. Акимова «Побег» из Либермара, Е. Федоровского «Его звали Бер», А. Воинова «Западня».

«СМ» 1969 — это **ПЯТИТОМНИК БИБЛИОТЕКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ГЕРОИКИ «ПОДВИГ»** — литературного приложения к журналу (сведения о планируемом составе пятитомника см. в №№ 9—10 «СМ» за 1968).

Не откладывайте с оформлением подписки.

Подписаться на журнал «СМ» (подписная плата на год — 2 р. 40 к.) можно **без ограничений только до 25 ноября**.

Подписка на приложение ограничена и принимается только одновременно с подпиской на журнал (новая подписная плата годового комплекта журнала с годовым комплектом приложения — 7 р. 35 к.). Ее необходимо оформить заранее — не позднее 20 ноября.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ»**  
**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ»**

### К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вышел первый том четырехтомного Собрания сочинений Михаила Васильевича Исаковского, выдающегося советского поэта, автора широко известных, давно уже ставших народными песен, таких, как «Провожанье», «И кто его знает», «Катюша», «Колыбельная», и многих других. Перу Исаковского принадлежит большое число лирических и эпических произведений, глубоких по мысли и ярких, неповторимых по форме, о которых М. Горький сказал, что они «простые, хорошие, очень волнуют своей искренностью».

Поэзия Исаковского подкупает своей чистотой, высокой гражданственностью, а подчас и лукавым юмором.

Четырехтомное Собрание сочинений Исаковского намечено выпустить в течение 1968—1969 годов.

Товарищам, пожелавшим приобрести это наиболее полное издание произведений поэта, но до сих пор не оформившим подписку, рекомендуем обращаться в магазины, распространяющие подписные издания.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
СОЮЗБНИГА

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“

В ОДНОМ ИЗ ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРОВ  
„РОМАН-ГАЗЕТЫ“

читайте повесть

НИКОЛАЯ ГОРБАЧЕВА  
„ЗВЕЗДНОЕ ТЯГОТЕНИЕ“

Николай Горбачев известен по книгам «Возвращение», «Ракеты и подснежники», «Человек и ракета», «Одна ночь». Эти произведения о людях современной армии.

И в повести «Звездное тяготение» писатель остается верен своей теме; она раскрывает сложный и романтический мир человека новой военной профессии — ракетчика.

Главный герой повести Гошка Кольцов — рядовой солдат маленького войскового коллектива. Его товарищи — люди, сильные своим душевным зарядом и большим внутренним мужеством. Путь становления характера Гошки Кольцова, приведший к совершению подвига, типичен для многих молодых воинов.

Книга удостоена в 1968 году премии и диплома Министерства обороны за лучшее произведение о современной армии.